This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

STANFORD UNIVERSITY
LIBRARIES

М. Ю. ЛЕРМОНТОВЪ

Kotliarevskii, N. A. — Н. Базили. 1898.

Михаилъ Юрьевичъ

ЛЕРМОНТОВЪ

ЛИЧНОСТЬ ПОЭТА И ЕГО ПРОИЗВЕДЕНІЯ

ОПЫТЪ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНОЙ ОЦѢНКИ

Н. КОТЛЯРЕВСКАГО

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія М. М. Стасюлевича, Вас. Остр., 5 л., 28.
1891.

К(

[1846]

PG 3337
L46K65

Личность выдающагося писателя и его творческая дѣятельность — одно изъ самыхъ краснорѣчивыхъ и вѣрныхъ отраженій умственной и нравственной силы народа, среди котораго писатель родился. Какъ человѣкъ, выросшій въ извѣстной готовой обстановкѣ, писатель прежде всего — выразитель уже сложившихся вкусовъ и стремленій современной ему эпохи; какъ самостоятельная сила, воспринимающая и переработывающая по своему этотъ данный ей запасъ чувствъ и мыслей, писатель — важный факторъ въ дальнѣйшемъ движеніи духовной жизни своего народа.

Представляя на судъ читателя характеристику личности и творческой дѣятельности Михаила Юрьевича Лермонтова, мы имѣли въ виду главнымъ образомъ это историческое значеніе нашего поэта въ жизни русскаго общества. Мы пытались охарактеризовать Лермонтова какъ выразителя мыслей и настроенія современнаго ему общества и какъ самостоятельную умственную и нравственную силу, оказавшую свое вліяніе на современниковъ. Лермонтовъ былъ для насъ прежде

всего крупнымъ типомъ русскаго интеллигентнаго человѣка тридцатыхъ годовъ, а его поэзія — матерьяломъ для исторіи его времени.

Поставивъ себѣ такую задачу, мы сосредоточили все вниманіе на мысляхъ поэта и на его настроеніи и не касались подробно ни фактической стороны его біографіи, ни эстетической оцѣнки его произведеній.

Августъ, 1891.

I

ВВЕДЕНІЕ

I.

Задача литературной критики въ наше время отличается во многомъ отъ задачъ, какія ставила себѣ эта критика раньше. Прошло около пятидесяти лѣтъ съ тѣхъ поръ, какъ въ русской литературѣ открыто былъ поставленъ вопросъ объ общественномъ значеніи художественныхъ произведеній. По мѣрѣ того, какъ развивалось русское самосознаніе, развивалась и крѣпла эта литературная критика, разсматривавшая всѣ роды и виды поэзіи не только какъ поэзію, но и какъ отраженіе умственныхъ и нравственныхъ силъ народа, — отраженіе, которымъ можно и должно воспользоваться въ дѣлѣ народнаго воспитанія.

Условія русской жизни были таковы, что этотъ простой вопросъ сталъ вопросомъ очень сложнымъ, изъ области теоретической и отвлеченной перешелъ въ область политики, принялъ окраску совсѣмъ не литературнаго спора, и въ концѣ концовъ запутался до того, что въ настоящее время не нашелъ еще непартійнаго, исчерпывающаго рѣшенія. Споры о тенденціи въ искусствѣ и объ искусствѣ „чистомъ“ стали злобой нашихъ дней, но вопроса впередъ не подвинули.

Мы отмѣчаемъ здѣсь это явленіе вовсе не съ цѣлью дать свое собственное рѣшеніе вопроса. Во всѣхъ этихъ частыхъ и задорныхъ спорахъ для насъ важенъ самый фактъ ихъ существованія — устойчивость, съ какой они держатся въ продолженіе пятидесяти лѣтъ въ литературѣ. Эта устойчивость показываетъ намъ, что въ обществѣ существуетъ потребность, съ одной стороны, привести эстетическое прояв-

леніе человѣческаго духа въ болѣе тѣсную связь съ остальными его проявленіями, а съ другой — осмыслить область художественнаго творчества съ точки зрѣнія ея гуманитарнаго и прогрессивнаго значенія. Общественный вопросъ— эта вѣковая заслуга XIX-го вѣка передъ грядущими столѣтіями — начинаетъ требовать, чтобы искусство сочлось съ нимъ болѣе правильно, чѣмъ оно до сихъ поръ это дѣлало. Каковъ будетъ этотъ конечный разсчетъ, предугадать трудно, но „искусство“ отъ него не пострадаетъ; пострадаютъ, вѣроятно, устарѣвшіе его формы и предразсудки, которые санкціонируютъ поэтическій квіэтизмъ, эстетическое сектантство, и заставляютъ людей насильно сторониться отъ дѣйствительности; пострадаютъ, вѣроятно, и тѣ мимолетныя творенія, которыя живутъ исключительно злобой дня, не стремятся увидать въ этой злобѣ общечеловѣческое и скользятъ по поверхности жизни, повинуясь минутному раздраженію и неосмысленнымъ аффектамъ.

Какъ бы то ни было, но критикъ и художникъ нашего времени не можетъ такъ легко справиться съ своей задачей, какъ онъ справлялся раньше. Онъ не избавится отъ мысли, что общество на законномъ основаніи можетъ потребовать у него отчета въ его дѣятельности. Въ этой мысли кроется источникъ наибольшихъ душевныхъ страданій поэта нашего времени.

II.

Мы глубоко убѣждены въ томъ, что душевныя страданія Лермонтова, жизни и творчеству котораго посвященъ настоящій очеркъ, проистекли именно изъ этого источника. Поэтъ всю жизнь старался выяснить себѣ свое общественное положеніе въ самомъ широкомъ смыслѣ. Вопросы религіозные и нравственные, философскіе и политическіе, интересовали его всю жизнь, и онъ умеръ, не успѣвъ доработаться въ этихъ вопросахъ до какого-нибудь опредѣленнаго объединяющаго міровоззрѣнія. Ему необходимо было такое связное міровоззрѣніе, въ которомъ онъ являлся бы хозяиномъ, такъ какъ съ дѣтскихъ лѣтъ онъ былъ убѣжденъ, что судьба забросила его

на землю для какого-то великаго дѣла. Онъ чувствовалъ въ себѣ великую силу характера и таланта, и не зналъ только куда ее направить. Жажда дѣятельности мучила его не меньше, чѣмъ его ненасытное самолюбіе. Скромной работой въ узкой области онъ никогда бы не удовлетворился. Міръ представлялся ему широкой ареной, на которой онъ призванъ дѣйствовать во имя какихъ-то до него очень туманныхъ идеаловъ. Онъ страдалъ отъ того, что эти идеалы не укладывались ни въ опредѣленную умозрительную формулу, ни въ практическую программу. Эта погоня за идеалами и эти мечты о своемъ великомъ призваніи были въ поэтѣ ничѣмъ инымъ, какъ инстинктивнымъ проявленіемъ того сознанія общественности, которое мало-по-малу проникало въ общество и начинало сказываться въ его лучшихъ представителяхъ. Лермонтовъ въ этомъ отношеніи былъ вполнѣ сыномъ XIX-го вѣка, съ своей меланхоліей и своимъ недовольствомъ жизнью, съ разочарованіемъ и скорбью, въ которыхъ сказывалось желаніе служить высшимъ цѣлямъ и безпомощность единичнаго человѣка передъ этой высокой задачей.

Человѣку XIX-го вѣка приходится, дѣйствительно, работать и мыслить усиленнѣе, чѣмъ его предкамъ; между тѣмъ возможность отдать себѣ точный отчетъ въ собственной жизни и въ ея цѣли, въ нашемъ вѣкѣ, безспорно труднѣе достижима, чѣмъ въ вѣкахъ прошедшихъ. Ко всѣмъ вопросамъ прошлаго—религіознымъ, философскимъ, научнымъ, политическимъ и національнымъ, присоединился новый вопросъ, общественный. Этотъ вопросъ, объединившій все человѣчество одной общей идеей общаго блага и всесторонней свободы, поставилъ работу надъ этой задачей выше всѣхъ единичныхъ предразсудковъ, и потребовалъ отъ всѣхъ мыслящихъ и чувствующихъ людей, чтобы ихъ силы физическія и умственныя пришли ему на помощь. Прежнія рѣшенія великой міровой задачи съ исключительныхъ точекъ зрѣнія, религіозныхъ, философскихъ или національныхъ, стали немыслимы. Немыслимо стало и то душевное спокойствіе, которое людямъ давали прежде такія рѣшенія. Нужно было найти новое рѣшеніе, а это было дѣломъ очень труднымъ,

такъ какъ жизнь народовъ, идя въ новомъ направленіи, не давала еще для обобщеній достаточной пищи. Приходилось прощаться съ старыми иллюзіями, а поспѣшныя попытки создать новыя кончались быстрымъ разочарованіемъ.

Въ концѣ прошлаго вѣка и началѣ нынѣшняго, общество въ лицѣ лучшихъ представителей впало въ глубокую меланхолію, вполнѣ законную и понятную. Всѣ идеалы прошлаго утратили свою прелесть передъ скептическимъ анализомъ, а внутреннее общественное сознаніе говорило людямъ, что идеалы имъ теперь болѣе чѣмъ когда-либо необходимы, такъ какъ ихъ ожидаетъ новый великій трудъ надъ полнымъ освобожденіемъ человѣчества отъ устарѣвшихъ предразсудковъ.

Обществомъ были сдѣланы попытки выпутаться изъ этого труднаго душевнаго состоянія и вновь пріобрѣсти необходимое спокойствіе духа, позволяющее людямъ трезво взглянуть на жизнь и осмыслить свое собственное существованіе. Намъ необходимо упомянуть объ этихъ попыткахъ, такъ какъ въ тридцатыхъ годахъ эти способы рѣшенія міровыхъ вопросовъ очень занимали русское общество. Изъ всѣхъ русскихъ передовыхъ людей того времени одинъ Лермонтовъ не успѣлъ ихъ себѣ усвоить и остался при томъ разочарованномъ, тревожномъ, неопредѣленномъ и мучительномъ настроеніи духа, которое въ умномъ человѣкѣ предшествуетъ всегда „примиренію“ съ жизнью.

Жизнь дѣйствительно требуетъ, чтобы мы „примирились“ съ ея обманами и несовершенствомъ, если хотимъ принять въ ней участіе.

Терминъ „примиреніе съ жизнью“, встрѣчаемый почти во всѣхъ біографіяхъ великихъ поэтовъ текущаго столѣтія, требуетъ, однако, обстоятельной оговорки. Обыкновенно подъ этимъ терминомъ „примиреніе“ понимаютъ пассивное состояніе духа, встрѣчаемое очень часто и равносильное духовной слабости вообще. Человѣческій умъ и воля признаютъ извѣстный рядъ жизненныхъ вопросовъ для себя неразрѣшимыми, приходятъ къ сознанію своей слабости и, избавляя себя отъ лишнихъ тревогъ ума и сердца, отказываются отъ какого бы то ни было рѣшенія и замыкаютъ свою жизнь въ узкій кругъ интересовъ, которые доступны ихъ обсуж-

денію и осуществленію на дѣлѣ. Этотъ видъ примиренія съ дѣйствительностью самый легкій, а потому и самый распространенный, хотя въ то же время совершенно безплодный для прогресса человѣчества. Онъ представляетъ собою результатъ плохо развитаго чувства общественности, и не на него мы намекали, когда ставили „примиреніе“ съ жизнью условіемъ сознательнаго отношенія человѣка къ дѣйствительности. Сознательно и плодотворно „примириться съ жизнью“ можно либо на почвѣ широкаго, всеобъемлющаго умозрѣнія, либо на почвѣ активнаго вмѣшательства въ событіи, сообразно съ тѣмъ, управляетъ ли человѣкомъ его разумъ или его воля. Оба эти вида „примиренія“ имѣли въ тридцатыхъ годахъ крупнѣйшихъ представителей въ Европѣ, имѣли и у насъ на Руси своихъ послѣдователей и подражателей.

Въ первомъ случаѣ, когда человѣкъ мирится съ жизнью на почвѣ умозрѣнія, онъ объединяетъ всѣ отдѣльныя проявленія человѣческаго духа и явленія человѣческой жизни въ одной связной философской системѣ, которая даетъ отвѣты на всѣ вопросы и прошлаго, и настоящаго, и будущаго. Для человѣка нѣтъ сомнѣній; онъ познаетъ міръ и самого себя, познаетъ своимъ разумомъ, т.-е. высшей божественной своей способностью, въ непогрѣшимость которой онъ вѣритъ. Гармонія, установленная такимъ образомъ между человѣкомъ и жизнью, его окружающей, получается хотя и призрачная, но полная. Всѣ шероховатости обыденной жизни сглаживаются и исчезаютъ передъ увѣренностью человѣка въ ихъ неизбѣжности, кратковременности и цѣлесообразности.

Благотворное вліяніе такой отвлеченной, абстрактно созданной гармоніи—одинъ изъ крупныхъ двигателей человѣческаго прогресса. Стройная философская система, охватывающая жизнь въ ея разновидностяхъ, при всѣхъ ея произвольныхъ натяжкахъ, имѣетъ ту выгоду, что осмысливаетъ въ глазахъ человѣка его собственное существованіе и не допускаетъ въ немъ мысли о безцѣльности и случайности его бытія. Она, кромѣ того, источникъ духовной бодрости, такъ какъ въ конечныхъ своихъ выводахъ въ большинствѣ случаевъ оптимистична. Пессимистическія и скептическія системы никогда не могутъ стать послѣднимъ словомъ фило-

софіи. Онѣ на время парализуютъ энергію человѣка, чтобы современемъ заставить ее работать съ бо́льшей силой. Тѣмъ не менѣе, опасность подобнаго примиренія съ жизнью заключается въ его квіэтизмѣ, въ томъ, что человѣкъ, уносясь мечтой въ міръ своихъ идеаловъ, можетъ совсѣмъ позабыть о дѣйствительности или всецѣло оправдать ее, вмѣстѣ съ ея нежелательными сторонами. Но здѣсь сама жизнь заботится объ отвращеніи этой опасности, такъ какъ всякая система имѣетъ власть надъ прошедшимъ и настоящимъ, и безсильна надъ будущимъ.

Второй видъ „примиренія“ отличается отъ предъидущаго мѐньшею стройностью въ цѣломъ, но болѣе активнымъ отношеніемъ человѣка къ дѣйствительности. Это примиреніе, какъ и умозрительное, основано на той же вѣрѣ въ лучшую будущность, на томъ же идеализмѣ, но взятомъ не въ цѣломъ, а въ частностяхъ. Человѣкъ, не довольствуясь примиреніемъ въ идеалѣ, хочетъ видѣть хотя намеки на него въ настоящемъ, и ставитъ себѣ въ обязанность, чтобы тамъ, гдѣ представляется возможнымъ хотя бы то́лько приблизиться къ желаемому, онъ выступилъ какъ дѣйствующая сила. Очевидно, что при такомъ вмѣшательствѣ въ общую жизнь человѣкъ ежеминутно подвергаетъ себя цѣлому ряду мелкихъ ежедневныхъ ударовъ, почему такое примиреніе съ жизнью есть въ сущности постоянная борьба. Эта борьба пріучаетъ человѣка не ставить современности слишкомъ большихъ требованій, и не допускаетъ его до той степени унынія или озлобленія, при которой самая сильная энергія и вѣра рискуютъ или совсѣмъ исчезнуть или стать безплодными. Но человѣкъ не иначе можетъ закалить себя въ борьбѣ съ современностью и примириться съ нею на почвѣ этой борьбы, какъ отказавшись отъ многихъ и очень многихъ иллюзій. Его идеализмъ долженъ выдержать жестокое испытаніе, которое грозитъ ему опасностью удариться въ другую крайность, и вмѣсто примиренія можетъ вызвать въ немъ реакцію и сдѣлать его на время даже пессимистомъ.

Такимъ образомъ въ большинствѣ случаевъ, трезвое отношеніе къ дѣйствительности, при которомъ человѣкъ, сознавая

всѣ недостатки современности, стремится противопоставить имъ свои идеалы и осуществить ихъ на дѣлѣ, является результатомъ длиннаго ряда колебаній. Неустойчивость настроенія въ человѣкѣ прямое слѣдствіе этихъ колебаній.

Изъ двухъ видовъ „примиренія съ жизнью", каждый человѣкъ склоняется къ тому, къ которому его предрасположила природа и условія, въ которыхъ онъ выросъ. Если всего больше людей, пассивно примирившихся съ жизнью, то рѣже встрѣчаются люди, примирившіеся съ нею на почвѣ отвлеченныхъ воззрѣній, и еще рѣже люди, которыхъ сильно развившееся чувство общественности заставляетъ принимать въ жизни непосредственное активное участіе.

Изъ всѣхъ людей, стоящихъ въ первыхъ рядахъ общества, никто, быть можетъ, не бываетъ настолько безоруженъ передъ вопросами жизни, какъ поэтъ, этотъ признанный баловень природы.

Но все баловство природы, въ отношеніи къ нему, заключается въ томъ, что она сдѣлала его болѣе нервнымъ, а потому болѣе чуткимъ, сравнительно съ остальными людьми, т.-е. затруднила ему и безъ того трудную задачу найти нравственное и умственное оправданіе своимъ словамъ и поступкамъ. Чѣмъ субъективнѣе поэтъ, тѣмъ труднѣе дается ему примиреніе съ дѣйствительностью.

Сложная нервная система и отзывчивость на всѣ стороны жизни, какъ прошедшей, такъ и настоящей, не позволяютъ его мыслямъ и чувствамъ замкнуться въ какомъ-либо узкомъ кругѣ, онъ больше, чѣмъ кто-либо, дитя своего вѣка, и чѣмъ сложнѣе запросы этого вѣка, тѣмъ труднѣе и запутаннѣе его отношеніе къ нимъ. Ему больше, чѣмъ кому-либо, приходится страдать отъ постоянныхъ столкновеній съ дѣйствительностью, тѣмъ болѣе, что результаты его дѣятельности менѣе осязательны, чѣмъ плоды какой-либо иной работы.

Какъ бы поэтъ ни примирился съ дѣйствительностью, но долгій процессъ этого примиренія для него—мучительное состояніе болѣзни, почему нѣтъ поэта, особенно въ нашемъ столѣтіи, у котораго печальные мотивы не преобладали бы надъ веселыми. Идеализмъ, присущій почти каждому поэту, фантастическія мечты о лучшемъ мірѣ, въ которомъ онъ живетъ

силою своего воображенія, не поддающагося никакимъ доводамъ и сарказмамъ разума, поэтическая идеализація всѣхъ самыхъ лучшихъ и чистыхъ земныхъ чувствъ и способность наслаждаться символами, какъ бы предметами земными и осязаемыми, все выводитъ поэта на пагубный путь раздвоенія и вражды съ окружающимъ его міромъ, если его фантазія не настолько сильна, чтобы поработить въ немъ всѣ остальныя чувства. Единственный выходъ для него изъ труднаго душевнаго разлада—если ему на помощь прійдетъ то сознаніе общественности, которое одно въ силахъ умиротворить его душу, и скучающаго или озлобленнаго мечтателя обратить въ живого члена одной семьи, трудящейся и въ трудѣ находящей не только отдыхъ и утѣшеніе, но, главнымъ образомъ, самоудовлетвореніе и нравственное оправданіе.

Одну изъ такихъ попытокъ поэта примириться съ жизнью и найти себѣ въ ней подходящее мѣсто,—мы изложимъ въ слѣдующихъ главахъ. Человѣкъ, съ которымъ мы будемъ имѣть дѣло, принадлежитъ къ числу самыхъ видныхъ и самыхъ замѣчательныхъ нашихъ поэтовъ.

III.

Михаилъ Юрьевичъ Лермонтовъ, какъ извѣстно, умеръ очень рано, на 27 году жизни. Ранняя смерть прервала его литературную дѣятельность, быть можетъ, въ тотъ самый моментъ, когда талантъ его, пройдя черезъ длинную подготовительную школу литературнаго и жизненнаго воспитанія, готовился встать на свойственную ему самостоятельную дорогу. Такимъ образомъ въ оставшихся произведеніяхъ Лермонтова передъ нами далеко не законченная картина, а скорѣе одинъ только фонъ, на которомъ должны были быть нарисованы тѣ фигуры и образы, которые сохранились лишь въ наброскахъ.

Естественно, что отъ человѣка, который жилъ такъ мало и, притомъ, замкнутой жизнью, мы не въ правѣ требовать какого-либо опредѣленнаго рѣшенія великихъ вопросовъ жизни.

Къ этому рѣшенію Лермонтовъ только готовился, и вся его литературная дѣятельность ничто иное, какъ отраженіе этой духовной работы, постоянно кипучей, нервной и часто до болѣзненности изнурительной.

По своей природѣ, Лермонтовъ былъ натурой очень дѣятельной, живой въ мысляхъ и поступкахъ; его фантазія никогда не вызывала въ немъ мечтательно-томнаго пассивнаго настроенія, а, наоборотъ, отрывая его отъ слишкомъ монотонной будничной жизни, переносила въ міръ фантастическихъ приключеній, гдѣ все было огонь и движеніе. Такимъ образомъ пассивное примиреніе съ дѣйствительностью было для него немыслимо. Какъ въ жизни онъ не мирился съ своимъ положеніемъ свѣтскаго человѣка и военнаго, такъ и въ своей поэзіи онъ никогда не былъ доволенъ ни вымысломъ, ни исполненіемъ. Смотрѣть на поэзію, какъ у насъ на нее смотрѣли въ 20-хъ годахъ, Лермонтовъ не могъ. Онъ не могъ понять тихаго и ровнаго писанія стиховъ, этого душевнаго покоя и самоудовлетворенія, какое испытывали тогда люди, отдавшіеся творчеству и нашедшіе въ творчествѣ настоящую келью, куда они уходили отъ дѣйствительности. Правда, дѣйствительность въ 20-хъ годахъ и допускала такое отчужденіе, которое уже было немыслимо въ ту пору, когда жилъ Лермонтовъ. Не смотря на то, что, въ своей дѣятельности, Лермонтовъ, почти исключительно, былъ занятъ собой и, повидимому, замыкался въ очень тѣсномъ индивидуальномъ кругѣ, онъ, по настроенію, діаметрально противоположенъ нашимъ поэтамъ-элегикамъ пушкинской школы, которые углублялись въ самихъ себя, такъ какъ были безсильны углубиться въ окружающее. Для Лермонтова анализъ собственнаго сердца былъ результатомъ мучительной борьбы двухъ спорящихъ душевныхъ состояній: ненасытной жажды дѣятельности, какой-то великой, героической дѣятельности, и сознанія своей слабости, своей ограниченности, нерѣдко очень преувеличенной. При такомъ душевномъ разладѣ никакое примиреніе съ жизнью, на почвѣ поэтической отчужденности отъ міра, было немыслимо.

Лермонтову было также очень трудно усвоить себѣ широкій философскій взглядъ на жизнь и творчество и взгля-

нуть на искусство, какъ на самостоятельную область человѣческаго духа, которая входитъ въ общую жизнь человѣчества, какъ необходимый и полезный факторъ въ общественномъ отношеніи. Примириться съ жизнью на почвѣ эстетическаго усовершенствованія Лермонтовъ не могъ, частью по своей молодости и отчасти вслѣдствіе нерасположенія къ отвлеченному мышленію, къ которому его не подготовили ни природа, ни воспитаніе. Самый естественный и единственно возможный выходъ изъ этого тяжелаго положенія была борьба, то вмѣшательство въ жизнь, во имя извѣстнаго количества отдѣльныхъ идеаловъ и принциповъ, какимъ отличалась поэтическая дѣятельность французскихъ и англійскихъ писателей начала нашего вѣка.

Но для того, чтобы идти по ихъ стопамъ, какъ пытался сдѣлать это Лермонтовъ, даже, иногда, въ ущербъ своей самостоятельности, для этого нужно было, во-первыхъ, имѣть идеалы, а во-вторыхъ, располагать средствами, для проведенія ихъ въ жизнь.

Воспитать въ себѣ опредѣленные идеалы можно и въ очень юные годы, но при особыхъ условіяхъ, которыхъ именно и не было у нашего поэта. Вся его кратковременная литературная дѣятельность есть исповѣдь сильной энергической души, озабоченной привести въ ясность свои туманные и неустановившіеся идеалы. Туманность этихъ идеаловъ и неустойчивость взглядовъ на коренные вопросы жизни лишали Лермонтова всякой возможности проводить ихъ сознательно въ жизнь, хотя постоянно наводили его на мысль о необходимости активнаго вмѣшательства въ теченіе современной ему жизни. Дѣйствительно, нѣтъ ни одного вопроса жизни, котораго бы Лермонтовъ не затронулъ вскользь, и отъ котораго бы не отвернулся съ тайной досадой на свою слабость и на обстоятельства, заставившія его подумать надъ этимъ вопросомъ. Отсюда его жалобы на самого себя и его нападки на людей, какъ на толпу эгоистическую, погрязшую въ порокахъ и мелочахъ. Невозможность разобраться самому въ сложной жизненной задачѣ озлобила его противъ людей, запутавшихъ эту загадку низкими сторонами своей природы.

Трудно вычитать идеалы изъ книгъ, не имѣя передъ гла-

зами самой жизни, которая своимъ прошлымъ или настоящимъ вызываетъ въ умахъ людей то или другое требованіе разума и въ сердцѣ ту или другую потребность. Западные писатели жили и думали въ самомъ центрѣ бушевавшей вокругъ нихъ жизни; присматриваясь къ ней и анализируя ее, они строили и провѣряли свое міровоззрѣніе на живомъ теченіи событій. Между тѣмъ, русская жизнь текла совершенно особымъ теченіемъ, и поверхность ея была такъ гладка и невозмутимо спокойна, что угадать ея потребности, умственныя и нравственныя, было дѣломъ очень труднымъ, почти невозможнымъ. Рѣдкіе изъ нашихъ передовыхъ людей 30-хъ и 40-хъ годовъ нынѣшняго столѣтія дѣйствительно угадали эти потребности,— но Лермонтовъ не принадлежалъ къ числу ихъ. Изъ того знанія, какимъ онъ обладалъ, онъ не могъ создать себѣ хотя сколько-нибудь цѣльнаго взгляда на тѣ или другіе вопросы жизни. Правда, онъ былъ молодъ, и этимъ объясняется весьма многое; къ тому же русская жизнь того времени, какъ мы сказали, совсѣмъ не давала пищи для ума и сердца тѣхъ людей, которые, по природѣ своей, были болѣе склонны къ дѣйствію, чѣмъ къ тихому мечтанію.

Отмѣтимъ пока этотъ фактъ общественной вялости, къ которому мы вернемся впослѣдствіи, а теперь позволимъ себѣ указать на злую иронію судьбы, которая такъ неожиданно прервала жизнь нашего поэта.

Поэтъ, который съ дѣтскихъ дней мечталъ о какой-то великой дѣятельности, о героическихъ подвигахъ, въ которомъ каждое движеніе души было порывомъ и вспышкой, писатель, откликавшійся инстинктивно, по мѣрѣ силъ, на всѣ вопросы и запросы современности, оставилъ намъ въ своемъ, наиболѣе яркомъ литературномъ типѣ,—образъ печальнаго, разочарованнаго, озлобленнаго и совершенно безполезнаго человѣка, прожигающаго свою жизнь медленно, безъ всякихъ идеаловъ.

Но какимъ образомъ Лермонтовъ дошелъ до концепціи такого типа, въ которомъ, несомнѣнно, были изображены извѣстныя стороны его собственнаго характера? Этотъ вопросъ займетъ насъ въ дальнѣйшихъ главахъ нашего очерка.

II

ДѢТСТВО И ЮНОСТЬ ЛЕРМОНТОВА

I.

Наши свѣдѣнія о дѣтствѣ и ранней юности Лермонтова крайне скудны. Уединенная, замкнутая жизнь, какую онъ велъ въ деревнѣ, среди своей семьи, совершенно скрыла отъ насъ тѣ первыя ступени развитія характера и таланта нашего поэта, которыя особенно цѣнны для біографа. Когда мы знакомимся съ Лермонтовымъ, какъ писателемъ, то передъ нами уже 15-лѣтній мальчикъ, съ довольно характерной нравственной физіономіей, основныя черты которой сохраняются у него до самой смерти. Вопросъ, какимъ образомъ сложился этотъ своеобразный характеръ, какія событія внѣшней жизни повліяли на выработку такихъ, а не иныхъ литературныхъ вкусовъ, долженъ остаться открытымъ и можетъ допустить лишь приблизительное, чисто гадательное рѣшеніе. Мы знаемъ слишкомъ мало о ребенкѣ, чтобы привести его въ прямую связь съ хорошо намъ знакомымъ молодымъ художникомъ. Мы постараемся, въ самыхъ краткихъ чертахъ, обрисовать ранніе годы жизни нашего поэта и отмѣтить тѣ несомнѣнные факты, отголосокъ которыхъ слышится въ его поэзіи или замѣтенъ на его характерѣ.

Семейная жизнь родителей Лермонтова, какъ извѣстно, не могла назваться счастливой. Мать вышла замужъ по любви, но противъ воли старшихъ, и этимъ поставила себя и своего мужа въ неловкое положеніе къ своей семьѣ. Ея мужъ, отецъ нашего поэта, былъ человѣкъ непокладистый и, повидимому, не вполнѣ достойный тѣхъ жертвъ, какія ему принесла его супруга. Больная и нервная женщина, она

умерла очень скоро и ребенокъ остался на рукахъ своей бабушки, которая послѣ смерти дочери не имѣла особыхъ причинъ стѣсняться съ зятемъ. Она удалила его отъ себя; ребенокъ лишился, такимъ образомъ, отца и матери; онъ остался жить въ домѣ бабушки, которая любила его до безумія и окружила всѣми возможными удобствами. Въ первые годы дѣтства, для ребенка была, конечно, тайной шаткость его семейнаго положенія; но, съ годами, она стала ему открываться, и былъ моментъ, когда она представилась ему во всей наготѣ и вызвала въ немъ нравственное потрясеніе, слѣды котораго остались въ одной изъ его юношескихъ драмъ. Его бабушка, повидимому, вела постоянно мелочную войну съ мужемъ своей покойной дочери, и молодому поэту приходилось нерѣдко колебаться между живымъ чувствомъ къ любившей его женщинѣ и чувствомъ, болѣе идейнымъ, которое онъ питалъ къ своему отцу. Рѣшить этой семейной загадки въ чью-либо пользу ребенокъ, конечно, не могъ, и потому въ мечтахъ своихъ преувеличивалъ то свою любовь къ отцу, то свое раздраженіе противъ бабушки; онъ рисовалъ въ самыхъ мрачныхъ краскахъ судьбу несчастнаго гонимаго родителя и въ той же степени идеализировалъ образъ своей матери. Однако, несмотря на это, онъ искренно и всей душой любилъ свою бабушку, и если, въ своихъ поэтическихъ образахъ, иногда какъ будто хотѣлъ задѣть ее, то въ письмахъ не иначе говорилъ о ней, какъ словами самой живой любви и преданности.

Біографы часто останавливались на этой домашней ссорѣ въ семьѣ Лермонтова, пытаясь найти въ ней источникъ пессимистическихъ взглядовъ на жизнь, рано развившихся въ нашемъ поэтѣ. Одинъ біографъ разсказалъ даже подробно эту ссору, на основаніи одной изъ юношескихъ драмъ Лермонтова. Мы не хотимъ приписывать этой ссорѣ того первенствующаго значенія въ творчествѣ Лермонтова, какое ей обыкновенно дается, но нѣтъ сомнѣнія, что ненормальное положеніе въ семьѣ не по годамъ старило ребенка. Оно вырывало изъ его юности цѣлую страницу жизни, лишило его семьи въ строгомъ смыслѣ слова, не дало развиться въ немъ цѣлому ряду чувствъ, которыя могли бы помѣшать

развитію въ поэтѣ излишней склонности къ меланхоліи, излишнимъ думамъ надъ своимъ одиночествомъ, надъ горькой участью отца, несчастіемъ матери и многими другими вопросами, слишкомъ трудными и потому вредными для дѣтскаго ума.

Этотъ семейный разладъ былъ важнымъ, но единственнымъ мрачнымъ событіемъ въ дѣтствѣ нашего поэта. Семья, въ которой онъ жилъ, не жалѣла ни средствъ, ни времени для того, чтобы обставить воспитаніе ребенка наилучшимъ образомъ. Мальчику была предоставлена большая свобода; деревенская жизнь помогла ему рано оцѣнить природу, испытать на себѣ ея умиротворяющее вліяніе; женское общество, изъ котораго, главнымъ образомъ, состояла его семья, развило въ немъ деликатность и нѣжность, хотя, быть можетъ, слишкомъ рано воспламенило его фантазію. Гувернеры: нѣмецъ, французъ и англичанинъ, поддерживали въ немъ постоянно умственные интересы, и противоположностью своихъ характеровъ расширяли житейскую опытность своего воспитанника, который, живя въ деревнѣ, внѣ всякаго живого общенія съ литературнымъ и инымъ міромъ, рисковалъ утратить связь съ современной ему жизнью.

Въ деревнѣ Лермонтовъ провелъ тринадцать лѣтъ, слѣдовательно не только дѣтство, но и отрочество. Пищи для наблюденій было много. Крестьянскій бытъ былъ у него передъ глазами и эта близость съ народомъ оставила навсегда слѣдъ въ его умѣ и сердцѣ. Блестящій, свѣтскій офицеръ никогда не прерывалъ своей связи съ народомъ, и въ этомъ отношеніи его нельзя назвать оторваннымъ отъ почвы. Любовь къ народному стиху, къ сценамъ изъ народной жизни замѣтна въ поэзіи Лермонтова почти во всѣ періоды его жизни: и въ деревенскій, и въ московскій, и въ петербургскій. Конечно, эта любовь была болѣе инстинктивная, чѣмъ осмысленная, но она была врожденная, а не навѣянная, и, тѣмъ самымъ, заключала въ себѣ залогъ дальнѣйшаго развитія, которое было пріостановлено смертью.

II.

Лермонтовъ охотно вспоминалъ свое дѣтство и разукрашивалъ его насчетъ настоящаго, — обычный пріемъ всѣхъ людей, а тѣмъ болѣе поэтовъ. Когда въ душѣ поэта началась тяжелая борьба идеаловъ съ дѣйствительностью и на Лермонтова легла трудная обязанность найти въ этой дѣйствительности мѣсто и оправданіе своимъ стремленіямъ, поэтъ, нервный и раздраженный, любилъ вспоминать былое время, когда его душевная гармонія не была нарушена никакимъ житейскимъ диссонансомъ.

Еще въ 1830 году, будучи въ Москвѣ, онъ говоритъ:

Зачѣмъ семьи родной безвѣстный кругъ
Я покидалъ? Все сердце грѣло тамъ,
Все было мнѣ наставникъ или другъ,
Все вѣрило младенческимъ мечтамъ.
[1830 года, іюля 15-го].

Та же мысль выражена имъ въ другомъ мѣстѣ, но только болѣе поэтически. Намекая на свою „бурную“ жизнь (1831!?), онъ сравниваетъ себя съ волной:

Волна
Ко брегу возвратиться не сильна,
Когда, гонима бурей роковой,
Шипитъ и мчится съ пѣною своей...
Она все помнитъ тотъ заливъ родной,
Гдѣ нѣжилась въ пріютахъ камышей...
[11 іюня, 1831].

И въ 1833 году мы встрѣчаемся съ тѣмъ же настроеніемъ:

Къ чему, куда ведетъ насъ жизнь, о томъ
Не съ нашимъ бѣднымъ толковать умомъ,
Но исключая два, три дня да дѣтство,
Она безспорно скверное наслѣдство.
[Сашка, I, LXII].

Вообще, Лермонтовъ не далъ намъ въ своей поэзіи подробныхъ и пространныхъ картинъ изъ своей дѣтской жизни. Онъ предпочиталъ воспоминаніямъ анализъ своего настоя-

щаго и чувствовалъ, что горечь настоящаго, иногда непонятная ему самому, никакъ не можетъ быть приведена въ связь или выведена изъ прошлаго. Дѣйствительно, за исключеніемъ семейной драмы, о которой Лермонтовъ упоминаетъ довольно часто, въ дѣтствѣ поэта не было событій, дающихъ пищу озлобленію и пессимизму, съ которыми онъ сжился такъ рано.

Такимъ образомъ, за отсутствіемъ постороннихъ свѣдѣній и въ виду молчанія самого Лермонтова о своихъ дѣтскихъ годахъ, весь этотъ періодъ жизни нашего поэта остается для насъ загадкой. Мы можемъ съ увѣренностью сказать только одно, что основная черта Лермонтовскаго характера— его меланхолія, сказалась въ немъ очень рано, но въ этотъ ранній періодъ смѣнялась иногда проблесками болѣе свѣтлаго настроенія, которое потомъ исчезло совсѣмъ, а въ послѣдніе годы его жизни приняло какую-то мистически-религіозную окраску. Эти рѣдкія вспышки житейскаго оптимизма, встрѣчаемыя въ его юношескихъ стихахъ, звучатъ какимъ-то диссонансомъ среди одновременныхъ съ ними другихъ стихотвореній. Иногда такая оптимистическая тирада вставлена въ стихотвореніе очень грустное. Отвертываясь съ презрѣніемъ и сожалѣніемъ отъ нашей земли и отъ людей, поэтъ утѣшаетъ себя тѣмъ, что—

...Нашъ прахъ лишь землю умягчитъ
Другимъ чистѣйшимъ существамъ.
Не будутъ проклинать они;
Межъ нихъ ни злата, ни честей
Не будетъ; станутъ течь ихъ дни
Невинные, какъ дни дѣтей;
Межъ нихъ ни дружбу, ни любовь
Приличья цѣпи не сожмутъ,
И братьевъ праведную кровь
Они со смѣхомъ не прольютъ.
[Отрывокъ, 1830].

Въ другомъ мѣстѣ поэтъ готовъ вѣрить,—

Что время лечитъ отъ страданья;
Что міръ для счастья сотворенъ;

Что добродѣтель не названье
И жизнь поболѣе, чѣмъ сонъ *).
[Исповѣдь, 1831].

Но онъ говоритъ это какъ бы за тѣмъ, чтобы тотчасъ же опровергнуть:

Но вѣрѣ теплой опытъ хладный
Противорѣчитъ каждый мигъ.

Мы выпишемъ для полноты еще одно стихотвореніе, очень характерное:

Когда-бъ въ покорности незнанья
Насъ жить Создатель осудилъ,
Неисполнимыя желанья
Онъ въ нашу душу-бъ не вложилъ;
Онъ не позволилъ бы стремиться
Къ тому, что̀ не должно свершиться;
Онъ не позволилъ бы искать
Въ себѣ и въ мірѣ совершенства,
Когда-бъ намъ полнаго блаженства
Не должно вѣчно было знать?

Но чувство есть у насъ святое—
Надежда, богъ грядущихъ дней;
Она въ душѣ, гдѣ все земное,
Живетъ наперекоръ страстей;
Она залогъ, что есть понынѣ
На небѣ, иль въ другой пустынѣ,
Такое мѣсто, гдѣ любовь
Предстанетъ намъ, какъ ангелъ нѣжный,
И гдѣ тоски ея мятежной
Душа узнать не можетъ вновь.
[1831].

---

*) I do believe,
Though I have found them not, that there may be
Words which are things,—hopes which will not deceive,
And virtues which are merciful, nor weave
Snares for the failing: I would also deem...
That goodness is no name, and happiness no dream.
Byron.

Это стихотвореніе, написанное совсѣмъ въ стилѣ Жуковскаго, вмѣстѣ съ нѣкоторыми другими стихотвореніями, на ту же тему награды и утѣшенія „тамъ“ —единственные слѣды оптимистическаго настроенія въ юношескихъ тетрадяхъ нашего поэта.

Такое настроеніе свойственно каждому дѣтству, и Бѣлинскій былъ правъ, сказавъ, что каждый изъ насъ бываетъ Жуковскимъ на нѣсколько мгновеній своей жизни. Принимать это стремленіе вдаль, эти надежды на будущее блаженство, это томленіе по лучшему міру за цѣлое „міровоззрѣніе“ или за основную черту поэзіи Лермонтова едва ли возможно. Какъ только поэтъ столкнулся съ жизнью, у него исчезли всѣ эти мотивы, и, какъ мы увидимъ ниже, возобновлялись лишь въ минуты сильной нервной усталости. Всѣ выписанные нами стихи, не исключая и знаменитаго „Ангела“, были скоро забыты за цѣлой массой другихъ, имъ діаметрально противоположныхъ.

Не даромъ поэтъ еще въ 1839 году сказалъ:

И я къ высокому въ порывѣ думъ нѣмыхъ,
И я душой летѣлъ во дни былые;
Но мнѣ милѣй страданія земныя —
Я къ нимъ привыкъ—я не оставлю ихъ!..
[Къ другу].

Поэтъ, дѣйствительно, не оставилъ ихъ. Всѣ его типы, несмотря на ихъ символизмъ, показываютъ намъ, насколько онъ былъ привязанъ къ землѣ, какъ стремился рѣшить задачу жизни, помимо всякихъ трансцендентальныхъ размышленій и рѣшеній. Мечты о заоблачномъ мірѣ, равно какъ и часто встрѣчаемое въ юношескихъ стихахъ нашего поэта успокоеніе въ созерцаніи красотъ природы,—остатки дѣтской безмятежной жизни, отзвуки того спокойнаго состоянія духа, которое скоро было нарушено и повторилось позднѣе, когда поэтъ, усталый и душой, и тѣломъ, былъ снова заброшенъ въ дальніе края, гдѣ въ заоблачной мечтѣ и въ природѣ искалъ спасенія отъ волновавшихъ его житейскихъ мыслей.

III.

Лермонтову было тринадцать лѣтъ, когда его привезли въ Москву; здѣсь онъ поступилъ въ университетскій пансіонъ, а оттуда въ университетъ, который онъ покинулъ въ 1832 году, восемнадцати-лѣтнимъ юношей.

Въ столицѣ поэтъ сразу попалъ въ совершенно новую для него обстановку. Вокругъ него не было ни прежней свободы, позволявшей его уму и фантазіи жить совершенно независимо, ни природы, утѣшавшей его въ одиночествѣ. Къ тому же онъ пріѣхалъ въ Москву съ несвободнымъ сердцемъ, насколько можетъ быть несвободно сердце тринадцатилѣтняго мальчика. Два года тому назадъ, а именно во время своего пребыванія на Кавказѣ, въ 1825 году, Лермонтовъ испыталъ чувство первой дѣтской привязанности, которое такъ поразило его своей новизной, что онъ долго не могъ отдѣлаться отъ воспоминаній, и еще въ 1830 году, живя въ Москвѣ, среди многочисленнаго женскаго общества, онъ очень тепло говоритъ объ этомъ чувствѣ въ одной изъ своихъ записныхъ книжекъ.

Перемѣна обстановки и связанный съ нею наплывъ воспоминаній, всегда грустныхъ, за отсутствіемъ предметовъ, которые ихъ вызывали, томное любовное настроеніе, съ которымъ поэтъ относился почти ко всѣмъ женщинамъ, семейныя дрязги, повидимому, принявшія въ Москвѣ особенно острый характеръ — все поддерживало въ мальчикѣ развивавшуюся болѣзнь ранняго пессимизма, о которомъ мы скажемъ ниже.

Тѣмъ не менѣе, прежній образъ жизни, какой велъ поэтъ въ деревнѣ, теперь долженъ былъ измѣниться. Приходилось сталкиваться съ товарищами, съ ихъ интересами, умственными и нравственными, и, наконецъ, съ вопросами политическими, которые въ тридцатыхъ годахъ до извѣстной степени взволновали русское общество.

Со всѣми этими новыми для него сторонами жизни Лермонтовъ мирился туго. Изъ разсказовъ его товарищей мы знаемъ, что въ университетѣ онъ занималъ въ ихъ кругу

совершенно обособленное мѣсто, друзей не имѣлъ и даже рѣдко съ кѣмъ заговаривалъ. Точны ли эти разсказы объ его угрюмомъ видѣ, объ его дерзкихъ отвѣтахъ, о постоянномъ чтеніи какой-то англійской книги, утверждать трудно; но не подлежитъ сомнѣнію, что Лермонтовъ держался въ сторонѣ отъ другихъ, хотя, конечно, не изъ гордости или презрѣнія *). Была несомнѣнно причина, не позволявшая ему броситься опрометью въ круговоротъ новой жизни, какъ онъ сдѣлалъ это впослѣдствіи въ Петербургѣ, когда поступилъ въ юнкерское училище. Это объясняется отчасти тѣмъ, что во время своего пребыванія въ Москвѣ онъ былъ почти мальчикъ, на рукахъ у гувернера и подъ строгимъ контролемъ бабушки; но есть и другая причина: онъ переживалъ тяжелый нравственный кризисъ,—онъ сталкивался впервые съ жизнью и трудился надъ рѣшеніемъ вопросовъ, которые были ему не подъ силу. Только утомясь въ безсильной борьбѣ съ ними, бросился онъ въ Петербургѣ въ другую крайность,—стремился забыть ихъ подъ шумъ сабель и стакановъ.

Что собственно далъ ему московскій университетъ въ чисто умственномъ отношеніи, сказать съ точностью очень трудно. Насколько живы были интересы молодежи ко всевозможнымъ вопросамъ, настолько мертва была въ то время рѣчь преподавателей. Лермонтовъ, чуждаясь веселой жизни товарищей, тѣмъ самымъ ставилъ себя и внѣ ихъ умственныхъ интересовъ; но это отчужденіе уравновѣшивалось въ немъ домашнимъ чтеніемъ и совершенно самостоятельной умственной работой. Эта работа станетъ намъ ясна, когда мы ближе познакомимся съ его юношескими стихотвореніями. Во всякомъ случаѣ, нѣтъ данныхъ, чтобы приписать московскому университету особенное вліяніе на Лермонтова. Теплыя строки, посвященныя самимъ авторомъ московскому университету, стоятъ въ противорѣчіи съ жизнью, какую онъ велъ въ стѣнахъ этого учрежденія: въ товарищескихъ

*) For his was not that open, artless soul
That feels relief by bidding sorrow flow;
Nor sought he friend to counsel or condole...
Byron.

кружкахъ и въ спорахъ „о Богѣ и вселенной“ онъ не участвовалъ. Напротивъ того, товарищамъ бросалась въ глаза его свѣтская жизнь, тотъ кругъ блестящихъ барышенъ, въ обществѣ которыхъ онъ являлся въ театрѣ и на балахъ. При этомъ условіи, внѣшній блескъ и лоскъ молодого студента, сопоставленный съ его нелюдимымъ отчужденіемъ среди товарищей, конечно, подавалъ имъ поводъ къ тѣмъ обвиненіямъ въ высокомѣріи и презрѣніи, съ которыми мы встрѣчаемся въ ихъ воспоминаніяхъ.

Страннымъ кажется, что, несмотря на это видимое одиночество и отчужденіе отъ общей товарищеской жизни, Лермонтовъ принималъ участіе въ скандалѣ, устроенномъ студентами одному изъ профессоровъ. Впрочемъ, вся эта студенческая исторія—дѣло очень темное. Какое участіе принималъ въ ней Лермонтовъ, также неизвѣстно съ точностью; во всякомъ случаѣ, еслибы его роль была изъ видныхъ, то о ней вспомнили бы впослѣдствіи его товарищи, но ихъ записки о Лермонтовѣ умалчиваютъ. Съ другой стороны, имѣются свѣдѣнія, что Лермонтовъ ссорился съ профессорами на экзаменахъ, а при тогдашнихъ патріархальныхъ взглядахъ на субординацію, можно предположить, что на замѣчаніе поэтъ попалъ именно вслѣдствіе этихъ стычекъ съ начальствомъ. Отразилось ли это невыгодное мнѣніе начальства на положеніи Лермонтова въ университетѣ, неизвѣстно, но только въ 1832 году мы застаемъ поэта въ Петербургѣ съ свидѣтельствомъ отъ московскаго университета, что онъ прослушалъ двухъ-лѣтній курсъ лекцій и выбылъ изъ числа слушателей.

IV.

Московскій періодъ въ жизни Лермонтова окончился, когда ему было восемнадцать лѣтъ. Чѣмъ могъ онъ помянуть этотъ прожитый періодъ? Жизнь текла однообразно, раздѣленная между семейными и свѣтскими интересами, хожденіемъ въ университетъ и домашними занятіями.

Семья и свѣтъ не могли наполнить его жизни. Для свѣта онъ былъ слишкомъ молодъ, а въ семьѣ, несмотря

на окружавшую его всеобщую любовь, положеніе его было не совсѣмъ нормально.

Университетъ давалъ мало пищи для ума; шумная жизнь товарищей пока еще не находила отклика въ Лермонтовѣ.

Домашнія занятія шли зато правильно и усиленно; юноша развивался, сталъ приглядываться къ событіямъ общественной жизни и, конечно, не безъ вліянія своего гувернера-француза, обратилъ вниманіе на событія Франціи того времени. Этимъ событіямъ Лермонтовъ посвятилъ нѣсколько стихотвореній, очень слабыхъ, но любопытныхъ, какъ прелюдія къ позднѣйшимъ темамъ. Онъ также сталъ впервые усиленно вчитываться въ Байрона; быть можетъ, къ этому же времени относится и его знакомство съ Барбье.

Вообще періодъ московской жизни поэта былъ бѣденъ впечатлѣніями. Но недостатокъ ихъ и умышленное устраненіе отъ нихъ поэта вознаграждалось той усиленной внутренней жизнью, тѣмъ анализомъ собственнаго сердца, которому отдался въ то время Лермонтовъ. Въ этотъ именно короткій промежутокъ времени, отъ 1828 до 1832 года, Лермонтовымъ написаны всѣ его юношескія стихотворенія, Демонъ, Измаилъ-Бей, Историческая повѣсть и драмы.

Мы разсмотримъ ближе эти произведенія и тогда намъ станетъ понятно, что человѣкъ съ такимъ исключительнымъ міросозерцаніемъ не могъ не показаться страннымъ тѣмъ, кто видѣлъ только его внѣшніе поступки и его странное поведеніе въ школѣ. Отчужденность, нервность, мнимое презрѣніе къ людямъ и гордость объясняются тѣмъ душевнымъ разладомъ, которымъ тогда болѣлъ Лермонтовъ.

III

ЮНОШЕСКІЯ СТИХОТВОРЕНІЯ ЛЕРМОНТОВА

I.

Когда мы, ознакомившись съ фактическими данными дѣтской и юношеской жизни Лермонтова, переходимъ къ чтенію стиховъ, относящихся къ этой эпохѣ, то насъ невольно поражаетъ въ нихъ несоотвѣтствіе между поэтическимъ вымысломъ автора и внѣшними фактами его жизни. Несложныя и очень обыденныя обстоятельства жизни находятся здѣсь какъ будто въ противорѣчіи съ сложнымъ и эксцентричнымъ духовнымъ міромъ.

Юношескія стихотворенія Лермонтова затрогиваютъ широкій кругъ вопросовъ и житейскихъ, и отвлеченныхъ. Они частью скользятъ по нимъ, частью даютъ на нихъ отвѣты. Соединяя эти разрозненные отвѣты въ одно цѣлое, мы получимъ довольно своеобразное міросозерцаніе молодого философа. Это міросозерцаніе, какъ сейчасъ увидимъ, иногда до того безотрадно и мрачно, до того нервно и подчасъ болѣзненно, что читатель, незнакомый съ обстоятельствами жизни самого поэта, имѣетъ полное право пожалѣть гонимаго, оскорбленнаго и несчастнаго человѣка, дѣтскія впечатлѣнія котораго излились въ такихъ скорбныхъ и отчаянныхъ пѣсняхъ.

Но мы знаемъ, что Лермонтовъ не былъ ни гонимъ, ни несчастенъ, ни даже оскорбленъ. Онъ былъ просто уменъ, впечатлителенъ и большой мечтатель,—уменъ прежде всего и, быть можетъ, этотъ перевѣсъ ума, эта способность, не довольствуясь впечатлѣніемъ, думать подъ вліяніемъ этого впечатлѣнія и дѣлать изъ него выводъ, играла не послѣднюю

роль въ его душевной пессимистической болѣзни. Ранній умъ старитъ ребенка, а преждевременная утрата дѣтской наивности вредно отражается на человѣкѣ. Эта утрата въ зрѣломъ возрастѣ развиваетъ въ людяхъ иногда болѣзненное томленіе, дѣлаетъ изъ нихъ мечтательныхъ визіонеровъ или становится источникомъ озлобленія, при которомъ человѣкъ думаетъ, что природа его обидѣла, обошла на жизненномъ пиру, тогда какъ, на самомъ дѣлѣ, она его слишкомъ одарила.

Во всякомъ случаѣ Лермонтовъ не могъ считать себя обиженнымъ.

Біографы поэта, какъ мы сказали, обыкновенно придаютъ важное значеніе семейному разладу между его отцомъ и бабушкой; они ищутъ въ этомъ разладѣ первую причину, изъ которой произошла впослѣдствіи склонность Лермонтова къ меланхоліи и пессимизму. Они указываютъ также на потерю матери, на опасную болѣзнь въ юности, не совсѣмъ благопріятную наружность поэта, на его раннюю любовь, которая не могла не кончиться разочарованіемъ, однимъ словомъ, на цѣлую массу мелкихъ фактовъ, дразнившихъ и сердившихъ поэта. Мы не хотимъ отрицать значенія этихъ случайностей; онѣ важны и могли имѣть свое вліяніе на впечатлительную душу юноши, но вмѣстѣ съ тѣмъ онѣ представляютъ такое обыденное явленіе въ жизни почти каждаго человѣка, что едва ли могутъ быть названы настоящей причиной того загадочнаго міровоззрѣнія, съ которымъ мы сталкиваемся въ юношескихъ стихахъ Лермонтова. Кромѣ того, всѣ эти огорченія безспорно искупались житейскими удобствами и теплой любовью, которой всѣ ближніе окружали дѣтство поэта.

Главный источникъ лермонтовскаго настроенія, какъ намъ кажется, заключается въ самомъ темпераментѣ поэта, который данъ былъ ему природой, предрасполагалъ его къ ощущеніямъ извѣстнаго порядка, оберегалъ отъ другихъ и коренился въ длинномъ рядѣ физическихъ и нравственныхъ причинъ, которыя никто не уловитъ и не объяснитъ. Природа создала Лермонтова по существу меланхоликомъ и фантазеромъ, и наша задача прослѣдить, какъ на этотъ основной сѣрый тонъ ложились временами болѣе темныя или болѣе

свѣтлыя краски, сообразно съ внутреннимъ его развитіемъ и внѣшней обстановкой, въ которой онъ жилъ.

Уже въ юношескихъ его стихахъ замѣтна одна черта, которая должна была усилить въ немъ его страсть къ печальнымъ сторонамъ жизни, точно также, какъ въ юношеской его жизни есть обстоятельство, которое должно было питать ее. Мы говоримъ объ его ранней склонности анализировать умомъ свои чувства, и объ отчужденности и замкнутости, въ какой онъ провелъ свое дѣтство.

Лермонтовъ, въ дѣтствѣ и въ первыхъ годахъ юности, былъ парниковымъ растеніемъ. Воспитаніе онъ получилъ дома, жилъ въ деревнѣ и до своего поступленія въ московскій пансіонъ вращался исключительно въ узкомъ кругу родственниковъ и знакомыхъ. Кругъ этихъ знакомыхъ былъ, въ свою очередь, кругомъ тѣснымъ и, кажется, не представлявшимъ особаго интереса. Какая разница съ юношескими годами Пушкина! — столица, свѣтскій салонъ отца, кружокъ талантливѣйшихъ людей, собиравшихся въ отеческомъ домѣ, не менѣе талантливый кругъ товарищей,—все приводило молодого Пушкина въ столкновеніе съ интересами дня, съ интересами общества и вопросами литературы. Для Лермонтова интересъ дня сосредоточивался на семейныхъ мелочахъ; общественнаго интереса у людей, его окружавшихъ, не было, вопросы литературы были вопросами книжными, а не живыми. Лермонтовъ читалъ, но не разговаривалъ съ авторами. Читалъ онъ очень много; утверждаютъ, что, будучи тринадцати-лѣтнимъ мальчикомъ, онъ зналъ почти всю русскую литературу и имѣлъ богатыя свѣдѣнія по литературамъ иностраннымъ. Такимъ образомъ, умственная жизнь юнаго поэта дѣлилась на двѣ неравныя половины: съ одной стороны, скудный и мало интересный опытъ житейскій, съ другой—богатый міръ чувствъ и мыслей, вычитанныхъ изъ книгъ. Разграничить эти два міра Лермонтовъ былъ, конечно, не въ состояніи, но онъ былъ слишкомъ большимъ мечтателемъ, чтобы не попытаться ассимилировать ихъ: мелкія переживаемыя имъ житейскія явленія онъ приноравливалъ къ тѣмъ сильнымъ и картинно выраженнымъ чувствамъ, съ которыми онъ встрѣчался въ книгахъ. Отсюда вытекла его

привычка преувеличивать собственныя ощущенія, привычка, не покидавшая его и въ болѣе зрѣлые годы.

На ряду съ этой привычкой, восполнять мечтой недостатокъ житейскаго опыта и однообразіе переживаемыхъ ощущеній,—поэтъ вырабатывалъ рано въ себѣ другую привычку—расчленять разумомъ то, что онъ успѣвалъ схватить чувствомъ. Въ сущности, разладъ между дѣйствительностью и мечтой, разгоряченной чтеніемъ, былъ такъ великъ, что многія неиспытанныя чувства пришлось уяснять себѣ разумомъ; и многія испытанныя ощущенія добавлять тѣмъ же разумомъ, чтобы сдѣлать ихъ похожими на тѣ, съ которыми умъ поэта успѣлъ уже освоиться въ книгахъ. Эта способность оказала свое гибельное вліяніе на развитіе Лермонтовскаго пессимизма. Въ самомъ дѣлѣ, нѣтъ ни одной человѣческой мысли, ни одного чувства, которое бы, путемъ логическихъ расчлененій, не привело человѣка къ самымъ безотраднымъ и пессимистическимъ выводамъ, въ особенности, если этотъ человѣкъ такъ юнъ, что не имѣетъ за собой никакой жизненной опытности, никакихъ установившихся и обязательныхъ убѣжденій и, кромѣ того, по природѣ склоненъ къ меланхоліи. Такимъ образомъ, чувство семейной горечи могло привести поэта къ отрицанію всякихъ нравственныхъ основъ семейной жизни; чувство дѣтской обманутой дружбы къ непризнанію въ людяхъ, вообще, какихъ бы то ни было альтруистическихъ чувствъ; недовольство ребенкомъ-женщиной къ цѣлой теоріи женскаго коварства; смутное сомнѣніе въ своихъ силахъ къ бреду о собственномъ ничтожествѣ. Юношескія стихотворенія Лермонтова представляютъ намъ разительный примѣръ такихъ поэтическихъ умозаключеній, вытекавшихъ изъ легкихъ неудачъ ежедневной жизни, замкнутой въ себѣ и предоставленной на произволъ умственныхъ операцій, лишенныхъ житейской опытности.

Меланхолическій темпераментъ, однообразная и огражденная почти со всѣхъ сторонъ жизнь, раннее усиленное чтеніе, попытка привести это чтеніе въ связь съ тѣмъ, что удалось испытать на дѣлѣ, и сильная склонность къ рефлексіи, — вотъ причины, исказившія въ юношѣ и ребенкѣ естественное міровоззрѣніе и замѣнившія его міровоззрѣніемъ, скорб-

нымъ не по лѣтамъ. Мы представимъ его въ краткомъ очеркѣ, чтобы затѣмъ перейти къ вопросу объ его литературныхъ источникахъ.

Въ кругъ юношескихъ произведеній Лермонтова мы включаемъ всѣ стихи до 1831 года, т.-е. до того года, когда онъ приступаетъ къ созданію крупныхъ литературныхъ произведеній, и становится въ своемъ творчествѣ болѣе самостоятеленъ и болѣе объективенъ. Такимъ образомъ, въ составъ разсматриваемыхъ нами стихотвореній входитъ и поэма „Демонъ"; но мы отведемъ ей особое мѣсто и остановимся преимущественно на лирикѣ, такъ какъ въ эпическихъ произведеніяхъ, относящихся къ раннему періоду, Лермонтовъ былъ прямымъ подражателемъ, и совсѣмъ неустановившимся дѣтскимъ романтикомъ. Въ раннихъ его поэмахъ нѣтъ личнаго, пережитаго или только передуманнаго, а потому мы можемъ обойти ихъ, подчеркнувъ въ нихъ только пристрастіе автора къ кровожаднымъ сценамъ, драматическимъ эффектамъ и красивой группировкѣ—пристрастіе, которое не оставляло его до самой смерти.

II.

Основной фонъ Лермонтовскаго настроенія—меланхолія, сказалась прежде всего въ грустной идеализаціи безпечнаго, наивнаго дѣтства. Мальчикъ лѣтъ 13—14 уже говорилъ объ утратѣ блаженства и покоя; умъ начиналъ тревожить его и разукрашивалъ прошедшее насчетъ настоящаго. Онъ обвинялъ людей въ томъ, что они отравили его ребяческіе дни; ему казалось, что они разрушили его воздушные замки, напомнивъ ему о землѣ разными житейскими мелочами. Дѣйствительно, въ дѣтствѣ своемъ онъ жилъ въ воздушномъ мірѣ, какъ тщетно пытался жить въ немъ и послѣ. Столкновеніе съ жизнью не умиротворило его фантазіи, а только разожгло ее. Фантазія была очень пылкая и мириться ни съ чѣмъ не хотѣла. Она имѣла право на такую неуступчивость, потому что она была величественна по своимъ замысламъ, сильна и красива. Въ ней не было сентиментальности, неопредѣлен-

наго томленія, легко мирящагося съ прозой и скромной дѣятельностью; въ ней было то, что̀ принято называть демоничностью. Вотъ примѣръ, который можно подтвердить многими варіаціями:

Какъ часто силой мысли въ краткій часъ
Я жилъ вѣка̀ и жизнію иной,
И о землѣ позабывалъ. Не разъ,
Встревоженный печальною мечтой,
Я плакалъ; но всѣ образы мои,
Предметы мнимой злобы̀ иль любви,
Не походили на существъ земныхъ.
О нѣтъ, все было адъ иль небо въ нихъ!
[11 іюня 1831, 2].

Какъ отличны отъ этихъ мечтаній были юношескія грезы предшествующаго поколѣнія! Вспомнимъ Жуковскаго, Пушкина, Дельвига, Баратынскаго, Языкова, съ ихъ юношеской томной грустью и неопредѣленнымъ стремленіемъ вдаль. У Лермонтова это стремленіе въ самые ранніе годы принимаетъ совершенно иную окраску. Въ двухъ-трехъ юношескихъ стихотвореніяхъ встрѣчаются эти легкіе отзвуки меланхолически сентиментальной лиры; но они скоро уступаютъ мѣсто совсѣмъ инымъ стремленіямъ и фантазіямъ.

III.

Господствующимъ мотивомъ этихъ мечтаній является *жажда великихъ подвиговъ*, героическій подъемъ чувствъ и мыслей, рвущихся на просторъ „къ облакамъ“. Мы напрасно стали бы искать какой-нибудь опредѣленной программы въ этихъ неясныхъ порывахъ молодой фантазіи „къ великому“. Голова ребенка, разгоряченная раннимъ чтеніемъ книгъ, по преимуществу романтическаго содержанія, бредила рыцарскими подвигами, мечтала о Шотландіи, которую поэтъ считалъ своей родиной, о Кавказѣ и его герояхъ, о древней Руси съ ея богатырями, о Римѣ, о морскихъ разбойникахъ, — однимъ словомъ, обо всемъ, на чемъ только лежала печать внутренняго или просто внѣшняго величія. Понятно, что поэтъ не

только наслаждался этимъ міромъ, но и жилъ въ немъ, какъ его участникъ, какъ его герой. Проекты поэмъ и драмъ возникали и умирали почти ежедневно, и одинъ проектъ былъ романтичнѣе, величественнѣе и страшнѣе другого; но во всѣхъ выдвигалась впередъ одна единичная личность, сильная, но очень неустановившаяся, какъ и самъ авторъ.

Сама жизнь, повидимому, должна была скоро охладить эту пылкую фантазію и конечно охлаждала, и ранняя меланхолія находила себѣ поддержку въ этой дисгармоніи мечты и дѣйствительности. Но, несмотря на пессимистическія признанія, какими переполнены юношескія стихотворенія поэта, его мечта никогда не желала признать себя побѣжденной. Она успѣла пустить глубокіе корни въ сердцѣ Лермонтова. Постоянное желаніе быть участникомъ великихъ дѣлъ, хотя бы и не опредѣленныхъ, повлекло за собою увѣренность въ томъ, что этотъ сонъ долженъ осуществиться. Мысль объ осуществленіи его совпала у Лермонтова съ мыслью о собственномъ призваніи. Поэтъ не скрывалъ своихъ гордыхъ думъ. Приведемъ нѣсколько примѣровъ этой увѣренности поэта въ своемъ великомъ призваніи:

Для небеснаго могилы нѣтъ.
Когда я буду прахъ, мои мечты,
Хоть не пойметъ ихъ, удивленный свѣтъ
Благословитъ.

[11 іюня 1831, 5].

Невѣдомый пророкъ мнѣ обѣщалъ безсмертіе.

[11 іюня 1831, 4].

Отчего не понялъ свѣтъ
Великаго, и какъ онъ не нашелъ
Себѣ друзей, и какъ любви привѣтъ
Къ нему надежду въ сердце не привелъ?
Онъ былъ ея достоинъ.

[11 іюня 1831, 31].

Поэтъ намъ не сказалъ, что именно желалъ онъ совершить достойное безсмертія и величія. Каждый разъ, когда поэтъ касается этого вопроса, онъ обходитъ его въ общихъ

выраженіяхъ; онъ только боится, что не успѣетъ совершить „чего-то“. Это что-то остается неуловимымъ призракомъ, который преслѣдуетъ всѣхъ Лермонтовскихъ героевъ или, собственно, самого автора во всю его жизнь. Ему всегда кажется, что онъ дѣлаетъ не то, что слѣдуетъ, что онъ прожигаетъ жизнь даромъ.

Въ эпоху, о которой мы говоримъ, Лермонтовъ отдавался своимъ мечтамъ съ легковѣріемъ мечтательнаго ребенка, хотя каждый приливъ героическихъ чувствъ былъ неразрывно связанъ съ такимъ же наплывомъ сомнѣній *). Для характеристики Лермонтова-юноши весьма интересенъ тотъ фактъ, что ни въ одномъ изъ его юношескихъ стихотвореній мы не встрѣчаемъ полнаго, безотчетнаго восторга, полнаго преклоненія передъ тѣми ощущеніями высшаго порядка, какія, безспорно, тревожили его, когда онъ отдавался мечтамъ о своемъ призваніи. Странно, что у этого экзальтированнаго юноши, такъ высоко настроеннаго, не вырвалось ни одного патетическаго порыва, безъ соотвѣтствующаго пессимистическаго охлажденія. Умъ ребенка, съ дѣтскихъ лѣтъ, привыкалъ анализировать собственныя чувства, и не позволялъ чувству овладѣвать имъ совершенно. Мечтая о высокомъ и великомъ своемъ призваніи, поэтъ, ежеминутно, отдавалъ себѣ отчетъ въ томъ, что всѣ эти мечты, быть можетъ, не болѣе какъ мечты,—плодъ его разгоряченной фантазіи, не находящей себѣ оправданія ни въ самомъ поэтѣ, ни въ окружавшей его обстановкѣ.

IV.

Лермонтовъ очень рано освоился съ мыслью, что великое, къ которому онъ стремится, останется для него недостижимымъ, что онъ, сдѣлавъ попытки къ его достиженію, успѣетъ только перейти за предѣлы той общей нормальной

*) The heart is like the sky, a part of heaven
But changes night and day, too, like the sky.
Byron.

жизни, какой живутъ его окружающіе, успѣетъ навлечь на себя ихъ недовольство, проклятіе, будетъ заклейменъ ими и отвергнутъ, непонятъ и даже казненъ. Фантазія Лермонтова вообще не была скупа на темныя краски, и потому разъ только ему запала въ голову мысль, что онъ будетъ гонимъ людьми за его высокіе идеалы, за его стремленіе къ великимъ, хотя и туманнымъ подвигамъ, онъ не замедлилъ развить эту мысль до ея послѣднихъ крайностей.

Такимъ образомъ, одновременно съ сердечнымъ порывомъ, въ немъ возникала мысль о суетности его увлеченія, или передъ нимъ проносилась цѣлая картина нравственныхъ и физическихъ мученій, дѣйствующимъ лицомъ которой являлся онъ самъ. Понятно, что эта картина была придумана, а не испытана, такъ какъ за недостаткомъ житейскаго опыта, поэтъ могъ почерпнуть подходящія чувства только изъ книгъ. Вотъ почему юношескіе стихи Лермонтова, въ особенности, въ пессимистическихъ тирадахъ, носятъ на себѣ слѣды дѣланности и вычурности. Мы приведемъ для примѣра наиболѣе характерныя выдержки, гдѣ основная мысль о жалкой участи, которая ожидаетъ поэта, выражена наиболѣе рельефно:

Я предузналъ мой жребій, мой конецъ,
И грусти ранняя на мнѣ печать;
И какъ я мучусь, знаетъ лишь Творецъ;
Но равнодушный міръ не долженъ знать.
И не забытъ умру я. Смерть моя
Ужасна будетъ; чуждые края
Ей удивятся, а въ родной странѣ
Всѣ проклянутъ и память обо мнѣ.
[11 іюня 1831, 28].

Настанетъ день—и міромъ осужденный,
Чужой въ родномъ краю,
На мѣстѣ казни—гордый, хоть презрѣнный
Я кончу жизнь мою.
[1830].

Прочитавъ эти тирады, мы можемъ сказать Лермонтову словами одного изъ его героевъ: „Другъ мой! ты строишь химеры въ своемъ воображеніи и даешь имъ черный цвѣтъ

для бо̀льшаго романтизма!“—и мы будемъ правы. Эти мрачныя картины были дѣйствительно химеры, какъ отчасти и тѣ свѣтлыя мысли о великомъ призваніи, которыя ихъ вызывали. Но такъ какъ въ самой жизни не было ничего такого, что̀ могло бы подать Лермонтову надежду на возможность осуществленія его великихъ стремленій, а съ другой стороны было весьма много такого, что̀ могло, по его мнѣнію, говорить противъ нихъ,—то естественно, что мрачныя картины были болѣе опредѣленны и развиты въ деталяхъ, чѣмъ картины противоположнаго настроенія, и легкость ихъ обрисовки побуждала Лермонтова обращаться къ нимъ при всякомъ удобномъ случаѣ. Такимъ образомъ, пессимистическія тирады, въ концѣ концовъ, совсѣмъ оттѣснили на задній планъ всѣ мечты другого порядка.

V.

Анализъ ума, который шелъ по пятамъ за малѣйшимъ сердечнымъ порывомъ, заставлялъ Лермонтова почти всегда оглядываться на свое прошлое и настоящее. Въ прошломъ онъ видѣлъ почему-то только рядъ утраченныхъ лѣтъ, а въ настоящемъ—одну пустоту. Отсюда его раннія жалобы на развратную молодость (ему самому было шестнадцать лѣтъ, когда онъ писалъ это), и на мелочность и суету „свѣта“. Объ этомъ „свѣтѣ“ еще въ 1830 году онъ говорилъ такъ:

Но свѣтъ чего не уничтожитъ,
Что благородное снесетъ,
Какую душу не сожжетъ,
Чье самолюбіе не умножитъ,
И чьихъ не обольститъ очей
Нарядной маскою своей?
[Какъ лучъ зари, 1830].

Но передъ идолами свѣта
Не гну колѣни я мои;
Какъ ты не знало въ немъ предмета
Ни сильной злобы, ни любви...

Я людямъ руки жму охотно.
Хоть презираю ихъ межъ тѣмъ.
[Прелестницѣ, 1830].

Сравнивая эти два отрывка съ тѣмъ, что̀ авторъ говорилъ лѣтъ десять спустя о томъ же свѣтѣ, мы видимъ, что взглядъ его на дѣло не измѣнился. Для суда надъ обществомъ у него какъ будто заранѣе было выработано клише, которымъ онъ пользовался тамъ, гдѣ это было нужно.

Жизненной правды во всѣхъ этихъ осужденіяхъ конечно не было. Юный Лермонтовъ казался всѣмъ, кто его видѣлъ, надменнымъ и гордымъ, до крайности самолюбивымъ и высокомѣрнымъ; онъ вовсе не чуждался общества, а напротивъ того, искалъ его и стремился играть въ немъ роль не по лѣтамъ.

Мы уже замѣтили, что помирить поэзію Лермонтова съ фактами его жизни нѣтъ никакой возможности. Но какъ бы онъ ни велъ себя въ жизни, для міровоззрѣнія Лермонтова-поэта изъ всего сказаннаго слѣдуетъ, что въ немъ рано проснулась жажда къ чему-то возвышенному, увѣренность въ томъ, что онъ призванъ въ міръ для осуществленія великихъ помысловъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, сознаніе, что всѣ эти помыслы парализованы житейской мелочью, ограниченностью человѣческой природы, и готовятъ ноэту лишь страданія и осужденіе.

VI.

Наско́лько живо было въ Лермонтовѣ сознаніе своей силы, настолько же сильно было, какъ мы уже замѣтили, и сомнѣніе въ томъ, что этой силѣ суждено найти подходящее дѣло. Это душевное состояніе сильнаго, но бездѣятельнаго человѣка, гордаго своими преимуществами, презирающаго слабыхъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, тоскующаго въ одиночествѣ,— Лермонтовъ положилъ въ основаніе своего „Демона“. Ему же онъ придалъ и другую свою черту, которую ему удалось рано въ себѣ подмѣтить,—свой религіозный индифферентизмъ.

„Демона“, обыкновенно, приводятъ въ связь съ „Каиномъ“; но между ними нѣтъ ничего общаго, если не считать нѣкотораго неизбѣжнаго сходства между ролями Ады и Тамары. Сатанинскаго отрицанія въ Демонѣ нѣтъ; онъ служитъ духу тьмы скорѣе изъ разсчета, такъ какъ пользуется на его службѣ бо́льшей свободой, чѣмъ та, которой бы онъ могъ располагать на небѣ. Небо ему дорого только какъ воспоминаніе дѣтства. Въ немъ нѣтъ достаточнаго смиренія, чтобы стать ангеломъ, ни достаточно злобы и отрицанія, чтобы стать бѣсомъ. Въ этомъ отношеніи, Демонъ вѣрно отражаетъ психическій міръ самого Лермонтова, въ его юношескіе годы. Лермонтовъ не былъ никогда религіознымъ человѣкомъ, въ тѣсномъ смыслѣ слова; но онъ также не былъ и отрицателемъ. Мы не ошибемся, если скажемъ, что настроенія скептическое и религіозное были для него настроеніями поэтическими.

Недавно было высказано мнѣніе, что, при извѣстныхъ условіяхъ, изъ Лермонтова могъ выработаться поэтъ славянофильской школы. Едва ли! Патріотизмъ Лермонтова былъ скорѣе военный, чѣмъ гражданскій, былъ вызванъ просто любовью Лермонтова ко всему героическому, какъ, напримѣръ, и его симпатія къ Наполеону. Что же касается религіознаго настроенія, то у Лермонтова оно встрѣчается очень рѣдко и отрывочно. Въ его міровоззрѣніи, съ юношескихъ лѣтъ, замѣтно постоянное колебаніе въ вопросахъ этого порядка; и это колебаніе не мало повліяло на его ранній пессимизмъ. Лермонтовъ кончилъ тѣмъ, что довольно оригинально отдѣлался отъ этихъ неотвязныхъ вопросовъ. Приведемъ нѣсколько выдержекъ.

Но вѣрѣ теплой опытъ хладный
Противорѣчитъ каждый мигъ,
И умъ, какъ прежде, безотрадный
Желанной цѣли не достигъ;
И сердце, полно сожалѣній,
Хранитъ въ себѣ глубокій слѣдъ
Умершихъ, но святыхъ видѣній,
И тѣни чувствъ, какихъ ужъ нѣтъ;
Его ничто не испугаетъ,
И то, что́ было бъ ядъ другимъ,

Его *живитъ*, его *питаетъ*
Огнемъ язвительнымъ своимъ.
[Исповѣдь, 1831].

Но вотъ и рѣшеніе вопроса:

О, мой Отецъ! гдѣ ты? гдѣ мнѣ найти
Твой гордый духъ, бродящій въ небесахъ?
Въ твой міръ ведутъ столь разные пути,
Что избирать мѣшаетъ тайный страхъ.
Есть рай небесный, звѣзды говорятъ;
Но гдѣ же? вотъ вопросъ—и въ немъ-то ядъ:
Онъ сдѣлалъ то, *что въ женскомъ сердцѣ я*
Хотѣлъ сыскать отраду бытія.
[Я видѣлъ тѣнь блаженства, 1831].

Не такъ ли поступилъ и Демонъ?

Съ этимъ обращеніемъ къ женскому сердцу, какъ спасительной пристани отъ всѣхъ мучительныхъ вопросовъ, мы переходимъ къ новой чертѣ Лермонтовскаго характера, къ той его особенности, которая, вмѣстѣ съ фантастическими мечтами о величіи, отравила ему его молодость, хотя, въ то же самое время, и наполняла пустоту его сердца. Мы говоримъ о влюбчивости поэта.

VII.

Самъ Лермонтовъ былъ очень откровененъ въ своихъ признаніяхъ:

Въ ребячествѣ моемъ тоску любови знойной
Ужъ сталъ я понимать душою безпокойной;
На мягкомъ ложѣ сна, не разъ, во тьмѣ ночной,
При свѣтѣ трепетномъ лампады образной,
Воображеніемъ, предчувствіемъ томимый,
Я предавалъ свой умъ мечтѣ непобѣдимой:
Я видѣлъ женскій ликъ—онъ хладенъ былъ какъ ледъ,
И очи... этотъ взоръ въ груди моей живетъ;
Какъ совѣсть, душу онъ хранитъ отъ преступленій;
Онъ слѣдъ единственный младенческихъ видѣній...
И дѣву чудную любилъ я, какъ любить
Не могъ еще съ тѣхъ поръ, не стану—можетъ быть
[Первая любовь, 1830].

Я не могу любо́вь опредѣлить,
Но это страсть сильнѣйшая!—Любить
Необходимо мнѣ, и я любилъ
Всѣмъ напряженіемъ душевныхъ силъ.

[11 іюня 1831, 12].

О, когда бъ одно «люблю»
Изъ устъ прекрасныхъ могъ подслушать я,
Тогда бы люди, даже жизнь моя
Въ однообразномъ сѣверномъ краю,
Все бъ въ новый блескъ одѣлось!

[7 августа 1831].

Любовь и пѣсни—вотъ вся жизнь пѣвца.

[Измаилъ-Бей, I, IV. 1832].

Такихъ любовныхъ признаній очень много въ юношескихъ тетрадяхъ поэта. Во всѣхъ, и веселыхъ, и печальныхъ стихотвореніяхъ высказана одна и та же мысль, что единственнымъ спасеніемъ и утѣшеніемъ въ его страдальческой жизни была эта страсть, рано проснувшаяся въ немъ и дорогая ему, несмотря на разочарованія. Такая психологія ранней любви намъ извѣстна и понятна изъ многихъ посторонних примѣровъ, и Лермонтовъ былъ искрененъ, когда говорилъ объ ея силѣ и благотворномъ вліяніи. Дѣйствительно, его разсудокъ, разлагавшій почти всѣ его чувства, имѣлъ менѣе всего власти надъ этимъ чувствомъ: сколько разъ поэтъ считалъ себя обманутымъ въ любви, сколько разъ терялъ вѣру въ ея постоянство, но тѣмъ не менѣе, въ силу своей влюбчивой природы, онъ всегда находился подъ ея вліяніемъ.

Изъ біографическихъ свѣдѣній о поэтѣ, мы узнаемъ, что онъ увлекался почти всѣми женскими сердцами, съ которыми ему приходилось встрѣчаться, увлекался, конечно, поверхностно, что̀ и подало поводъ современникамъ заподозрить въ его ухаживаньи одно желаніе насмѣяться.

Но Лермонтовъ, какъ Донъ-Жуанъ, любилъ самую любовь больше женщинъ, съ тою разницею, что онъ любилъ зарождающееся чувство любви, неопредѣленное и пріятное,

не ослабленное привычкой и дающее полный просторъ его фантазіи.

Въ любви нашъ поэтъ былъ такой же фантазеръ, какъ и во всемъ другомъ *). Влюбляться ему, конечно, приходилось пока въ своихъ сверстницъ; онѣ подростали, становились барышнями, онъ оставался мальчикомъ и могъ играть при нихъ только роль повѣреннаго или шафера. Эта роль, конечно, сердила и огорчала поэта. Онъ сталъ считать естественное развитіе женскихъ чувствъ черной измѣной и обманомъ, увлекался по-прежнему, но не упускалъ случая, при каждомъ новомъ любовномъ порывѣ, нарисовать себѣ картину его печальныхъ послѣдствій. Вотъ почему въ его любовныхъ мотивахъ къ гимну любви всегда примѣшивается печальная мелодія отвергнутаго или обманутаго сердца. Насколько само чувство пробуждало въ немъ порывъ восторга, настолько его недремлющій умъ умѣрялъ этотъ восторгъ печальными картинами; тѣмъ не менѣе правдивость чувства оставалась и, несмотря на всю свою меланхолію, Лермонтовъ никогда не могъ сказать, что онъ въ любви разочаровался и сталъ ей недоступенъ. Напротивъ того, онъ былъ слишкомъ доступенъ ей и, зная свою слабость, защищался противъ нея притворнымъ хладнокровіемъ и презрѣніемъ. Женское общество, въ которомъ Лермонтовъ провелъ свою юность, оказало на него свое вліяніе.

Съ Лермонтовымъ случилось тоже, что нерѣдко бываетъ съ мечтательными людьми, не находящими въ жизни оправданія своихъ слишкомъ эксцентричныхъ видѣній: онъ перенесъ свои земныя чувства на невидимый и неземной образъ. Въ его стихахъ мы нерѣдко встрѣчаемъ указанія на какой-то предметъ его любви, которому онъ навсегда остался вѣренъ, чей образъ всегда хранилъ въ своей душѣ и чья измѣна причинила ему столько страданій. Этотъ образъ едва ли можно искать на землѣ, хотя нѣкоторые и хотѣли видѣть въ немъ живое лицо, одну изъ родственницъ поэта. Нѣтъ сомнѣнія, что это лицо существовало, но не-

*) Many a time and oft had Harold loved,
Or dream'd he loved, since rapture is a dream.
Byron.

сомнѣнно также, что оно скоро обратилось для Лермонтова въ символъ, который онъ потомъ воплотилъ въ своей Тамарѣ. Этотъ символъ былъ символомъ любви вообще, съ его благотворнымъ вліяніемъ на озлобленную и мрачную душу человѣка, символомъ очень неопредѣленнымъ, къ которому онъ обращался то съ радостью, то съ грустью, смотря по тому, находился ли онъ въ періодѣ увлеченія кѣмъ-нибудь или въ періодѣ разочарованія.

Съ этимъ женскимъ образомъ поэтъ сталъ рано приводить въ связь мечтанія о своемъ великомъ призваніи; предметъ его сердца долженъ былъ раздѣлить съ нимъ его участь, а такъ какъ эта участь, по его представленію, была ужасна, полна страданій и мученій, то, естественно, что любимую женщину ожидала та же печальная будущность. Лермонтовъ сталъ рано задумываться надъ этой, имъ же созданной, дилеммой и рѣшилъ, что самое лучшее разстаться съ своимъ счастьемъ и совершить одному свой трудный подвигъ. Онъ въ мечтахъ нарисовалъ себѣ цѣлую картину двухъ разъединенныхъ сердецъ, одного страдающаго и любящаго, другого—любимаго. Ему грезилось, какъ извѣстіе объ его смерти, „позорной“ и „ужасной“, должно подѣйствовать на любимаго имъ человѣка: онъ нерѣдко въ стихахъ молилъ свою возлюбленную, чтобы она не присоединяла своего голоса къ общему голосу осужденія, который раздастся послѣ его кончины.

Нѣтъ нужды перечислять всѣхъ печальныхъ грезъ, какими поэтъ дразнилъ свою фантазію. Во всѣхъ, приблизительно, развита одна мысль — о великомъ призваніи сильнаго человѣка, о печаляхъ и страданіяхъ, связанныхъ съ высокимъ подвигомъ, о женской любви, которая одна поддерживаетъ и спасаетъ человѣка; наконецъ, о томъ несчастіи, которое приноситъ такая любовь и мужчинѣ, и женщинѣ. Однимъ словомъ, передъ нами вся драматическая завязка „Демона“ и дальнѣйшихъ варіацій этого типа.

VIII.

Всѣ юношескія стихотворенія Лермонтова — только намѣченныя чувства и мысли и недосказанные отрывки; въ нихъ нѣтъ той законченности, которая явится потомъ, когда поэтъ отъ лирики перейдетъ къ поэмѣ и будетъ стремиться объективно изобразить свои собственныя чувства. Но въ этихъ юношескихъ стихахъ мы видимъ уже зародыши всей дальнѣйшей литературной дѣятельности Лермонтова,—его героическій паѳосъ, меланхолическую любовь, пессимистическія сомнѣнія во всемъ, чувство нравственнаго и умственнаго одиночества и преждевременной старости.

IV

ЧТЕНІЕ ЛЕРМОНТОВА

I.

Мы говорили выше о томъ, какъ трудно помирить поэзію Лермонтова въ его ранніе годы съ наличными фактами его жизни; даже близкіе ему люди говорили, что всѣ чувства, выраженныя въ его юношескихъ стихахъ, были чувствами напускными и заимствованными. У кого они могли быть заимствованы? На этотъ вопросъ отвѣчаютъ обыкновенно указаніями на литературное чтеніе Лермонтова въ юности.

Лермонтовъ, дѣйствительно, читалъ очень много и въ кругъ его чтенія входили самые разнообразные по своимъ міровоззрѣніямъ авторы. Мы постараемся прослѣдить, что онъ могъ у нихъ заимствовать.

Заимствованія бываютъ двухъ родовъ, внѣшнія и внутреннія: заимствованіе формы, положеній, образовъ и заимствованіе настроенія. Мы, конечно, будемъ говорить о послѣднемъ, такъ какъ внѣшнія заимствованія неизбѣжны для каждаго начинающаго поэта и ничего не объясняютъ и не опровергаютъ.

Мы не имѣемъ точныхъ свѣдѣній о книгахъ, какія Лермонтовъ читалъ въ дѣтствѣ и юности; изъ собственныхъ его стиховъ мы можемъ только вывести одно заключеніе, что Байронъ былъ единственнымъ писателемъ, оставившимъ прочные слѣды на творчествѣ нашего поэта.

Первый вопросъ, съ которымъ мы сталкиваемся, говоря о байронизмѣ Лермонтова, это вопросъ о *предрасположеніи* Лермонтова къ воспринятію байроническаго настроенія. При-

нято говорить, что Лермонтовъ находился подъ прямымъ вліяніемъ англійскаго поэта, что онъ вычиталъ изъ него свои произведенія въ юности, что и въ дальнѣйшей своей дѣятельности онъ развивалъ тему, данную ему чужимъ художникомъ. Намъ кажется, что вліяніе Байрона на Лермонтова было также преувеличено, какъ преувеличено его вліяніе на Пушкина. Если не подлежитъ сомнѣнію тотъ фактъ, что, сравнительно съ Пушкинымъ, Лермонтовъ чаще и упорнѣе писалъ въ байроническомъ духѣ, то это объясняется разностью ихъ поэтическихъ темпераментовъ. Пушкинъ былъ болѣе объективенъ въ своемъ творчествѣ, тогда какъ Лермонтовъ, сравнительно съ нимъ, являлся болѣе субъективнымъ, хотя и не въ той степени, какъ самъ Байронъ. Пушкинъ случайно въ одинъ періодъ своей жизни столкнулся съ Байрономъ въ симпатіяхъ и антипатіяхъ; Лермонтовъ же родился съ задатками этого настроенія. Дѣйствительно, въ самомъ темпераментѣ Лермонтова было очень много сходнаго съ Байрономъ. Ихъ роднило и ненасытимое самолюбіе, и жажда свободы, и мечты о великомъ призваніи. Тотъ и другой, еще будучи юношами, работали надъ одной задачей—надъ выработкой широкаго міросозерцанія, которое осмыслило бы имъ ихъ собственное существованіе; Байронъ жилъ въ условіяхъ очень выгодныхъ и потому скоро доработался до извѣстныхъ политическихъ и религіозныхъ убѣжденій. Лермонтовъ умеръ очень молодымъ и не могъ понять и усвоить вполнѣ байронической философіи жизни, а потому развилъ и дополнилъ только одну ея сторону—сторону отрицанія. Эта сторона была Лермонтову болѣе понятна, такъ какъ онъ могъ придти къ этимъ пессимистическимъ и отрицательнымъ взглядамъ и помимо Байрона, сопоставляя лишь данныя реальной жизни съ тѣми фантастическими требованіями, какія онъ ей ставилъ. Если одинъ человѣкъ сходится съ другимъ въ своихъ мнѣніяхъ и чувствахъ, то его мысли, подкрѣпленныя и развитыя этимъ взаимнымъ соглашеніемъ, остаются все-таки его собственностью. Такъ точно и поэтическое настроеніе Лермонтова было только дополнено и развито подъ вліяніемъ Байрона.

Дѣйствительно, двѣ основныхъ пружины лермонтовскаго творчества—его экзальтированная фантазія, стремящаяся къ

чему-то великому, и ранняя любовная впечатлительность родились въ немъ независимо отъ всякаго литературнаго вліянія, были, такъ сказать, дарами природы, и только потомъ нашли себѣ подтвержденіе въ титаническихъ порывахъ и любовной меланхоліи Байрона.

Прежде всего должно отмѣтить тотъ фактъ, что изъ всѣхъ міровоззрѣній, съ какими Лермонтову пришлось познакомиться въ дѣтствѣ, міровоззрѣніе Байрона оказало на него самое сильное вліяніе. Этотъ одинъ фактъ показываетъ намъ, что душа Лермонтова была заранѣе приготовлена къ воспринятію такого, а не иного настроенія. Еслибы Байронъ былъ единственной книгой, съ которой нашъ поэтъ бесѣдовалъ въ молодости, то такое преобладаніе байроническаго настроенія было бы понятно. Но одновременно съ Байрономъ Лермонтовъ читалъ Пушкина, Гёте, Шиллера, кажется, Гейне, если не считать поэтовъ съ менѣе рельефной физіономіей, напримѣръ: Барбье, Купера, Скотта и всей фаланги русскихъ писателей пушкинскаго періода. Онъ былъ знакомъ и съ Шекспиромъ, о которомъ онъ говоритъ очень восторженно въ одномъ изъ своихъ писемъ. Въ юношескихъ стихахъ нашего поэта попадаются даже отзвуки Жуковскаго, поэзіи классической и народной, и всѣ эти типы и настроенія уступаютъ мѣсто одной единственной поэзіи Байрона, звуки которой какъ будто слышатся во всѣхъ, даже самыхъ послѣднихъ, произведеніяхъ Лермонтова.

II.

Отъ поэзіи Пушкина и Гёте въ стихахъ Лермонтова остались очень слабые слѣды. Самыя лучшія и самыя зрѣлыя произведенія этихъ поэтовъ для Лермонтова прошли какъ будто безслѣдно. Пушкину онъ подражалъ лишь въ тѣхъ произведеніяхъ, гдѣ самъ Пушкинъ подражалъ Байрону, какъ, напримѣръ, въ „Кавказскомъ плѣнникѣ“ и въ „Цыганахъ“.

Что же касается Гёте, то ему Лермонтовъ совсѣмъ не подражалъ и изъ его стиховъ перевелъ только „Горныя вершины“.

Въ томъ и въ другомъ поэтѣ было для Лермонтова нѣчто непонятное, отталкивающее. Говоря о своемъ литературномъ чтеніи, онъ заявилъ, что „въ русской литературѣ ему было нечѣмъ позаимствоваться“, и даже не сдѣлалъ оговорки относительно Пушкина. Въ сущности, ни Пушкинъ, ни Гёте не отвѣчали на душевные запросы романтически настроеннаго юноши.

Гёте, какъ извѣстно, можетъ служить образцомъ поэтическаго самообладанія. Энтузіазмъ, къ которому Гёте былъ безспорно способенъ, остается въ немъ все-таки энтузіазмомъ разсудительнымъ, и воля, и чувство въ поэтѣ подчиняются разуму. Для романтической молодежи такой смягченный и осмысленный энтузіазмъ всегда отдаетъ холодностью и не трогаетъ. Одинъ изъ самыхъ умѣренныхъ французскихъ романтиковъ, человѣкъ съ громаднымъ критическимъ чутьемъ, С.-Бёвъ, и тотъ утверждалъ, что Гёте былъ совершенно неспособенъ рисовать героевъ, что героическое настроеніе было ему также чуждо, какъ и настроеніе смиренно-религіозное,—и, съ своей точки зрѣнія, французскій критикъ былъ правъ. Герой въ романтическомъ стилѣ, какъ его понимали французы, герой нервнаго и дѣятельнаго вѣка, человѣкъ, въ которомъ энергія и инстинктъ подавляютъ разумъ и всякое самообладаніе, былъ также чуждъ зрѣлому Гёте, какъ чужды были гётевскіе типы тогдашнему молодому поколѣнію и людямъ отъ природы экзальтированнымъ и романтически настроеннымъ, какимъ былъ Лермонтовъ. За исключеніемъ Вертера, окончательный выводъ главныхъ произведеній Гёте: Фауста, Вильгельма Мейстера, Тассо — есть все-таки примиреніе съ жизнью на почвѣ скромнаго труда, полная покорность судьбѣ и отказъ отъ неисполнимыхъ мечтаній и стремленій, свобода духа, а не свобода дѣйствія. Такая философія была, конечно, далека отъ нашего молодого фантазера-романтика, только-что начинавшаго жить и строившаго въ своемъ воображеніи самые несбыточные и возвышенные планы.

Лермонтовъ такъ и не успѣлъ примириться съ жизнью и убавить свои требованія, но замѣтимъ, что „Герой его

времени“ наканунѣ рѣшительной дуэли читаетъ уже не Байрона, а Вальтеръ-Скотта.

III.

И такъ, мы не должны удивляться, что для Лермонтова прошла почти совсѣмъ безслѣдно поэзія Гёте и Пушкина. Шиллеръ стоялъ къ Лермонтову ближе. Его идеалистическая поэзія, неземная по своимъ образамъ и вполнѣ человѣчная по своимъ чувствамъ, должна была гармонировать съ душевнымъ настроеніемъ Лермонтова, тѣмъ болѣе, что элементъ героическій былъ одной изъ основныхъ чертъ поэзіи Шиллера.

Въ ранней юности Лермонтовъ, дѣйствительно, читалъ прилежно Шиллера, какъ это видно изъ его раннихъ стихотвореній. Это чтеніе повліяло на его мечтательность, настроивъ ее на тотъ элегически-идиллическій ладъ, слѣды котораго еще попадаются въ юношескихъ произведеніяхъ нашего поэта. Идилліи въ стилѣ Руссо, которыми одинаково увлекались и Шиллеръ, и Байронъ, проглядываютъ и у Лермонтова. Герои этихъ идиллій, чувствительные идеалисты, встрѣчаются и въ юношескихъ драмахъ нашего поэта. Но очень рано это спокойное настроеніе, какъ мы знаемъ, стало уступать въ Лермонтовѣ настроенію болѣе тревожному. Онъ въ Шиллерѣ любилъ другую черту—возвышенно страстную, героическую по преимуществу.

Въ юношескихъ драмахъ Лермонтова мы слышимъ иногда отзвуки Карла Мора и Позы, неясные отзвуки, перемѣшанные съ цѣлыми тирадами въ стилѣ Байрона. Англійскій поэтъ сталъ вытѣснять нѣмецкаго, и послѣ 1830—31 годовъ мы уже не видимъ въ произведеніяхъ Лермонтова никакихъ слѣдовъ Шиллера, того возмужавшаго Шиллера, съ которымъ мы знакомы по балладамъ, философскимъ элегіямъ и драмамъ послѣдняго періода его жизни. Изъ балладъ Лермонтовъ, правда, перевелъ „Кубокъ“ и „Перчатку“, но переводъ вышелъ слабъ, поэтъ не умѣлъ уловить настроеніе оригинала.

Отъ зрѣлыхъ произведеній Шиллера нашего поэта оттолкнула классическая гармонія идей, а равно и формы.

Философомъ въ настоящемъ смыслѣ этого слова Лермонтовъ никогда не былъ, и потому всѣ философскіе стихи Шиллера не говорили его сердцу. Къ классическому спокойствію Лермонтовъ также имѣлъ мало склонности, и баллады, и драмы Шиллера становились въ разрѣзъ со вкусами еще не успокоившагося романтика. Наконецъ, примиреніе съ жизнью на почвѣ эстетическаго самовоспитанія, которое такъ высоко понималъ и проповѣдовалъ Шиллеръ, было немыслимо для Лермонтова просто въ силу его юности. Такимъ образомъ, въ своихъ симпатіяхъ къ Шиллеру нашъ поэтъ остановился на первой ступени, на безсознательномъ увлеченіи его идиллическими мечтами о счастливомъ человѣчествѣ и на увлеченіи бурными порывами тѣхъ громителей и разрушителей, униженныхъ и неудовлетворенныхъ идеалистовъ, представителемъ которыхъ былъ герой „Разбойниковъ“.

Герой Шиллера былъ, однако, скоро замѣненъ героями Байрона, такъ какъ все, чѣмъ дорожилъ Лермонтовъ въ нѣмецкомъ героѣ, а именно, обаятельная сила личности, гордость, независимость, презрѣніе къ обыденнымъ правиламъ жизни, героизмъ въ дѣйствіяхъ и любовныя похожденія—нашлось въ англійскихъ образцахъ и, вдобавокъ, безъ примѣси сентиментальности, отъ которой Лермонтовъ скоро отдѣлался.

Лермонтовъ особенно въ любви не терпѣлъ вздоховъ и, какъ Печоринъ, бывалъ иногда рѣзокъ и нахаленъ, чтобы не показаться мягкимъ.

IV.

Былъ ли Лермонтовъ подробно знакомъ съ поэзіей Гейне,—сказать трудно. Въ его стихахъ, преимущественно любовныхъ, есть нѣкоторое сходство съ мотивами Гейне, но это сходство могло быть случайнымъ. Можно съ увѣренностью сказать, что основная черта поэзіи Гейне не могла быть симпатична Лермонтову. Смѣхъ надъ всѣми чувствами безъ исключенія, отсутствіе какихъ бы то ни было идеаловъ, смѣхъ надъ самимъ собою и пародія собственнаго творчества, какъ высшая ступень свободы, какую только можетъ дозволить себѣ самовластная личность, не признающая

надъ собой никакой власти, ни нравственной, ни политической, ни религіозной,—все это было чуждо Лермонтову. Ему это было чуждо какъ человѣку, смѣющемуся сдержанно, горько и какъ бы нéхотя, человѣку, безспорно, съ идеалами, хотя и туманными, поэту самоувѣренно гордому и признавшему надъ собой неотразимую власть какой-то судьбы, ведущей его къ великой цѣли. Съ Гейне Лермонтовъ могъ сойтись только въ двухъ чувствахъ: въ симпатіи къ невѣдомой, жестокосердной и неприступной любовницѣ и въ симпатіи къ Наполеону, котораго Гейне прямо называлъ богомъ. Въ обоихъ случаяхъ поэты поклонялись стихійнымъ силамъ; ихъ гордую и непреклонную душу любовь могла истерзать, а физическая сила уничтожить. Это совпаденіе въ симпатіяхъ не даетъ намъ, однако, никакого права говорить о вліяніи Гейне на Лермонтова.

Равнымъ образомъ, было бы странно говорить о вліяніи второстепенныхъ писателей, съ которыми Лермонтову пришлось ознакомиться. Онъ, какъ извѣстно, читалъ очень много, и это чтеніе не позволило ему, несмотря на его замкнутую жизнь, отстать отъ вкусовъ его времени. Конечно, и Вальтеръ-Скоттъ, и Куперъ оказали свое вліяніе на Лермонтова въ дѣтствѣ, горячили его фантазію и развивали въ немъ вкусъ къ рыцарскимъ подвигамъ, къ таинственнымъ похожденіямъ, къ романтическому созерцанію и людей, и природы, точно такъ, какъ позднѣе Барбье и Гюго могли развить въ немъ вкусъ къ общественной сатирѣ. Но готовность, съ какой Лермонтовъ воспринималъ всѣ эти вліянія, быстрота, съ какой онъ ассимилировалъ эти сюжеты, и сила, съ какой онъ развивалъ ихъ, показываютъ намъ только, что поэтъ самой природой былъ подготовленъ къ такимъ романтическимъ настроеніямъ.

V.

Съ Байрономъ Лермонтовъ самъ сознавалъ свое духовное родство, когда говорилъ, что „онъ Байронъ, но только съ русскою душой“. Онъ сказалъ эти стихи не ради хвастовства,

а скорѣе изъ чувства самозащиты, какъ будто предугадывая, что его назовутъ подражателемъ, какъ его дѣйствительно нерѣдко называютъ. Между тѣмъ, въ чемъ же состояло это подражаніе Байрону?

Самыхъ важныхъ сторонъ творчества Байрона Лермонтовъ не усвоилъ и не могъ усвоить, въ виду разницы условій, въ которыхъ жили оба поэта. Онъ перенялъ только внѣшній колоритъ байроническаго настроенія, какъ оно сказалось въ первыхъ произведеніяхъ Байрона до 1818 года. Это настроеніе было преобладающимъ литературнымъ настроеніемъ въ началѣ нашего вѣка, и можно было совсѣмъ не знать Байрона и въ то же самое время написать поэму въ его духѣ. Можно было начать съ чтенія Нодье и Шатобріана, и самостоятельно додуматься до типа Гяура, Корсара и Лары. Мы не рѣшаемся сказать, что именно таковъ былъ внутренній процессъ, путемъ котораго Лермонтовъ дошелъ до созданія всѣхъ своихъ типовъ, такъ какъ слѣды прямого вліянія Байрона въ стихахъ Лермонтова неопровержимы, но намъ кажется, что упорство въ обрисовкѣ постоянно одного и того же типа, который имѣетъ столько сходнаго съ типами Байрона, показываетъ намъ ясно, что этотъ, постоянно повторяющійся, образъ коренился глубоко въ душѣ поэта, былъ тѣсно и неразрывно связанъ съ его собственной природой, а никакъ не навѣянъ извнѣ. Дѣйствительно, Демонъ, Радинъ, Измаилъ-Бей, Вадимъ, Арбенинъ, Мцыри и Печоринъ кажутся намъ образами, выхваченными изъ поэмъ Байрона, точно также, какъ на первый взглядъ Печоринъ кажется подражаніемъ Онѣгину, а между тѣмъ всѣ эти типы ничто иное, какъ отраженіе психическаго міра самого автора, который, надо признаться, не могъ всю жизнь находиться подъ обаяніемъ хотя бы даже любимаго чтенія. Въ 1829 году Лермонтовъ подробно познакомился съ Байрономъ, и неужели до 1841 года, въ промежутокъ восемнадцати лѣтъ, все черпалъ изъ одного и того же источника? Противъ этого говоритъ уже одно то обстоятельство, что дарованіе Лермонтова было болѣе разностороннее, чѣмъ дарованіе Байрона. Онъ не былъ такъ субъективенъ, и еще въ 30-хъ годахъ, т.-е.

въ пору своей ранней дѣятельности, проявилъ въ своихъ драмахъ способность объективнаго наблюдателя и бытописателя, которую Байронъ обнаружилъ лишь подъ конецъ своей жизни.

Что же приковывало Лермонтова къ Байрону?

Съ одной стороны и прежде всего обаяніе самой личности, та полу-фантастическая, легендарная біографія, которая ходила по всей Европѣ и плѣняла всѣхъ женщинъ и всю молодежь. Самъ Байронъ былъ тѣмъ воплощеннымъ героемъ, о которомъ бредилъ Лермонтовъ, какъ Наполеонъ былъ тѣмъ воплощеннымъ разбойникомъ, которому поклонялась молодежь, начитавшаяся Шиллера.

Какъ всегда бываетъ въ первыя минуты увлеченія, внѣшность личности оттѣснила на второй планъ ея внутреннее содержаніе. Увлекаясь обстановкой байроновскихъ поэмъ и эпизодами изъ жизни самого Байрона, Лермонтовъ не вникъ въ серьезный смыслъ жизни ихъ героевъ. Его прельстила больше поза героя, чѣмъ его внутренній міръ. Отличительной чертой героевъ Байрона, той характерной чертой, которой они отличаются отъ своихъ старшихъ братьевъ, отъ мрачныхъ образовъ въ стилѣ Шатобріана, можно признать ихъ гуманность, любовь ко всему слабому и угнетенному, и ихъ ненависть къ сильному и угнетающему. Какъ парламентскія рѣчи самого лорда Байрона были направлены на улучшеніе общественныхъ условій, въ какихъ жила меньшая братія, такъ поступки героевъ Байрона направлены на защиту либо слабаго племени, либо слабой женщины, однимъ словомъ, на оборону личной и народной свободы. Этотъ гуманный принципъ вносилъ иногда дисгармонію въ эстетическое единство художественныхъ произведеній Байрона, какъ напримѣръ, въ Корсарѣ, но за то онъ придавалъ всѣмъ его героямъ симпатичную окраску.

Этого гуманнаго принципа мы не встрѣчаемъ въ сильныхъ лермонтовскихъ типахъ; самые видные изъ нихъ: Демонъ, Радинъ, герой „Маскарада“ и Печоринъ холодны и эгоистичны. Знакомясь съ ними, мы готовы предположить, что Лермонтовъ намѣренно отбросилъ всю свѣтлую сторону байроновскаго настроенія и подчеркнулъ сторону отрицатель-

ную. Но едва ли это такъ; Лермонтовъ не подчеркнулъ этого гуманнаго чувства и не воспользовался имъ лишь потому, что не подражалъ, а *самостоятельно* трудился надъ созданіемъ своихъ типовъ.

Экзальтированный мечтатель, съ большой склонностью къ рефлексіи, съ очень туманными идеалами и видами на будущее свое величіе, очень влюбчивый, а также скрытный и ищущій уединенія — Лермонтовъ жадно набросился на отрицательную сторону поэзіи Байрона и въ этой одной изъ ея сторонъ нашелъ подтвержденіе собственнымъ чувствамъ и мыслямъ. Фантастичность обстановки, меланхолія, отчужденность и гордое уединеніе, любовь, всегда кончающаяся печалью и всегда возвышенная, идеально-страстная, величіе героевъ, поражающее своимъ внѣшнимъ блескомъ,—все это плѣняло нашего поэта и находило отзвукъ въ его сердцѣ. Взявъ, такимъ образомъ, байроновскіе типы только съ одной ихъ стороны, поэтъ не задалъ себѣ вопроса: зачѣмъ и ради чего они ведутъ этотъ странный образъ жизни. Они понравились ему въ одинъ опредѣленный моментъ и въ одной опредѣленной позѣ. Эту позу Лермонтовъ перенялъ у Байрона и часто къ ней возвращался. Что же касается внутренняго развитія характера, то въ этой психологической мотивировкѣ нашъ поэтъ былъ вполнѣ самостоятеленъ. Онъ копировалъ самого себя, а не чужой образецъ. Вотъ почему онъ, лишенный собственнаго міросозерцанія, не перенялъ міровоззрѣнія Байрона, не сталъ повторять его политическихъ, нравственныхъ и религіозныхъ сентенцій. Лермонтовъ ждалъ пока сама жизнь приведетъ его къ этимъ выводамъ.

И такъ, когда мы говоримъ о вліяніи Байрона на Лермонтова, то мы должны имѣть въ виду, что это вліяніе, хотя и продолжительное, было вліяніемъ одностороннимъ; оно поддерживало въ Лермонтовѣ настроеніе только извѣстнаго порядка и не дало его уму готоваго рѣшенія занимавшихъ его вопросовъ жизни; съ одной стороны, оно даже препятствовало развитію его творчества.

Поэзія Лермонтова выигрывала и въ содержаніи, и въ формѣ, по мѣрѣ того, какъ поэтъ сталъ соприкасаться съ

жизнью и меньше читать свои книги. Положительная сторона въ произведеніяхъ его любимаго поэта стала ему выясняться изъ событій его собственной жизни. Но это сближеніе съ людьми и интересами дѣйствительности давалось, какъ мы увидимъ, не легко нашему поэту. Онъ привыкъ становиться, по отношенію къ свѣту и окружавшей его обстановкѣ, въ слишкомъ изолированное положеніе, въ знакомую намъ внѣшнюю байроновскую позу и онъ чувствовалъ, что становится въ это положеніе, не имѣя ни достаточнаго оправданія въ прошедшемъ, ни ясныхъ видовъ на будущее. Сознаніе, что эта поза до извѣстной степени фальшива, тяготило Лермонтова, и въ тяжелыя минуты такого сознанія онъ бросалъ на бумагу тѣ пессимистическія мечты, въ которыхъ не щадилъ ни своего прошлаго, ни настоящаго, ни будущаго, и предавалъ одинаковымъ проклятіямъ и воспоминанія, и надежды.

Но если, съ одной стороны, неполное вліяніе Байрона, не давая рѣшенія жизненной загадки, тормозило развитіе характера и творчества Лермонтова, то, съ другой стороны, оно приносило извѣстную пользу. Оно предохраняло человѣка и поэта отъ измельчанія.

Лермонтовъ былъ крайне страстной натурой; когда судьба бросила его въ круговоротъ жизни и онъ изъ деревни попалъ въ университетъ, а затѣмъ въ юнкерскую школу, онъ предался здѣсь неумѣренно разсѣянной жизни, и его поэзія отъ 1832—39 годовъ носитъ на себѣ ясные слѣды душевной пустоты и тѣлесной разнузданности. Мелочность жизни отзывается и на геніяхъ, и если Лермонтовъ вышелъ побѣдителемъ изъ этого испытанія, то только потому, что въ немъ никогда не умирало сознаніе своего преимущества надъ средой, вѣра въ силу своей личности и презрѣніе къ разнузданности, которой онъ самъ отдавался, повинуясь минутнымъ влеченіямъ. Всѣ эти благія свойства характера, которыми удивлялъ современниковъ и Байронъ въ эпопеѣ своей жизни, были даны Лермонтову его природой, но въ чтеніи Байрона онѣ находили себѣ поддержку.

Байронъ былъ самымъ виднымъ и самымъ убѣжденнымъ пѣвцомъ гордой и самостоятельной „личности“, борцомъ за личное начало въ жизни человѣчества, и каждый человѣкъ

съ оригинальнымъ складомъ ума и характера всегда могъ найти въ его поэзіи поддержку. Ее нашелъ и Лермонтовъ.

Мы перейдемъ теперь къ первому крупному литературному произведенію Лермонтова, къ его „Демону“, гдѣ разбросанныя въ юношескихъ стихотвореніяхъ чувства и мысли объединены въ одномъ образѣ, въ одномъ типѣ, который будетъ повторяться съ измѣненіями во всѣхъ послѣдующихъ произведеніяхъ автора.

V

ДЕМОНЪ

I.

Поэты нерѣдко бываютъ несправедливы къ своимъ первымъ произведеніямъ, какъ люди вообще къ своей первой любви. Извѣстно, какой строгій приговоръ произнесли Гёте надъ „Вертеромъ“ и Шиллеръ надъ „Разбойниками“. Эти юношескія произведенія казались имъ ошибками не только въ печати, но и въ самой сущности, тогда какъ на самомъ дѣлѣ онѣ были совершенно правильными отголосками искреннихъ и вполнѣ законныхъ чувствъ и мнѣній.

Не забудемъ, что первыя произведенія великихъ поэтовъ отличаются, обыкновенно, отъ произведеній поэтовъ второстепенныхъ большимъ количествомъ автобіографическихъ данныхъ, въ силу перевѣса чувства надъ какимъ бы то ни было привитымъ и усвоеннымъ вкусомъ. Ихъ невыдержанность, туманность, безпорядочность и вычурность—прямое отраженіе молодости, съ которой всегда враждуетъ зрѣлый возрастъ и старость. Кому же, въ самомъ дѣлѣ, пріятно читать свои старыя письма, гдѣ каждое чувство утратило и новизну, и силу, гдѣ каждая мысль или отвергнута, или развита дальше до неузнаваемости?

Въ „Сказкѣ для дѣтей“ 1841 года, въ этомъ отрывкѣ, гдѣ мы вновь сталкиваемся съ Демономъ, но уже не на Кавказѣ, а въ Петербургѣ, Лермонтовъ въ слѣдующихъ выраженіяхъ говоритъ о своей юношеской поэмѣ:

Мой юный умъ, бывало, возмущалъ
Могучій образъ. Межъ иныхъ видѣній,
Какъ царь, нѣмой и гордый онъ сіялъ
Такой волшебно-сладкой красотою,
Что было страшно... И душа тоскою
Сжималася—и этотъ дикій бредъ
Преслѣдовалъ мой разумъ много лѣтъ.
Но я, разставшись съ прочими мечтами,
И отъ него отдѣлался—стихами!

Приговоръ, какъ мы видимъ, далеко не жестокій и вполнѣ объяснимый тѣмъ фактомъ, что, вопреки словамъ поэта, стихи не помогли ему отдѣлаться отъ этого печальнаго образа. Онъ преслѣдовалъ его всю жизнь подъ разными именами, въ различныхъ обстановкахъ и костюмахъ. Лермонтову было пятнадцать лѣтъ, когда имъ задумана была поэма „Демонъ“, и онъ не переставалъ интересоваться ею до 26-лѣтняго возраста. Ни одно изъ его произведеній не подверглось такимъ тщательнымъ и долговременнымъ передѣлкамъ, несмотря на то, что поэтъ съ каждымъ годомъ все дальше и дальше отходилъ отъ „дикаго бреда“ и приближался къ трезвой дѣйствительности. Очевидно, что трезвая дѣйствительность имѣла свою долю въ созданіи этой поэмы.

II.

„Демонъ“ замыкаетъ собою весь циклъ юношескихъ произведеній Лермонтова; это—первая попытка связать въ одно цѣлое рядъ перечувствованныхъ ощущеній и передуманныхъ мыслей,—первая попытка создать „типъ“ изъ матеріала, взятаго не внѣ, а внутри себя. „Демонъ“, это — памятникъ, поставленный Лермонтовымъ своему дѣтству и своей юности, и, какъ большинство памятниковъ, онъ идеализированъ и символиченъ.

Наше время не любитъ символовъ, не только субъективно-узкихъ, но и объективно-широкихъ, почему, читая эту поэму теперь, мы хвалимъ и восхищаемся ея стихомъ, описаніями Кавказа и всей ея сценировкой, и проходимъ мимо ея главнаго героя съ какимъ-то предубѣжденіемъ или

даже насмѣшкой. Правду сказать, онъ давно прискучилъ намъ и въ литературѣ, и въ жизни. Этотъ Демонъ, появлявшійся на русскомъ горизонтѣ въ 30-хъ годахъ нашего столѣтія и плѣнившій сразу не только женскія, но и мужскія сердца, породилъ у насъ на Руси цѣлую массу мелкихъ и пустыхъ бѣсовъ, которые расхаживали въ мундирахъ, военныхъ и штатскихъ, а иногда даже въ гимназическихъ. Но для людей 30-хъ годовъ этотъ Демонъ былъ интереснымъ героемъ, а для самого автора—любимымъ, отвлеченнымъ образомъ всего пережитаго и перечувствованнаго. Дѣйствительно, работая надъ своей поэмой въ продолженіе многихъ лѣтъ, поэтъ тщательно отдѣлывалъ детали и почти ничего не измѣнилъ въ характеристикѣ главнаго героя; онъ застылъ въ томъ самомъ видѣ, въ какомъ былъ задуманъ 15-ти-лѣтнимъ мальчикомъ.

Поэма носитъ автобіографическіе слѣды, и въ этомъ не можетъ быть сомнѣнія. Стоитъ только сравнить юношескія стихотворенія Лермонтова съ „Демономъ“, чтобы увидать, что нѣтъ ни одного „демоническаго“ чувства, которое не нашло бы себѣ соотвѣтствующаго „человѣческаго“ въ юношескихъ тетрадяхъ поэта. Мы говорили выше о томъ, что Лермонтовъ еще въ дѣтствѣ пытался выкраивать изъ своихъ лирическихъ стихотвореній поэмы и драмы. Тѣ же чувства, перенесенныя въ поэму, конечно, нѣсколько обострились и приняли болѣе грандіозный характеръ, соотвѣтствующій созданному символу, но житейская правда за ними осталась.

Кромѣ этихъ косвенныхъ доказательствъ, мы имѣемъ и прямыя. Поэтъ нерѣдко отождествляетъ себя со своимъ героемъ. Въ первый очеркъ 1829 года должна была войти, по его собственной замѣткѣ, „его личная исторія“. Въ концѣ второго очерка 1830 г. онъ говоритъ прямо—

Какъ демонъ мой, я зла избранникъ,
Какъ демонъ, съ гордою душой,
Я межь людей безпечный странникъ
Для міра и небесъ чужой.

Наконецъ, въ одномъ изъ мелкихъ стихотвореній поэтъ обращается къ какой-то женщинѣ и, отождествляя себя съ

падшимъ и отверженнымъ демономъ, просить ее принять на себя роль утѣшительницы, при условіяхъ, очень схожихъ съ положеніемъ Тамары.

Мы могли бы увеличить количество этихъ прямыхъ доказательствъ, но они сами собой станутъ ясны изъ характеристики самого Демона. Этотъ духъ скорѣе принадлежитъ землѣ, чѣмъ небесамъ, и мы, безъ натяжекъ, узнаемъ въ немъ молодого поэта.

III.

Демонъ, прежде всего, не сатана, а одинъ изъ его подначальныхъ. Въ бѣсовской іерархіи онъ занимаетъ, такимъ образомъ, вовсе не высшую ступень, что̀ и позволяетъ ему ощущать чисто земныя чувства, какъ напр. любовь и раскаяніе. У него нѣтъ даже иронiи и смѣха, этого безпощаднаго оружія, которымъ надѣленъ каждый бѣсъ, сознающій свою силу. Правда, сила есть и у лермонтовскаго Демона, но она—сила физическая. Способность превращенія, произвольнаго перемѣщенія и разрушенія находится въ его власти, но у него нѣтъ способности перерожденія. Онъ—человѣкъ, поступившій въ услуженіе духу тьмы, но не забывшій старыхъ привычекъ. Земля его привлекаетъ, женщина трогаетъ его сердце и потеря этой женщины сердитъ, несмотря на „язвительную улыбку“, какой онъ укоряетъ побѣдоноснаго ангела. Эта улыбка—послѣдняя заручка сильнаго человѣка, проигравшаго партію.

Мы застаемъ героя поэмы въ минуту, для него̀ очень печальную,—въ минуту наплыва печальныхъ воспоминаній о томъ, какъ онъ жилъ безъ злобы, безъ сомнѣнія, неопытный, но любящій и любимый. Такъ мы живемъ въ нашемъ дѣтствѣ.

Теперь онъ возмужалъ и сталъ силенъ. Какъ жилъ онъ въ недавнемъ прошломъ, что̀ дѣлалъ до той минуты, когда мы съ нимъ встрѣчаемся,—мы не знаемъ. Мы знаемъ только, что онъ жилъ скучно, одиноко, сѣялъ зло безъ наслажденья, и что, наконецъ, это зло ему наскучило. Оно могло, вѣроятно, наскучить ему потому, что не было принципомъ его

жизни, а игрушкой, которой онъ въ первое время забавлялся, какъ могъ забавляться и нашъ поэтъ разными мелкими шалостями, которыя онъ продѣлывалъ въ дѣтствѣ.

Демонъ могъ припомнить еще одно обстоятельство, о которомъ онъ забылъ въ 1838 году, но которое отчетливо помнилъ въ 1829-мъ, когда поэтъ впервые набросалъ его очеркъ. Онъ тогда обольстилъ и погубилъ одну смертную, любимую ангеломъ. Любилъ онъ эту смертную, очевидно, больше изъ ревности къ своему противнику, и потому скоро бросилъ. Теперь, скучающій отъ бездѣлья, разочарованный въ любви и пресыщенный сознаніемъ своей силы, онъ предался безплодному странствованію, сначала среди людей, а затѣмъ среди нѣмой природы.

Люди ему скоро надоѣли своей пустотой и своимъ развратомъ; онъ сталъ ихъ презирать за мелочность и ненавидѣть за развратъ, забывая, что ненависть къ людямъ для демона—слишкомъ человѣческое чувство. Природа ему нравилась больше. Онъ „вникъ въ нее глубокимъ взглядомъ и объялъ душою ея жизнь“, но не надолго. Она перестала вызывать въ немъ новыя чувства и новыя силы, и скоро его презрѣніе и ненависть распространились и на нее. Онъ утратилъ, такимъ образомъ, послѣдній интересъ къ чему бы то ни было. Онъ былъ спокоенъ, такъ какъ не имѣлъ желаній, ничего не боялся и ничѣмъ не восхищался. Но, какъ нерѣдко бываетъ при такихъ случаяхъ, это спокойствіе, послѣ цѣлаго ряда бурь, было затишьемъ передъ новой бурей.

Какое чувство могло вызвать эту новую бурю въ сердцѣ настоящаго демона, мы рѣшать не беремся; но въ сердцѣ человѣка, при одинаковыхъ условіяхъ, и умственное, и нравственное волненіе всего легче вызываются любовью или, вѣрнѣе, любовнымъ самозабвеніемъ. Такъ случилось и съ лермонтовскимъ Демономъ, несмотря на горькій опытъ прошедшаго. Извѣстно, что разочарованіе въ любви—очень плохой карантинъ противъ любовной заразы, даже если онъ усиленъ нечувствительностью сердца вообще и умственнымъ превосходствомъ. Появленіе Тамары сразу перерождаетъ нашего героя. Чѣмъ легендарнѣе становится съ того момента повѣсть, тѣмъ правдоподобнѣе и человѣчнѣе становятся чув-

ства Демона. При видѣ Тамары, онъ сразу „постигаетъ святыню любви, добра и красоты“. Какая-то новая грусть зарождается въ его сердцѣ, грусть, вызванная частью воспоминаніями, частью сомнѣніемъ въ возможности возрожденія. Но это сомнѣніе такъ ничтожно передъ силой пробудившейся любви, что оно исчезаетъ вмѣстѣ съ холоднымъ презрѣніемъ, пресыщенной скукой и озлобленной ненавистью. Другими словами, онъ находитъ, наконецъ, цѣль жизни, которой онъ можетъ посвятить свой богатый запасъ силъ, нравственныхъ и физическихъ. Онъ прежде всего пользуется физической силой для устраненія соперника, затѣмъ своей нравственной силой для утѣшенія овдовѣвшей невѣсты. Знаменитый монологъ: „не плачь, дитя“ показываетъ намъ, какъ можетъ быть любезенъ и завлекателенъ этотъ мнимый демонъ. Мы ошибемся, если сочтемъ его рѣчь за предательское обольщеніе. Онъ мыслитъ, что для него пришла „желанная пора новой жизни“, и онъ, какъ влюбленный ребенокъ, живетъ самъ въ этомъ фантастическомъ мірѣ чудесъ, которымъ старается заманить невинную душу. Произнося этотъ монологъ, онъ, „ада духъ ужасный“, становится похожимъ на ясный вечеръ; не забудемъ къ тому же, что онъ поэтъ, т.-е. обладаетъ силой прикрыть поэтическими сравненіями самыя обыкновенныя рѣчи.

„Не плачь, дитя“ есть, дѣйствительно, самый обыкновенный любовный лепетъ, который мы можемъ подслушать въ любое время у любого влюбленнаго, только, конечно, не въ такой формѣ. Но вѣдь сила поэта заключается именно въ томъ, чтобы она, по выраженію Мюссе, изъ простой слезы дѣлала жемчужину.

Мы могли бы подумать, что этотъ поэтическій бредъ былъ *разсчитанъ* на чувствительную и дѣтскую натуру Тамары, и что Демонъ легко могъ бы говорить съ несчастной невѣстой, у которой онъ отнялъ жениха, приблизительно тѣмъ же языкомъ, какимъ Ричардъ III говоритъ съ Анной у гроба ея мужа. Намъ кажется, однако, что на такую рѣчь онъ былъ неспособенъ. Его любовь, хотя и недолговѣчна, но настолько сильна и искренна въ данную минуту, что онъ неспособенъ ни на какую хитрость, ни на одинъ

софизмъ, ни на какія убѣжденія; онъ ограничивается общими мѣстами о загробной жизни и сразу переходитъ къ картинѣ блаженства, которое ожидаетъ его возлюбленную „на воздушномъ океанѣ“.

Онъ настолько человѣченъ и чистъ въ своихъ чувствахъ, что въ самую рѣшительную минуту, передъ тѣмъ какъ войти въ келью Тамары, онъ начинаетъ колебаться, какъ всякій честный человѣкъ въ подобныхъ обстоятельствахъ. Онъ знаетъ, что она будетъ жертвой, но знаетъ также, что „между ними лежитъ цѣпь“, и вопросъ, что онъ можетъ ей дать взамѣнъ ея преданности, начинаетъ безпокоить его:

... Долго онъ не смѣлъ
Святыню мирнаго пріюта
Нарушить—и была минута,
Когда, казалось, онъ готовъ
Оставить умыселъ коварный.

Эта единственная минута сознанія промелькнула, какъ молнія, и пѣснь Тамары погружаетъ его снова въ томительно-сладкое настроеніе и —

Онъ хочетъ въ страхѣ удалиться,
Его крыло не шевелится.

Онъ входитъ въ келью и встрѣчается съ ангеломъ.

Мы снова въ мірѣ аллегорій. Этотъ ангелъ, въ которомъ мы должны признать добраго генія Тамары или, другими словами, ея невидимую душу, вполнѣ сознаетъ, съ какимъ врагомъ онъ встрѣтился. Женское сердце иногда инстинктивно разгадываетъ тайну мужского, что̀, конечно, должно раздражать каждаго сильнаго человѣка. Разгнѣвался и Демонъ, почувствовавъ сопротивленіе тамъ, гдѣ ожидалъ одну покорность. Разгнѣвался онъ, какъ подобаетъ демону; но въ его положеніи и у простого человѣка могло шевельнуться нѣчто демоническое въ сердцѣ:

Злой духъ коварно усмѣхнулся,
Зардѣлся ревностію взглядъ
И вновь въ душѣ его проснулся
Старинной ненависти ядъ.

Однако, сопротивленіе, оказанное ему, было очень слабо; намъ даже кажется странной та поспѣшность, съ какой ангелъ поторопился, взмахнувъ крылами, утонуть въ эѳирѣ неба. Тамара сдалась слишкомъ скоро и весь послѣдующій ея разговоръ съ Демономъ уже не борьба, а рядъ нарочно высказанныхъ опасеній, съ цѣлью въ нихъ разубѣдиться,— діалогъ очень схожій съ пытливыми разспросами Маргариты о религіозныхъ взглядахъ Фауста. Вообще, весь разговоръ Тамары и Демона—перлъ блестящей художественной риторики въ стилѣ Виктора Гюго. Психологическая задача, сама по себѣ очень несложная и обыденная, получаетъ совершенно оригинальную окраску отъ этого нагроможденія поэтическихъ сравненій, этого поднятаго тона, гдѣ переливы величавой, подчасъ возвышенной мысли, чередуются съ мелодичными напѣвами нѣжной любви и вновь заглушаются дикими словами перекипѣвшей страсти.

Въ самомъ ходѣ этого любовнаго діалога особыхъ оригинальныхъ пріемовъ не видно. Сначала очень гордыя рѣчи о своей силѣ и могуществѣ, затѣмъ исповѣдь побѣжденнаго, жалоба на одиночество и на свои печали и, наконецъ, легкое смущеніе при напоминаніи о Богѣ, смущеніе, которое ощутилъ не только Демонъ, но и самъ авторъ поэмы. На брошенный Тамарою вопросъ о Богѣ ни у того, ни у другого не нашлось должнаго отвѣта; да и вопросъ, кажется, былъ предложенъ безъ всякой задней мысли, отъ чистаго сердца; по крайней мѣрѣ, сама героиня удовлетворилась первымъ попавшимся отвѣтомъ и потребовала отъ Демона только клятвы въ искренности. Остановки за этой клятвой, конечно, не было; она превзошла даже всѣ ожиданія Тамары, судя по послѣдствіямъ, какія она имѣла. Демонъ одержалъ побѣду и, вмѣстѣ съ этой побѣдой, утратилъ вновь и спокойствіе, и цѣль жизни. Житейская драма кончилась и эпилогъ былъ разыгранъ уже на небѣ.

Фантастичность этого эпилога и его содержаніе были Лермонтову продиктованы традиціонной легендой. Рай долженъ былъ открыться для чистой любви и начало добра должно было восторжествовать надъ началомъ зла. Теперь понятно,

почему въ послѣдней сценѣ никто не могъ узнать привлекательнаго и даже любезнаго героя поэмы:

Какимъ смотрѣлъ онъ злобнымъ взглядомъ,
Какъ полонъ былъ смертельнымъ ядомъ
Вражды, не знающей конца;
И вѣяло могильнымъ хладомъ
Отъ неподвижнаго лица.

Какъ символъ, противопоставленный ангелу, онъ не могъ имѣть иного вида. Земная оболочка съ него упала и остался одинъ безплотный духъ отрицанія.

Этотъ аллегорическій эпилогъ былъ значительно смягченъ въ первыхъ редакціяхъ поэмы, т.-е. въ то время, когда психическій міръ автора соотвѣтствовалъ больше настроенію героя поэмы. Во второмъ очеркѣ Демонъ совсѣмъ не обмѣнивается словами съ ангеломъ, а пролетаетъ мимо:

Надъ синей глубиной
Духъ гордости и отверженья
Безъ цѣли мчался съ быстротой;
Но ни раскаянья, ни мщенья
Не изъявлялъ угрюмый ликъ;
Онъ побѣждать себя привыкъ;
Не для другихъ его мученья!

Стало быть, они были, эти мученья, и преслѣдовали Демона и послѣ смерти Тамары!

Во второмъ очеркѣ Демонъ былъ ближе къ землѣ и психологія его была болѣе правдоподобна, и, дѣйствительно, вся дальнѣйшая литературная дѣятельность поэта подтверждаетъ тотъ фактъ, что „демонъ“ не могъ побороть и заглушить своихъ мученій ни презрѣніемъ, ни сознаніемъ своей силы. Арбенинъ и Печоринъ служатъ тому доказательствомъ. Въ нихъ мы узнáемъ прежняго героя поэмы и увидимъ, измѣнился ли онъ къ худшему или лучшему.

Такимъ образомъ, „Демонъ“, при всей его фантастической обстановкѣ, тѣсно связанъ съ извѣстнымъ прожитымъ и прочувствованнымъ періодомъ въ жизни самого автора. Это символъ не заимствованный изъ книгъ и развитый разсудочно, а взятый изъ собственной жизни поэта и заклю-

ченный въ рамки фантастической легенды, — вотъ почему въ его разработкѣ встрѣчаются невольныя противорѣчія.

IV.

Помимо значенія автобіографическаго, „Демонъ“ имѣетъ и литературное значеніе. Какъ литературный памятникъ, онъ подлежитъ иному, болѣе строгому суду, и приговоръ, вынесенный потомствомъ, былъ дѣйствительно не изъ мягкихъ. „Демонъ“ былъ зачисленъ въ разрядъ дѣтскихъ книгъ, сталъ любимымъ героемъ юношескихъ и, преимущественно, дѣвическихъ мечтаній. Люди, вступая въ жизнь, забывали его и даже сердились на себя за прежнее поклоненіе этому кумиру. Вѣроятно, самъ авторъ, несмотря на свою горячую любовь къ этой поэмѣ, предугадалъ ея судьбу и потому не соглашался на ея напечатаніе. Она ходила по рукамъ въ спискахъ, что̀, на первое время, не мало способствовало ея популярности. Лермонтовъ понималъ, что его поэма была слишкомъ субъективна, что она схватывала одно изъ его личныхъ психическихъ положеній, дорогое для него, но, быть можетъ, мало интересное для посторонняго человѣка, въ особенности для человѣка возмужавшаго. Это опасеніе покажется намъ совершенно естественнымъ, если мы примемъ во вниманіе, что годъ окончательной отдѣлки этой поэмы совпадалъ съ созданіемъ типа Арбенина и мыслями о Печоринѣ. Въ сравненіи съ этими двумя личностями, Демонъ долженъ былъ показаться ребенкомъ, какимъ на дѣлѣ былъ 15-лѣтній поэтъ, въ сравненіи съ 25-лѣтнимъ.

Въ отношеніи къ своимъ современникамъ, Лермонтовъ ошибся, однако, въ своихъ опасеніяхъ. Поэма его была принята съ восторгомъ и молодыми, и взрослыми. Восторгъ этотъ былъ очень знаменательнымъ явленіемъ: онъ показалъ, что психическая жизнь автора не отстала, хотя и не упредила своего вѣка. Одна единичная личность, сама того не замѣчая, объединила въ себѣ господствующія черты молодого поколѣнія и нашла откликъ даже въ сердцахъ взрос-

лыхъ. Одного этого факта достаточно, чтобы зачислить „Демона“ въ разрядъ литературныхъ памятниковъ первостепенной важности, несмотря на его эстетическія погрѣшности. Эти погрѣшности были также данью, какую поэтъ заплатилъ безсознательно своему времени. Время, какъ и человѣкъ, можетъ быть непослѣдовательно въ своихъ чувствахъ. Туманъ неопредѣленныхъ желаній, сильныхъ, но неосмысленныхъ порывовъ виситъ иногда надъ цѣлымъ поколѣніемъ и покрываетъ одинаково и генія, и простого смертнаго.

Не можетъ быть никакого сомнѣнія въ томъ, что и внѣшняя отдѣлка способствовала славѣ „Демона“. Она всѣмъ бросалась въ глаза и всѣхъ ослѣпляла. Вспомнимъ, что Пушкина уже не было на свѣтѣ, когда „Демонъ“ появился въ печати. Никто изъ современниковъ Пушкина не могъ равняться красотой своего стиха со стихами Лермонтова; да и самъ учитель, по природѣ своей, любившій больше простоту, чѣмъ блескъ, едва ли могъ указать въ своихъ произведеніяхъ что-либо равное „Демону“ по внѣшней отдѣлкѣ.

Но „Демонъ“ завоевалъ любовь публики не однимъ стихомъ. Онъ привлекалъ къ себѣ своимъ *настроеніемъ*. Туманный герой поэмы съумѣлъ вселить въ душу читателей какое-то неопредѣленное настроеніе, подъ вліяніемъ котораго читатель, не *понимая* сложной психологіи героя, могъ, однако, *чувствовать* ее. Читатель былъ дѣйствительно предрасположенъ къ этому и чтеніемъ, и самой жизнью.

„Демонъ“, будучи въ русской литературѣ новинкой по фабулѣ и ея выполненію, былъ далеко не новымъ типомъ по основнымъ своимъ чувствамъ и положеніямъ. Кто читалъ его въ первый разъ, тотъ не могъ отдѣлаться отъ впечатлѣнія, что гдѣ-то онъ встрѣчался съ нимъ самимъ или съ подобными ему типами. Кромѣ того, читатель могъ замѣтить и въ себѣ самомъ нѣкоторое духовное родство съ героемъ поэмы. Къ этому герою примыкалъ длинный рядъ западно-европейскихъ типовъ, въ томъ числѣ самые популярные типы поэмъ Байрона, а въ жизни его поддерживалъ цѣлый кругъ романтически настроенной молодежи.

Романтическое настроеніе нашего общества перехва-

тило далеко за двадцатые годы нынѣшняго столѣтія, когда оно впервые у насъ появилось. Всѣ тридцатые годы и половина сороковыхъ были неравнодушны къ Байрону и французскимъ романтикамъ, что̀ видно, между прочимъ, на пріемѣ, какой былъ сдѣланъ писателямъ, опередившимъ общественные вкусы. Вспомнимъ, что послѣднія произведенія Пушкина остались непонятыми; вспомнимъ, сколько труда потратили критики на объясненіе произведеній Гоголя, и сравнимъ съ этимъ успѣхи романовъ Полевого и Марлинскаго, популярность драмъ Кукольника и цѣлой бездны пьесъ и повѣстей, въ которыхъ авторы выносили на показъ лохмотья байроновскихъ плащей, съ претензіей на геніальность.

Русская жизнь сама по себѣ представляла очень удобную почву для воспринятія и дальнѣйшаго развитія титаническихъ порывовъ, озлобленнаго безсилія, разочарованной бездѣятельности и всѣхъ тѣхъ кипучихъ чувствъ и эксцентричныхъ положеній, какіе составляютъ сущность романтизма. „Демонъ“, который отразилъ на себѣ всю юношескую жизнь Лермонтова и все его юношеское чтеніе, не могъ не быть симпатичнымъ тому поколѣнію, которое увлекалось тѣми же туманными идеалами, взятыми изъ тѣхъ же источниковъ. Этой жизненной правдой рѣшается и вопросъ объ оригинальности нашей поэмы. Она настолько можетъ быть названа заимствованной, насколько русскій человѣкъ того времени былъ солидаренъ съ человѣкомъ западнымъ, у котораго онъ учился.

V.

Въ предшествующей главѣ мы говорили о вліяніи западной литературы на Лермонтова. Мы признали это вліяніе, но убѣдились, что Лермонтовъ никогда не былъ прямымъ подражателемъ, и въ чтеніи искалъ и находилъ лишь подтвержденіе собственному душевному настроенію. Теперь намъ остается прослѣдить, насколько западное вліяніе сказалось на „Демонѣ“.

Изъ автобіографическаго характера этой поэмы, этого

символическаго обобщенія дѣтства и отрочества, вытекаетъ и ея внѣшнее сходство съ мотивами Байрона. Ихъ можно найти въ изобиліи во всѣхъ главахъ „Демона“, но ни одно изъ произведеній Байрона не можетъ быть названо прототипомъ Лермонтовской поэмы.

Насколько оригинальна сама кавказская фабула—вопросъ спорный; она была присочинена Лермонтовымъ позднѣе, и потому, конечно, не могла натолкнуть его на характеристику героя. Герой былъ созданъ раньше, также какъ и главное драматическое положеніе—столкновеніе демона съ женщиной и ея гибель. Все остальное было добавлено послѣ и для насъ существеннаго значенія не имѣетъ.

Итакъ, посмотримъ, насколько оригинальны основныя положенія „Демона“, т.-е. самъ герой и его столкновеніе съ Тамарой. Сравненіе съ нѣкоторыми западными типами, взятыми у различныхъ авторовъ, убѣдятъ насъ, что, несмотря на нѣкоторое сходство, нѣтъ *прямой* зависимости между „Демономъ“ и этими типами. Всѣ они родные братья по настроенію, только одинъ старше, другой моложе.

Ихъ общій источникъ — общественное движеніе конца прошлаго вѣка, тотъ рядъ событій, который наобѣщалъ на первыхъ порахъ такъ много, а успѣлъ дать лишь незначительную долю обѣщаннаго. Принципъ свободы сталъ источникомъ всѣхъ титаническихъ порывовъ, какіе мы подмѣчаемъ въ литературныхъ и общественныхъ типахъ конца прошлаго и начала нашего столѣтія, точно такъ, какъ паденіе многихъ иллюзій вызвало въ этихъ же типахъ острые приступы озлобленія, разочарованности и меланхоліи. Въ этомъ столкновеніи необузданной жажды самой широкой свободы съ внѣшнимъ и внутреннимъ установившимся строемъ человѣческой жизни кроется начало тѣхъ душевныхъ настроеній, какія выразились всего рельефнѣе въ герояхъ Шатобріана, молодого Гёте и Байрона.

Нашъ „Демонъ“ принадлежитъ тоже къ этой орлиной семьѣ романтизма. Въ немъ сохранились общіе семейные признаки—гордый умъ, сила духа и тѣла, огонь страсти—но онъ не знаетъ, куда приложить всѣ свои преимущества. Этимъ незнаніемъ онъ отличается отъ своихъ западныхъ род-

ственниковъ, такъ какъ всѣ они, какъ дѣятели общественные, „знали“, куда должно было направить свои силы, и страдали только отъ невозможности приложить ихъ къ дѣлу. Для нашего „Демона“ общественной роли не существуетъ потому, что въ тѣ годы самъ Лермонтовъ надъ ней не думалъ. Несмотря на свои земныя чувства, герой поэмы считалъ интересы земли нестоющими никакого вниманія, въ виду людской ничтожности и мелочности. Это презрѣніе къ людямъ, высказанное нашимъ поэтомъ въ такіе ранніе годы,—фактъ очень любопытный. Западные писатели дошли до такого презрѣнія послѣ долгой и очень долгой борьбы; да и вообще никому изъ нихъ не приходило въ голову сдѣлать бѣса героемъ поэмы; любовь къ людямъ не покидала этихъ писателей даже въ самый разгаръ ихъ пессимизма и отчаянія. У насъ на Руси такое явленіе вполнѣ объяснимо нашей индивидуальной замкнутостью и полнымъ отсутствіемъ общественной солидарности.

Такимъ образомъ, въ общихъ чертахъ, Демонъ носитъ на себѣ ясные признаки своего духовнаго родства съ западными героями. Мы не будемъ доказывать это подробно выписками изъ Шатобріана, Байрона и другихъ авторовъ; мы остановимся только на главномъ драматическомъ положеніи поэмы, на встрѣчѣ демона съ Тамарой, и докажемъ, что и въ данномъ случаѣ замыселъ Лермонтова имѣетъ свои аналогіи на западѣ.

Драматическая завязка поэмы вытекаетъ логически изъ характера самого героя, чѣмъ и объясняется это сходство произведеній, другъ отъ друга не зависящихъ.

Демоническая натура, несмотря на многія привлекательныя свои стороны, въ большинствѣ случаевъ патура эгоистическая. Сознаніе своей силы и величія своихъ порывовъ и замысловъ умаляетъ въ глазахъ такого человѣка цѣну какой бы то ни было жертвы, принесенной ему его ближними. Глубина и острота собственныхъ страданій заставляетъ его хладнокровно смотрѣть на страданія другихъ, въ особенности если эти страданія не захватываютъ столь широкаго круга чувствъ и мыслей, какой охваченъ страданіями самого героя. Встрѣчаясь съ натурой болѣе слабой, демоническая натура обезличиваетъ ее иногда даже противъ

воли и становится источникомъ ея нравственныхъ мученій, такъ какъ предъявляетъ ей требованія, на которыя она отвѣтить не въ состояніи. Вотъ почему жизненныя столкновенія съ такими людьми не обходятся дешево людямъ обыкновеннымъ и преимущественно женщинамъ. Общественное движеніе, создавшее демоническихъ мужчинъ, поселило и въ женскихъ сердцахъ жажду свободы и равенства; примѣрами могутъ служить женскіе типы романовъ Сталь и Жоржъ-Зандъ. Но число этихъ женщинъ было ничтожно въ сравненіи съ числомъ героевъ, которые, несмотря на свое одинокое положеніе въ мірѣ, все-таки не отказывались отъ личной жизни и потому нуждались въ подругахъ. Сродныхъ по духу взять было негдѣ и приходилось довольствоваться кругомъ нѣжныхъ, любящихъ, но не глубокихъ женскихъ натуръ. Отсюда вытекаетъ драматическое противупоставленіе демона-мужчины ангелу-женщинѣ, контрастъ, являющійся обычнымъ, повсемѣстно распространеннымъ, рычагомъ поэмъ и романовъ въ первой половинѣ нашего столѣтія. Отсюда также и традиціонный типъ непостояннаго любовника, неудовлетвореннаго и какъ будто безсердечнаго, типъ, служащій передаточнымъ пунктомъ между Фаустомъ и Донъ-Жуаномъ. Приведемъ нѣсколько примѣровъ.

Еще въ XVIII вѣкѣ встрѣчаемъ мы цѣлый рядъ такихъ героинь въ англійскихъ, французскихъ и нѣмецкихъ романахъ; но въ самихъ герояхъ этихъ романовъ демоническая черта характера еще незамѣтна. Героини романовъ Ричардсона и Руссо — слабыя христіанки, смиренныя женщины, отданныя на произволъ единственной страсти—любви, смѣшанной иногда съ долею сожалѣнія. Въ этомъ онѣ сходны съ героинями XIX вѣка, вплоть до романовъ Жоржъ-Зандъ, когда къ этому традиціонному типу любящей и страдающей женщины добавляется новая характерная черта—мстительность за перенесенныя страданія.

Но такъ какъ прямой или косвенной задачей романовъ Ричардсона и Руссо и ихъ прямыхъ послѣдователей была проповѣдь нравственности и притомъ довольно узкой, то и главные герои, противопоставленные этимъ нравственнымъ женщинамъ, были, въ большинствѣ случаевъ, люди, характеръ ко-

торыхъ скорѣе опредѣлялся отсутствіемъ извѣстныхъ добродѣтелей, чѣмъ присутствіемъ иныхъ сильныхъ душевныхъ качествъ. Таковы, напримѣръ, Ловеласъ, герой „Памелы", и Сенъ-Прё— „Новой Элоизы". Отнимите у Ловеласа его Донжуановскую натуру, не останавливающуюся передъ насиліемъ, устраните изъ жизни Сенъ-Прё нѣкоторые соціальные предразсудки,—и всѣ эти семейныя драмы кончатся картиной супружескаго счастья. Во всѣхъ этихъ герояхъ до-революціонной эпохи нѣтъ демоническаго элемента, того склада характера, при которомъ покой и счастье невозможны даже при самыхъ благополучныхъ условіяхъ. Въ сердцѣ этихъ героевъ для сатаны остается мало мѣста. Онъ вселится въ этихъ людей, когда житейскія несправедливости лягутъ на нихъ всею тяжестью.

Примѣръ тому — Ренѐ и его младшіе братья. „Ренѐ" Шатобріана многими своими сторонами коренится въ дѣйствительно пережитыхъ и перечувствованныхъ моментахъ жизни. Онъ—родной сынъ французской революціи и, уже по одной этой причинѣ, запасъ его душевныхъ силъ богаче, чѣмъ у его предшественниковъ. Въ его душѣ живетъ это чувство недовольства всѣмъ и всѣми, которое заставляетъ его постоянно странствовать, какъ странствуетъ и нашъ Демонъ, говорить о ничтожествѣ міра, не находить ничего поучительнаго ни у древнихъ, ни у новыхъ народовъ, смѣяться надъ всякой обязательной работой и предаваться мрачнымъ мечтаніямъ, „сидя у кратера огнедышащей горы". Въ вопросахъ религіозныхъ этотъ человѣкъ не можетъ быть названъ невѣрующимъ; но гордость и жажда великихъ подвиговъ никогда не уживаются съ христіанскимъ смиреніемъ. Мы чувствуемъ, что для лицъ съ такимъ характеромъ возможенъ лишь одинъ покой,—кажущійся покой бури. Дружба и любовь такого человѣка опасны и гибельны. Онъ, правда, не совращаетъ невинныхъ, но любовь его не можетъ удовлетвориться страстью; ему нужно что-то особенное, что выдвигало бы его и въ этомъ чувствѣ изъ ряда другихъ людей. Онъ любитъ свою родную сестру, но, кажется, любовью не вполнѣ братской. Когда онъ потомъ беретъ себѣ жену изъ дикаго племени, семейная и, повидимому, счастливая

жизнь среди дѣвственной природы не даетъ ему успокоенія. Онъ бросаетъ жену и доводитъ ее до самоубійства. Призракъ несчастной сестры не покидаетъ его и становится источникомъ того мистическаго настроенія, той скуки и томленія, которыя окончательно парализуютъ всѣ его душевныя силы.

Оставьте теперь этому типу его эгоистическое самообожаніе, дайте ему возможность болѣе энергично дѣйствовать, не въ дебряхъ американскихъ лѣсовъ, а въ цивилизованныхъ странахъ, заставьте его бороться за свободу, а не убѣгать отъ утѣсненій, и у васъ получится типъ героевъ Байрона, этихъ настоящихъ демоновъ, которымъ недостаетъ только силы творить чудеса и повелѣвать природѣ.

Но, оставляя въ сторонѣ соціальное значеніе этихъ типовъ, возьмемъ ихъ личную жизнь и мы увидимъ, что ихъ любовь — проклятіе. Вспомнимъ Сбогара и его возлюбленную, Конрада и Медору, Лару и Каледъ, Селима и Зулейку, Манфреда и Астарту, Альпа и его невѣсту, Уго и Паризину; не забудемъ также Фауста и Маргариту. У Гёте, Байрона и Нодье, какъ позднѣе у Мура и Виктора Гюго, Мюссе и другихъ литературныхъ представителей первой половины нашего столѣтія, вездѣ будетъ попадаться эта основная пружина эпическихъ разсказовъ и драматическаго дѣйствія, это постоянное столкновеніе сильнаго мужского характера съ женскимъ, болѣе слабымъ, но всегда болѣе симпатичнымъ. Женщина, исполнивъ свой долгъ утѣшительницы и помощницы, будетъ смиренно сходить со сцены, какъ мученица своей нравственной чистоты. Ей будетъ открыто небесное царствіе, какъ въ послѣдней сценѣ Фауста, а невольный или вольный ея мучитель будетъ страдать и казниться въ адскихъ мученіяхъ. Но и здѣсь женщина не покинетъ его. Любящая, она и за гробомъ будетъ ходатаемъ передъ Богомъ за его искупленіе. Старый мотивъ Данта оживетъ во второй части „Фауста“ и у нѣмецкихъ романтиковъ, и даже у Байрона, въ его „Манфредѣ“.

Какъ на образецъ такой, хотя и тщетной, попытки утѣшить и возродить къ новой жизни падшаго ангела—мужчину, мы укажемъ на подвигъ Элоа — героини поэмы Аль-

фреда Виньи. Написана эта поэма въ 1823 году, за нѣсколько лѣтъ до появленія романовъ Жоржъ-Зандъ. Авторъ ея былъ однимъ изъ немногихъ піонеровъ французской романтической школы, въ которыхъ религіозное настроеніе не было вызвано политической программой. Оно въ немъ было искренно. Отсюда мягкая, слишкомъ мягкая христіанская окраска его поэмы или, вѣрнѣе, элегіи.

Элоа — ангелъ, родившійся отъ слезы, которую проронилъ Спаситель, когда узналъ о смерти Лазаря; существо—любящее, мягкое, нѣжное, способное на ту же высокую степень любви и самоотверженія, какъ и его Божественный Родитель. Какъ Онъ былъ посланъ въ міръ для спасенія грѣшныхъ, такъ и для Элоа предназначена многострадальная судьба утѣшительницы родоначальника всего грѣха въ мірѣ, отверженнаго и падшаго ангела. Съ этимъ ангеломъ встрѣтилась Элоа во время одного изъ своихъ полетовъ на землю; онъ, увидавъ ее, плѣнился ею, сталъ рисовать ей свое царство въ самыхъ заманчивыхъ краскахъ, повѣрилъ ей тайну своего отчужденнаго и разочарованнаго существованія, и тѣмъ, въ свою очередь, плѣнилъ ея сердце. Ей стало его жалко и въ ней явилось желаніе возродить его къ новой жизни. Былъ моментъ, когда демонъ, говоря ей о своей любви, былъ готовъ принести покаяніе и молить Бога о прощеніи. Наплывъ воспоминаній о минувшемъ блаженствѣ размягчилъ его душу. Но это былъ только моментъ; злоба и ненависть воскресли въ демонѣ съ прежней силой и онъ, увлекая ангела съ собою въ преисподнюю, на вопросъ: кто онъ?—могъ отвѣтить только, что „онъ увлекаетъ свою рабыню и держитъ въ рукахъ свою жертву“. Элоа погибаетъ и никто не приходитъ спасти ее.

Но скоро писатели, а въ особенности писательницы, обращавшіеся къ той же темѣ женскаго самоотверженія, стали рѣшать этотъ вопросъ нѣсколько иначе.

Безгласная и любящая женщина, погибающая отъ мужского эгоизма и произвола, стала мало-по-малу показывать свои когти. На-ряду съ типами демоническихъ мужчинъ, стали появляться на сцену типы демоническихъ женщинъ: женщина потребовала равноправности сначала въ домаш-

нихъ дѣлахъ, а наконецъ, и въ политическихъ. Толчекъ былъ данъ г-жею Сталь и Бенжаменъ-Констаномъ, современниками Шатобріана. „Дельфина“ была адвокатскою рѣчью за независимость положенія женщины въ обществѣ. „Элеонора“, съ своей стороны, стала предшественницей типовъ Жоржъ-Зандъ и наглядно доказывала, что несчастіе женщины кроется въ общественныхъ предразсудкахъ и соціальныхъ условіяхъ, въ какія она поставлена. Первый романъ Ж.-Зандъ, „Индіана“, былъ такимъ образомъ далеко не новинкой. Слова: „одиночество пріятно и люди не стоютъ сожалѣнія“, сказанныя героиней романа, готовой поселиться на Мадагаскарѣ, чтобы только избѣжать соціальныхъ тисковъ, были прелюдіей къ настоящему возмущенію. Самымъ законченнымъ типомъ этой возмутившейся женщины была „Лелія“. Въ ней демоническій мужской характеръ нашелъ достойнаго соперника. Враги Жоржъ-Зандъ говорили, что задача всѣхъ ея романовъ—деградація мужчины, мнѣніе, быть можетъ, слишкомъ рѣзкое, но не противорѣчащее тому факту, что дѣятельность автора находилась въ прямой связи съ теченіемъ общественной мысли, направленной на уравненіе мужчины и женщины въ соціальномъ отношеніи.

Такимъ образомъ, весь циклъ этихъ литературныхъ героевъ, и мужчинъ, и женщинъ, былъ не чѣмъ инымъ, какъ отраженіемъ жизненной общественной правды—преувеличенной, быть можетъ, но въ основаніи своемъ вѣрной картиной дѣйствительности. Идеи и чувства, олицетворенныя въ этихъ демонахъ мужского и женскаго пола, были общимъ достояніемъ всей Европы и, вмѣстѣ съ тѣмъ, нашей родины.

Судя по пріему, какой былъ оказанъ романамъ Жоржъ-Зандъ, можно думать, что русское общество съ одинаковой симпатіей относилось и къ женскимъ типамъ, въ которыхъ подмѣчало черты, столь ей понравившіяся въ мужскихъ типахъ.

Но, оглядываясь на свою собственную жизнь, русскій читатель того времени замѣчалъ, что всѣ эти типы эксцентричныхъ и сильныхъ женщинъ—явленіе, совершенно чуждое складу русской жизни. Подмѣчая ежедневно и въ другихъ, и въ самомъ себѣ чувства, родственныя тѣмъ душев-

нымъ порывамъ, какими онъ восхищался въ любимыхъ литературныхъ герояхъ, онъ могъ также ежедневно убѣждаться въ томъ, что этихъ чувствъ, среди русскихъ женщинъ, ему встрѣчать не приходится. Русская литература, которую такъ часто и справедливо обвиняли въ подражаніи, въ данномъ случаѣ осталась вѣрна дѣйствительности. Рядомъ съ безчисленными мужскими типами въ стилѣ Байрона, мы въ русскихъ романахъ того времени не встрѣтимъ женщинъ, напоминающихъ собой героинь романовъ Сталь и Жоржъ-Зандъ. Общественная почва была для нихъ неблагопріятна: ихъ не было въ жизни, ихъ не было и въ литературѣ. Русская женщина того времени отразилась въ типѣ Татьяны, которая, по своей мечтательности, по нравственной чистотѣ, уступчивости и легкой склонности къ чтенію нравственныхъ проповѣдей, относится прямо къ циклу героинь Руссо и Ричардсона, а не къ орлиной семьѣ французскаго романтизма. Женскіе типы Лермонтова вышли также кроткими и любящими подругами и спутницами своихъ эгоистическихъ мужей и поклонниковъ.

Итакъ, Лермонтовъ не заимствовалъ своей поэмы у кого-либо изъ перечисленныхъ нами авторовъ; она вытекаетъ изъ его личной жизни, какъ результатъ пережитого и перечитаннаго. Съ идеями своего вѣка онъ, какъ мы видѣли, познакомился довольно рано, благодаря усиленному литературному чтенію, и слѣдствіемъ совпаденія этихъ идей съ его личнымъ характеромъ, его вкусами и нѣкоторыми событіями его юности былъ поэтическій образъ Демона, настолько же сильный и туманный, насколько сильны и неопредѣленны были порывы души самого поэта.

Сама жизнь обуздывала мечту нашего поэта и заставляла его съ каждымъ годомъ все тѣснѣе и тѣснѣе связывать поэзію съ дѣйствительностью. Ближайшими попытками такого сближенія являются его драмы, Историческая повѣсть и поэма „Измаилъ-Бей“.

VI

ЮНОШЕСКІЯ ДРАМЫ
ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОВѢСТЬ
ИЗМАИЛЪ-БЕЙ.

I.

Лермонтовъ, работая въ продолженіе всей своей жизни надъ обрисовкой одного единственнаго литературнаго типа, избѣгалъ во всѣхъ характеристикахъ своихъ героевъ точной и связной психологической мотивировки, которая позволила бы читателю прослѣдить развитіе даннаго типа съ пеленокъ до того момента, когда онъ является передъ нами дѣйствующимъ лицомъ. Мы могли видѣть это на Демонѣ и можемъ провѣрить и на другихъ типахъ. Несмотря на силу, съ какой очертаны нравственныя физіономіи героевъ, въ нихъ все-таки остается что-то недосказанное, туманное. Читатель чувствуетъ, что всѣ эти образы, въ которыхъ столько правдиваго и человѣчнаго, висятъ передъ нимъ какъ будто въ воздухѣ, что нѣтъ пьедестала, опираясь на который они могли бы стоять твердой ногой на земной почвѣ. Этотъ недостатокъ происходитъ отъ невѣдѣнія, въ какомъ насъ оставляетъ авторъ относительно прошлаго своихъ героевъ, настоящимъ которыхъ поглощено всецѣло его вниманіе.

Прошлое Демона скрыто отъ насъ совершенно и оговорено двумя-тремя словами, не ради объясненія типа, а скорѣе для контраста. Въ „Измаилъ-Бей“ даны только намеки, какъ и въ „Маскарадѣ“. Типъ Печорина выясненъ нѣсколько подробнѣе, благодаря отрывку „Княгиня Лиговская“, но и здѣсь чувствуется большой пробѣлъ, такъ какъ повѣсть прерывается на самомъ интересномъ мѣстѣ, и того, что̀ дано въ ней, недостаточно для полнаго выясненія загадочной личности Печорина. Вездѣ умолчанія и недомолвки.

Мы готовы признать, что самому автору были не вполнѣ ясны эти тайныя пружины въ сложномъ механизмѣ его героевъ, какъ, вѣроятно, ему многое было неясно въ его собственномъ развитіи. Онъ шелъ за своимъ вѣкомъ, дѣлилъ его симпатіи и антипатіи; предрасположеніе его природы дѣлало его болѣе воспріимчивымъ къ однимъ сторонамъ жизни и менѣе къ другимъ; житейскія случайности пришли на помощь этимъ симпатіямъ. Но когда, въ концѣ концовъ, онъ пожелалъ осмыслить пройденный имъ путь и вывести логически свое настроеніе изъ условій своей жизни, то онъ увидалъ, что не въ состояніи этого сдѣлать и что ему осталось одно—изложить правдиво свои чувства въ настоящемъ, а въ отношеніи къ прошедшему—ограничиться лишь сожалѣніемъ и общей жалобой. Онъ это и сдѣлалъ.

Странно слышать, какъ 15-лѣтній мальчикъ говоритъ о „развратныхъ“ годахъ прошлаго, объ „измѣнахъ и разочарованіяхъ“, о „страданіи и отчаяніи“, а между тѣмъ эти выраженія вполнѣ понятны. Это были преувеличенныя, раздутыя воспоминанія, въ которыхъ поэтъ искалъ причину общаго неопредѣленнаго и неосязаемаго ощущенія грусти, недовольства и озлобленія, какое онъ замѣчалъ въ себѣ, но не могъ подробно самому себѣ выяснить. Да не только онъ одинъ, но и многіе изъ его современниковъ не могли себѣ выяснить своего психическаго состоянія и искали разгадку въ „измѣнахъ“, „несчастной любви“, „развратѣ“ и другихъ подобныхъ случайностяхъ всякой молодой жизни.

Лермонтовъ жаловался очень часто на свою бурную молодость, на безплодную трату своихъ юныхъ силъ и на безотрадное свое положеніе среди семьи и свѣта. Въ общемъ эти жалобы сводились на чувство одиночества, преждевременной старости, духовнаго неравенства съ прочими людьми, отверженной или обманутой любви, на чувства злобы и ненависти къ измѣнившимъ друзьямъ и холодному свѣту. Въ этихъ жалобахъ очень многое было преувеличено, многое, быть можетъ, даже выдумано; но нѣтъ сомнѣнія, что самъ Лермонтовъ вѣрилъ въ ихъ правоту и искренность, и видѣлъ въ событіяхъ, которыя ихъ вызывали, источникъ своего загадочнаго настроенія и вообще своего темперамента. Это

подтверждается тѣмъ, что, не довольствуясь мелкими стихотвореніями, въ которыхъ онъ касался этихъ сердечныхъ ранъ, поэтъ задумалъ положить ихъ въ основаніе всѣхъ своихъ юношескихъ драматическихъ попытокъ.

Эти попытки, въ количествѣ трехъ драмъ и одной трагедіи, не лишены живого интереса. Онѣ важны для насъ, какъ примѣры драматическаго таланта Лермонтова, какъ памятники, проливающіе нѣкоторый свѣтъ на темные эпизоды его жизни, какъ попытки поэта связать свое творчество тѣснѣе съ жизнью и какъ эскизы, въ которыхъ туманный образъ Демона начинаетъ принимать, если не вполнѣ, то хотя отчасти, человѣческія и правдоподобныя очертанія.

II.

Былъ ли драматическій талантъ у Лермонтова?

Поэтъ очень рано сталъ прибѣгать къ драматической формѣ въ своихъ сочиненіяхъ. На 14-мъ году жизни онъ драматизируетъ поэму Пушкина „Цыгане“, задумываетъ невѣроятную драму изъ жизни разбойниковъ, набрасываетъ сюжетъ трагедіи изъ Шатобріана, мечтаетъ даже о трагедіи изъ римской жизни („Марій“ и „Неронъ“), попытавшись, предварительно, написать таковую же изъ жизни древнерусской.

Всѣ эти попытки не удаются, и первымъ драматическимъ этюдомъ является драма изъ испанской жизни „Испанцы“ (1830). Не забудемъ, что и въ первомъ очеркѣ „Демона“ у монахини въ рукахъ была „испанская“ лютня. Къ Испаніи, этой взятой на-прокатъ колыбели французскаго романтизма, были неравнодушны и наши романтики.

Что сказать о трагедіи „Испанцы“? Сюжетъ ея иностранный, навѣянный, очевидно, чтеніемъ, а не жизнью,— отсюда и ея книжный характеръ. За исключеніемъ главнаго героя, всѣ эти испанскіе дворяне, инквизиторы, евреи—лица мертвыя, копіи съ героевъ иностранныхъ произведеній: Моисей и Ноэми—страница изъ Вальтеръ-Скотта или Лессинга, Эмилія—героиня въ духѣ Шиллера, патеръ Соррини тоже не безъ

сходства съ злодѣями Шиллера; похищеніе Эмиліи—эпизодъ изъ „Эмиліи Галотти“ Лессинга, встрѣча Фернандо съ Моисеемъ очень сходна со встрѣчей Наѳана и храмовника, а Фернандо, главный герой пьесы, напоминаетъ любого героя французскаго романтизма. Однако, въ общемъ, благодаря поднятому тону и запутанной драматической завязкѣ, трагедія сценична и эффектна. Для 16-лѣтняго поэта опытъ можетъ быть названъ удачнымъ.

Но, несмотря на свою юность, Лермонтовъ замѣтилъ, что путь, имъ избранный, не допускаетъ дальнѣйшаго движенія, и черезъ годъ въ его драмахъ нѣтъ уже ни одного слова ни объ испанцахъ, ни объ евреяхъ. Дѣйствующія лица русскія, мѣсто дѣйствія—русская столица или деревня. Художественное исполненіе драмъ, безспорно, выиграло отъ этой перемѣны. Поэтъ сталъ черпать матеріалъ изъ жизни и изъ личныхъ ощущеній, и дѣйствующія лица стали говорить прозой, а не стихами; драматическіе эффекты уступили мѣсто ровному теченію обыденной жизни; кинжалы, ядъ и таинственныя появленія совсѣмъ сошли со сцены. Но въ драмахъ остался одинъ крупный недостатокъ, въ которомъ виноваты, конечно, не одни молодые годы автора. Дѣло въ томъ, что всѣ второстепенныя лица изображены крайне блѣдно, а главные герои—характеры сложные и загадочные—нарисованы красками яркими и кричащими. Ровный ходъ драматическаго изложенія нарушается ежеминутно субъективно-страстными лирическими монологами героевъ, а сами они, эти загадочныя натуры, кажутся неестественными именно потому, что брошены въ среду людей обыкновенныхъ. Самъ Лермонтовъ, въ товарищескомъ кругу и на балу, долженъ былъ производить такое же впечатлѣніе на незнакомыхъ, почему они почти единогласно и обвиняли его въ неестественности и любви къ позамъ.

Эта драматическая ошибка, нарушающая единство впечатлѣнія въ драмахъ Лермонтова, была не только технической, внѣшней ошибкой, но коренилась отчасти въ самой природѣ поэта. Онъ, какъ Байронъ и Гейне, какъ вообще всѣ поэты съ слишкомъ сильными субъективными симпатіями и антипатіями, былъ неспособенъ забыть, до извѣстной степени,

себя самого въ своихъ произведеніяхъ. Главному герою отводилось то же первенствующее мѣсто въ драмѣ, какое поэтъ отводилъ своему собственному настроенію въ жизни. Лермонтовъ, въ тѣ годы, смотрѣлъ свысока на тѣ стороны жизни, которыя либо не согласовались, либо плохо вязались съ его излюбленнымъ настроеніемъ. Вотъ почему онъ съ пренебреженіемъ смотрѣлъ и на людей, съ которыми былъ несогласенъ. Онъ охотно умолчалъ бы о нихъ совсѣмъ, еслибы это было возможно въ драмѣ. Принужденный, однако, сталкиваться съ ними и въ жизни, и въ драмѣ, онъ избралъ средній путь и только намѣчалъ ихъ лица и характеры, не давая себѣ труда вникать глубже въ ихъ душу, что̀ онъ сталъ дѣлать позднѣе. Всѣ лица, которыя вращаются вокругъ главныхъ героевъ: Юрія Волина, Александра Радина, Арбенина—какія-то тѣни, брошенныя авторомъ на картину, чтобы лучше выдвинуть впередъ главнаго героя. Онъ одинъ долженъ быть видѣнъ повсюду, даже тогда, когда его нѣтъ на сценѣ; имъ однимъ долженъ быть занятъ читатель, такъ какъ онъ одинъ положительный типъ среди остальныхъ отрицательныхъ единичныхъ личностей. Дѣйствительно, во всѣхъ драмахъ Лермонтова, за исключеніемъ позднѣйшей, „Маскарада“, главный герой—честный человѣкъ и стоитъ совершенно одиноко. Женщина ему измѣняетъ, друзья его обманываютъ, отецъ проклинаетъ, а всѣ остальные зрители или пренебрежительно, или злорадно относятся къ его страданіямъ. Поставленный въ такія условія, человѣкъ не можетъ жить общей жизнью съ другими, и невольно станетъ вдали отъ всѣхъ, какъ, дѣйствительно, стоятъ всѣ герои юношескихъ драмъ Лермонтова.

III.

„Странный человѣкъ“, „Menschen und Leidenschaften“ и „Два брата“ могутъ быть названы первыми русскими драмами, какъ „Испанцы“ — первой русской романтической трагедіей. Принимая во вниманіе тогдашнее состояніе русскаго репертуара, гдѣ приторная сантиментальность че-

редовалась съ пустымъ водевильнымъ гаерствомъ, можно пожалѣть, что эти драмы въ то время не попали на сцену. Онѣ не совершили бы переворота, но, несомнѣнно, могли повліять благотворно на вкусъ зрителей. Драма „Menschen und Leidenschaften", несмотря на заглавіе à la Коцебу, по отдѣльнымъ бытовымъ сценамъ напрашивается на сравненіе съ театромъ Островскаго.

Что касается автобіографическаго матеріала, который мы вправѣ искать въ этихъ драмахъ, то пользоваться имъ должно съ большою осторожностью. Никто не возьметъ грѣха на свою душу и не рѣшится сказать, что съ Лермонтовымъ въ жизни дѣйствительно произошло все то, что съ его героями въ драмахъ. Но если всѣ драматическія положенія и преувеличены, то истиннымъ остается одинъ фактъ, — окрѣпшее и развившееся самосознаніе автора, тогда 16-лѣтняго юноши. Какъ „Демонъ" былъ попыткой *символизировать* минувшее дѣтство и отрочество, такъ драмы были попыткой ихъ *осмыслить*. То настроеніе, которое рисовалось въ „Демонѣ", какъ конечный результатъ прожитого, разлагалось здѣсь на составныя части, и, замѣтимъ, разлагалось уже не аллегорически, а реально, путемъ положеній и состояній, взятыхъ изъ жизни и подкрѣпленныхъ собственнымъ опытомъ.

Можетъ ли этотъ опытъ быть названъ богатымъ? Едва ли; но въ трехъ Лермонтовскихъ драмахъ намѣчены и затронуты многія житейскія положенія, въ какія могъ стать 16-лѣтній юноша. Всѣ три главныхъ героя: Юрій Волинъ, Арбенинъ и Александръ Радинъ представляютъ собою три послѣдовательныхъ ступени въ развитіи одного характера, и мы вправѣ объединить ихъ, для удобства характеристики, въ *одномъ* лицѣ.

Посмотримъ теперь, какъ сложилась нравственная физіономія этого человѣка и ознакомимся съ нимъ поближе.

IV.

Въ дѣтствѣ нашъ герой съ простосердечіемъ и довѣрчивостью кидался въ объятія всякаго; его занимала несбыточная, но прекрасная мечта земного общаго братства и сердце вздра-

гивало при одномъ имени свободы [„Menschen und Leidenschaften“ I, v]. Онъ нетерпѣливо старался узнавать человѣческое сердце, пламенно любилъ природу, и твореніе человѣчества было прекрасно въ его ослѣпленныхъ глазахъ [ibid.]. Но любовь его къ свободѣ была понята неправильно, сочтена за вольнодумство, и общество отъ него отшатнулось. Онъ вернулся въ семью, гдѣ засталъ полный семейный разладъ. Бабушка, у которой онъ жилъ, была въ распрѣ съ его отцомъ и не только въ нравственной распрѣ, но и денежной [ibid. III, II]. Съ его матерью отецъ, повидимому, жилъ не въ особенныхъ ладахъ, мать умерла рано; отца постарались удалить отъ него. Онъ остался на рукахъ у бабушки, и когда отецъ, по окончаніи его воспитанія, пріѣхалъ за нимъ, то нашъ герой очутился между двухъ огней, среди цѣлаго ряда семейныхъ сценъ, среди обоюдныхъ дрязгъ и клеветы, которыя кончились тѣмъ, что отецъ его проклялъ. Дрязги заставили его увидать много дурныхъ сторонъ въ любимой имъ бабушкѣ, а проклятіе отца показало ему всю мелочность и нелюбовь этого человѣка. Проклятіе его убило— онъ отравился.

Но пусть отецъ нашего героя будетъ болѣе послѣдователенъ въ своихъ отношеніяхъ къ нему и болѣе твердъ въ своихъ своеобразныхъ нравственныхъ принципахъ, и тогда нашъ герой станетъ къ нему въ отношенія, въ какихъ въ „Странномъ человѣкѣ“ молодой Арбенинъ стоитъ къ своему отцу. Между нимъ и его отцомъ становится больная изгнанная мать, которая умираетъ на рукахъ сына. Передъ нами новая семейная драма, болѣе жестокая, чѣмъ въ трагедіи „Menschen und Leidenschaften“. Она кончается тѣмъ же проклятіемъ и Арбенинъ умираетъ, какъ и Волинъ.

Но пусть Арбенинъ останется живъ, пусть онъ переживетъ и эту семейную драму, и онъ станетъ смотрѣть на своего отца такъ, какъ въ драмѣ „Два брата“ Александръ Радинъ смотритъ на своего; другими словами, въ его сердцѣ отцу не найдется мѣста [„Два брата“, V дѣйствіе]. Привыкнувъ видѣть однѣ семейныя драмы, получать оскорбленія отъ лицъ, которыя, въ силу закона природы, должны были любить его,

Александръ Радинъ кончилъ тѣмъ, что вытравилъ въ себѣ всѣ семейныя чувства. Съ братомъ онъ въ ссорѣ изъ-за женской любви, а съ отцомъ—изъ-за пристрастія къ меньшому брату. Смерть отца онъ переноситъ хладнокровно и удивляется, когда меньшой братъ падаетъ въ обморокъ при этомъ извѣстіи. Очевидно, семейныя узы потеряли надъ нимъ всякую власть и онъ одинокъ—одинокъ, какъ Печоринъ.

Герой юношескихъ драмъ Лермонтова разувѣрился въ дружбѣ также, какъ и въ семейной привязанности. Друзья не оправдали его надеждъ, какъ и его родственники. Съ первымъ другомъ, Заруцкимъ [„Menschen und Leidenschaften“], у него вышло недоразумѣніе; второй другъ, Бѣлинскій [„Странный человѣкъ“], отбилъ у него невѣсту и сознательно обманулъ его. Герой былъ слишкомъ легковѣренъ и слишкомъ идеально настроенъ. Онъ могъ сказать, что никто его не понимаетъ, никто не умѣетъ обходиться съ его сердцемъ, которое полно любовью и принуждено расточать ее напрасно [„Странный человѣкъ“, сц. I]. Онъ не могъ ужиться съ той молодежью, которая его окружала. Не онъ виноватъ, что несносное полотерство, стремленіе къ ничтожеству, пошлое самовыказываніе завладѣло половиной русской молодежи [„Странный человѣкъ“, сц. II], но онъ долженъ испытать на себѣ тяжкія послѣдствія этого нравственнаго паденія своихъ современниковъ. Немудрено, что онъ мечтаетъ объ Италіи, такъ какъ во всей ледяной Россіи нѣтъ сердца, которое бы ему отвѣтило [„Странный человѣкъ“, сц. IV]. Но пусть мечта замѣнится въ немъ разсудочнымъ отношеніемъ къ дѣлу и тогда онъ согласится съ своимъ пріятелемъ Бѣлинскимъ, что пріятели въ нашъ вѣкъ—двѣ струны, которыя, по волѣ музыканта, издаютъ согласные звуки, но содержатъ въ себѣ столько же противныхъ [„Странный человѣкъ“, сц. XII].

Съ этимъ убѣжденіемъ живетъ и Александръ Радинъ [„Два брата“], не имѣющій ни одного друга; съ этимъ же убѣжденіемъ живетъ и Печоринъ, который дружитъ съ Максимомъ Максимовичемъ и съ докторомъ только потому, что, въ данную минуту жизни, струны ихъ сердца издали сходные звуки. Въ другой моментъ, эти люди готовы пройти мимо своихъ друзей, не раскланявшись, и будутъ, до извѣстной степени, правы,

такъ какъ въ былое время и мимо нихъ проходили друзья, не снимая шляпы.

Любовь въ глазахъ героя Лермонтовскихъ драмъ—такое же условное чувство, какъ и дружба. По природѣ своей, нашъ герой—былъ очень мечтательная натура. Дѣвушка, которую онъ встрѣтилъ, показалась ему ангеломъ-утѣшителемъ. Этотъ ангелъ взялъ его за руку, утѣшилъ однимъ взглядомъ, однимъ неизъяснимымъ взглядомъ, обновилъ его къ жизни [„Menschen und Leidenschaften“ II, IV]. Частью родство, частью недоразумѣнія не позволили насладиться счастьемъ, и онъ измучилъ и себя самого, и своего ангела несправедливыми подозрѣніями. Когда онъ во второй разъ влюбился, то, по наивности своей, думалъ, что встрѣтилъ снова ангела, предполагая его, вѣроятно, въ каждой дѣвушкѣ [„Странный человѣкъ“, сц. I]. На этотъ разъ ангелъ измѣнилъ ему, и подозрѣнія, къ которымъ герой, вообще, былъ склоненъ, нашли себѣ оправданіе. За идеализмъ и чистосердечіе ему отплатили грубой разсчетливостью и коварствомъ. У идеалиста жизнь вырвала страшное признаніе, что онъ на землѣ „лишній человѣкъ“ [„Странный человѣкъ“, сц. XII].

Но, если въ одномъ случаѣ [„Странный человѣкъ“] нашъ герой не могъ перенести этого разочарованія въ любимой женщинѣ, то въ другомъ [„Два брата“] онъ перенесъ его стойко и съ достоинствомъ. Въ монологахъ Радина [„Два брата“] нѣтъ уже болѣе слезливыхъ нотъ; въ нихъ видна досада и жажда мщенія.

Идеалистъ, на нашихъ глазахъ, перерождается въ пессимиста; пока еще не холоднаго и безучастнаго, но только озлобленнаго и мстительнаго. Вотъ его исповѣдь, очень характерная и имѣющая извѣстное значеніе въ примѣненіи къ Печорину, который, какъ мы можемъ догадываться, тоже обманутъ своей Вѣрой, хотя и мститъ не ей, а другимъ. „Всѣ читали на моемъ лицѣ,—говоритъ Александръ Радинъ [„Два брата“ II, I],—какіе-то признаки дурныхъ свойствъ, которыхъ не было, но ихъ предполагали,—и они родились. Я былъ скроменъ, меня бранили за лукавство,—я сталъ скрытенъ. Я глубоко чувствовалъ добро и зло; никто меня

не ласкалъ, всѣ оскорбляли—я сталъ злопамятенъ... Я былъ готовъ любить весь міръ—меня никто не любилъ и я выучился ненавидѣть. Моя безцвѣтная молодость протекла въ борьбѣ съ судьбой и свѣтомъ; лучшія чувства, боясь насмѣшки, я хоронилъ въ глубину сердца,—онѣ тамъ и умерли; я сталъ честолюбивъ, служилъ долго, — меня обходили; я пустился въ большой свѣтъ, сдѣлался искусенъ въ наукѣ жизни,—я видѣлъ, какъ другіе, безъ искусства, счастливы; въ груди моей возникло отчаяніе, не то, которое лѣчатъ дуломъ пистолета, но то отчаяніе, которому нѣтъ лѣкарства ни въ здѣшней, ни въ будущей жизни; наконецъ, я сдѣлалъ послѣднее усиліе — я рѣшился узнать хоть разъ, что̀ значитъ быть любимымъ, и для того избралъ тебя... Богъ меня послалъ къ тебѣ, какъ необходимое въ жизни несчастіе“...

Да, любовь нашего героя была, дѣйствительно, несчастіемъ, какъ и любовь Демона, какъ позднѣе любовь Печорина. Женщину, которая измѣнила ему, Александръ Радинъ преслѣдуетъ съ ожесточеніемъ. Онъ не пылкій представитель романтической страсти, съ кинжаломъ и ядомъ,—онъ сосредоточенный эгоистъ, казнящій свою жертву медленно и съ разсчетомъ [„Два брата“ IV, 1].

И такъ, для всѣхъ героевъ драмъ Лермонтова нѣтъ ни семьи, ни любви, ни дружбы. Люди, обреченные судьбой жить внѣ этихъ естественныхъ связей, могли бы наполнить пустоту своего существованія либо служеніемъ обществу, либо религіей, какъ примирительницей всѣхъ неудачъ и разладовъ въ жизни. Нашъ герой не способенъ ни къ религіозному взгляду на жизнь, ни къ служенію обществу. Въ религіи онъ былъ сначала такимъ же мечтателемъ, какъ и во всемъ другомъ; онъ искалъ рая на землѣ и, не найдя его, не пожелалъ поискать его въ самомъ себѣ, въ примиреніи, въ смиренной вѣрѣ: людскія несправедливости онъ ставитъ въ счетъ Богу и говоритъ по этому поводу [„Menschen und Leidenschaften“ V, IV]: „зачѣмъ Онъ не удержалъ удары людей отъ моего сердца? Зачѣмъ хотѣлъ Онъ моего рожденія, зная про мою гибель? Гдѣ Его воля, когда, по моему хотѣнію, я могу умереть или жить? О, человѣкъ! не-

счастное брошенное созданіе!.. Я стою предъ Творцомъ моимъ. Сердце мое не трепещетъ... я молился... не было спасенія... я страдалъ... ничто не могло Его тронуть". Въ другомъ мѣстѣ это безотрадное разсужденіе приводитъ героя къ такому выводу: „Другъ мой,—говоритъ онъ своей возлюбленной, — нѣтъ другаго свѣта... Есть хаосъ... Онъ поглощаетъ племена... и мы въ немъ исчезнемъ... мы никогда не увидимся. Нѣтъ рая, нѣтъ ада... Люди—брошенныя безпріютныя созданія" [„Menschen und Leidenschaften" V, x]. Не забудемъ, однако, что эти слова произнесены почти въ бреду, за нѣсколько минутъ до смерти. Но, помимо этихъ признаній, мы могли бы догадаться сами, что нашъ герой мало доступенъ религіозному утѣшенію. Онъ слишкомъ любитъ видимое и осязаемое, слишкомъ привязанъ къ землѣ, чтобы взглянуть на нее, какъ на переходную стадію къ иному существованію. Эта любовь къ землѣ, къ ея треволненіямъ—общая черта всѣхъ Лермонтовскихъ героевъ; всѣ они хотятъ покоя, а ищутъ бури; всѣ они, обманутые и разочарованные, не имѣютъ достаточно силы, чтобы совсѣмъ отвернуться отъ жизни и противустоять ея искушеніямъ. Они, какъ ночныя бабочки, лѣпятся къ свѣту *).

Жажда дѣятельности въ нихъ плохо прикрыта внѣшней разочарованностью, и блѣдность ихъ лица совсѣмъ не соотвѣтствуетъ внутреннему жару ихъ сердца. Вся жизнь этихъ людей

---

*) Their breath is agitation, and their life
A storm whereon they ride, to sink at last,
And yet so nursed and bigoted to strife,
That should their days, surviving perils past,
Melt to calm twilight, they feel overcast
With sorrow and supineness, and so die;
Even as a flame unfed, which runs to waste
With its own flickering, or a sword laid by,
Which eats into itself, and rusts ingloriously.

Byron.

Lightning might assail
And shiver them to ashes, but to trail
A long and snake-like life of dull decay
Was not for them.

Byron.

есть противорѣчіе. Быть тѣмъ, чѣмъ они желали быть, они не могутъ, а быть тѣмъ, чѣмъ они могутъ быть, они не хотятъ. Довести же себя до безучастнаго отношенія къ жизни они не въ силахъ, по природной своей организаціи, дѣятельныхъ, живыхъ и всѣмъ интересующихся людей. Эта живость ихъ натуры, воспріимчивость и страстность оправдываютъ въ нашихъ глазахъ всѣ ихъ пессимистическія и безотрадныя разсужденія о жизни. „Не оживетъ, если не умретъ“—можно сказать, про ихъ сердце. Порывъ отчаянія для нихъ толчокъ къ новой жизни, если не внѣшней, то внутренней. Съ каждымъ новымъ разочарованіемъ они дѣлаются на видъ болѣе безстрастными и холодными, а на самомъ дѣлѣ болѣе чуткими и страстными. Ихъ природа подобна волкану, который, послѣ каждаго изверженія, застываетъ, и каменистая кора дѣлается все тверже и крѣпче; но при новомъ взрывѣ и новая, и старая лава обращаются въ одно огненное море.

Въ герояхъ, съ которыми мы теперь имѣемъ дѣло, жизненная чуткость не простирается дальше семьи, любви и дружбы, что̀ весьма понятно, если принять во вниманіе, что драмы написаны 16-лѣтнимъ юношей. Но, несмотря на свои молодые годы, Лермонтовъ уже въ этихъ драмахъ затронулъ нѣсколько широкихъ вопросовъ, которые должны были потомъ вывести его героевъ изъ узкихъ рамокъ чисто субъективной жизни,—таковы, напримѣръ, картины крѣпостничества, которымъ въ этихъ юношескихъ драмахъ отведено не мало мѣста.

V.

Сводя теперь къ одному цѣлому всѣ вопросы, затронутые Лермонтовымъ въ его драмахъ, мы можемъ сказать, что основное положеніе, на которомъ всѣ онѣ построены, положеніе довольно старое, но необходимое въ жизни каждаго нервнаго человѣка, а тѣмъ болѣе поэта. Передъ нами знакомая картина постепеннаго угасанія идеалистическихъ порывовъ въ сердцѣ молодого человѣка,—необходимая жертва, которую каждый изъ насъ приноситъ жизни, пока не нач-

нетъ работать надъ другой половиной своей нравственной задачи,—надъ примиреніемъ житейскаго опыта съ остатками прежняго, слишкомъ безотчетнаго идеализма.

Въ драмахъ Лермонтова, въ лицѣ Радина, едва намѣчены слѣды этого примиренія, и то въ дурномъ смыслѣ; за то въ нихъ ярко отразился первый моментъ разлада идеалиста-мечтателя съ окружающей его обстановкой.

Мы имѣемъ право предположить въ этихъ драмахъ субъективное настроеніе самого автора. Его мелкія стихотворенія 1830—31 годовъ, о которыхъ мы уже говорили, указываютъ, что въ немъ самомъ происходилъ этотъ нравственный переломъ, острота котораго увеличивалась, съ одной стороны, его молодостью, а съ другой—замкнутостью жизни. Немудрено, что, изображая въ лицахъ свое собственное состояніе, онъ впалъ въ преувеличеніе. Безспорно, что и семейные раздоры и легкія неудачи дѣтскихъ привязанностей и, наконецъ, то же крѣпостничество, которое такъ рано заставило его подумать надъ значеніемъ слова „рабъ“, — все имѣло рѣшительное вліяніе на завязку его драматическихъ опытовъ; но мы глубоко ошибемся, если въ бабушкѣ „Menschen und Leidenschaften“ пожелаемъ видѣть почтенную г-жу Арсеньеву, а въ старикѣ Волинѣ или Арбенинѣ — отца нашего героя. Частичка житейской правды въ этихъ типахъ есть; но письма и другіе стихи Лермонтова указываютъ, что эта частичка очень незначительна. Такъ точно нельзя прилагать къ самому Лермонтову всего того, что говорятъ о себѣ его молодые герои. Одинъ тотъ фактъ, что онъ принужденъ былъ убить двоихъ героевъ, показываетъ намъ, что онъ поставилъ ихъ въ условія не совсѣмъ нормальныя и съ его собственнымъ положеніемъ совсѣмъ не сходныя. Трагизмъ ихъ положенія заключался, впрочемъ, не столько въ преувеличеніи дурныхъ сторонъ жизни, съ которыми имъ пришлось считаться, сколько въ ихъ собственномъ мягкосердечіи, душевной чистотѣ и неопытности. Такія нѣжныя растенія, какъ Волинъ и Арбенинъ, не перенесутъ не только зимы и осени, но даже ранней весны. Они парниковыя растенія, какимъ былъ и нашъ поэтъ, но, къ счастью, не надолго.

Александръ Радинъ, герой драмы „Два брата“, лишь однимъ годомъ старше Волина и Арбенина; но въ немъ не осталось и тѣни мечтательности и мягкосердечія. Онъ пережилъ нравственный переломъ и, въ борьбѣ съ дѣйствительностью, достигъ первой степени примиренія съ жизнью, а именно сознанія, что всякая борьба возможна лишь при извѣстномъ запасѣ силъ, что первое, чѣмъ долженъ заняться человѣкъ, желающій жить и бороться, это—позаботиться о своемъ собственномъ здоровьѣ и тѣлесномъ, и духовномъ. Александръ Радинъ достигъ этой первой степени самообладанія, помирившись съ измѣнчивостью всѣхъ чувствъ въ мірѣ и, замѣнивъ сердечное отношеніе къ этимъ чувствамъ, по возможности—отношеніемъ разсудочнымъ. Онъ вступилъ на ту дорогу, которая можетъ быть оправдана, только какъ переходная. Она опасна, такъ какъ нерѣдко приводитъ тѣхъ, кто на ней замѣшкался, не къ примиренію съ жизнью, а къ отчужденію отъ нея. Александръ Радинъ, повидимому, впалъ позднѣе въ эту крайность, если судить по Печорину, въ котораго онъ преобразился.

Въ вопросѣ житейской нравственности Печоринъ стоитъ, приблизительно, на той же самой точкѣ, что и Радинъ. Онъ старался вытравить изъ своей души всякую мечтательность и воспріимчивость, выработать возможное самообладаніе и силу сопротивленія всѣмъ житейскимъ невзгодамъ, но, не переставая любить жизнь и ея треволненія, не могъ сдѣлать ей необходимой уступки и предпочелъ стать въ сторонѣ отъ нея, вмѣсто того, чтобы войти въ нее съ ясной нравственной программой. Онъ, закаленный и готовый къ борьбѣ, въ самую борьбу не вмѣшался.

VI.

Если драматическіе опыты Лермонтова не имѣютъ достаточныхъ художественныхъ преимуществъ, которыя позволили бы намъ наслаждаться ими, какъ памятниками искусства, то они цѣнны для насъ, какъ наиболѣе полныя и систематизированныя картины душевной борьбы, пережитой

въ то время самимъ поэтомъ. Переходъ отъ юношескихъ идеалистическихъ взглядовъ на міръ къ замкнутому эгоизму отчужденнаго и обманувшагося человѣка очерченъ въ нихъ ярко и драматично.

Переходъ отъ поэзіи мечтаній къ поэзіи, коренящейся въ самой жизни, въ испытанномъ и видѣнномъ, былъ важнымъ шагомъ въ творчествѣ Лермонтова. Начиная съ этого времени, а именно съ начала 30-хъ годовъ, поэтъ становится все реальнѣе и реальнѣе въ своихъ произведеніяхъ. Романтическіе кошмары его покидаютъ, страсть къ преувеличиванію замѣняется способностью объективной оцѣнки. Такая перемѣна въ творчествѣ поэта бываетъ обыкновенно результатомъ долгой внутренней борьбы вкусовъ. Для нашего поэта эта борьба должна была быть тѣмъ упорнѣе, чѣмъ романтичнѣе была его природа, чѣмъ замкнутѣе его жизнь. Мы должны отдать полную справедливость Лермонтову: онъ сдѣлалъ все, отъ него зависящее, чтобы сблизить свою поэзію съ жизнью, несмотря на то, что время, въ какое онъ жилъ, было неблагопріятно реальнымъ тенденціямъ въ искусствѣ. О Пушкинѣ говорили тогда, что онъ палъ, Гоголя называли писателемъ грязнымъ, а высшую поэзію признавали только за сюжетами возвышенными, не видя, что бо́льшая часть этихъ возвышенныхъ сюжетовъ была чистѣйшей пошлостью, только поставленной на ходули. Отказаться отъ романтическихъ сюжетовъ для Лермонтова было вдвойнѣ трудно, такъ какъ любовь къ нимъ вытекала изъ самаго характера Лермонтовскаго таланта, — изъ его субъективности, которая принуждена была обращаться къ фантастическимъ темамъ, чтобы избѣжать однообразія и повторенія. Въ данномъ случаѣ Лермонтовъ очень сходенъ съ Байрономъ, который легендой и аллегоріей также маскировалъ однообразіе чувствъ и мыслей въ своихъ главныхъ поэмахъ, пока ему не пришла счастливая мысль написать „Донъ-Жуана“.

VII.

Послѣдуемъ теперь за Лермонтовымъ въ его дальнѣйшей литературной дѣятельности. Ко времени, о которомъ мы говоримъ, т.-е. къ періоду 1830 — 32 годовъ, помимо драмъ, относятся еще два крупныхъ произведенія: неоконченная Историческая повѣсть и поэма „Измаилъ-Бей". Драмы, Историческая повѣсть и поэма связаны между собою единствомъ настроенія. Герои драмъ, герой повѣсти Вадимъ и Измаилъ-Бей — родные братья. Обрисовкѣ характеровъ главныхъ героевъ отведено и въ повѣсти, и въ поэмѣ первое мѣсто. Остальныя дѣйствующія лица только намѣчены. Мы узнаемъ манеру и литературный пріемъ поэта: выдвигать впередъ одну личность и оттѣнять ее другими.

Историческая повѣсть и „Измаилъ-Бей", по содержанію своему, произведенія легендарныя. Но, несмотря на эту легендарность сюжета, въ обоихъ произведеніяхъ, а въ особенности въ „Повѣсти", видно довольно ясно новое реальное направленіе, какое принялъ талантъ Лермонтова.

Кому неизвѣстно, что̀ такое была русская историческая повѣсть въ 20-хъ и 30-хъ годахъ нынѣшняго столѣтія? До появленія повѣстей Пушкина и Гоголя, она находилась въ рукахъ Марлинскаго, Загоскина и Лажечникова, вниманіе которыхъ было направлено, съ одной стороны, на народность, подъ которой они разумѣли одинъ внѣшній колоритъ, а съ другой—на интересъ самой завязки, на хитросплетеніе обстоятельствъ, которое они помнили еще изъ романовъ Радклифъ и которымъ восхищались въ романахъ Вальтеръ-Скотта. Попытка внести въ характеристику героевъ психологическую правдивость была ими или совсѣмъ упущена изъ виду, или сдѣлана неудачно. Въ этомъ отношеніи повѣсть Лермонтова ихъ опередила. Она читается и теперь не безъ интереса. Читатель найдетъ въ ней живыя народныя сцены, яркую картину помѣщичьей жизни конца XVIII вѣка, сцены изъ крѣпостного быта, изъ жизни козачества временъ Пугачева, вообще многое, что̀ напомнитъ ему и „Капитанскую

дочку", и „Дубровскаго". Эти сцены, набросанныя и рельефно, и живо, чередуются съ другими эпизодами, написанными еще въ старомъ стилѣ,—въ стилѣ романтически-мелодраматическомъ. Сюда относится весь любовный романъ главнаго героя, Вадима.

Онъ—сынъ разореннаго помѣщика, физическій уродъ, одинъ изъ тайныхъ агентовъ Пугачева, продавшій себя въ рабство, чтобы легче поразить ненавистнаго ему рабовладѣльца. Содержаніе повѣсти взято изъ временъ Пугачевскаго бунта, и народное движеніе противупоставлено застою крѣпостничества, какъ главный герой, Вадимъ,—своему владѣльцу.

Въ своей повѣсти Лермонтовъ переходитъ, такимъ образомъ, къ рѣшенію общественнаго вопроса; какъ онъ рѣшилъ его окончательно, мы не знаемъ, такъ какъ повѣсть не окончена. Симпатіи его раздѣлены между спорящими партіями. Съ большой любовью останавливается онъ на картинахъ народнаго страданія, бичуетъ помѣщичій произволъ, вникаетъ подробно въ душу своего героя-раба, человѣка обиженнаго людьми и природой. Но, вмѣстѣ съ тѣмъ, какое презрѣніе къ толпѣ проглядываетъ иногда въ его описаніяхъ! Лермонтовъ, который цѣнилъ въ людяхъ всего больше умственное преимущество и силу воли, пока еще не имѣлъ достаточно сердечнаго смиренія, чтобы отнестись болѣе снисходительно къ сѣрой массѣ. Онъ ставилъ ее на почтительное разстояніе, и эта изолированность умственно и нравственно привилегированнаго человѣка стала потомъ причиной нравственныхъ мученій поэта, когда онъ столкнулся съ вопросомъ: въ какомъ отношеніи долженъ стоять поэтъ къ этой сѣрой массѣ?

Вадимъ, герой его повѣсти, хотя и становится вождемъ народнаго возстанія, но приходитъ только внѣшнимъ образомъ въ соприкосновеніе съ народомъ и въ душѣ презираетъ его. Вадимъ—личность очень эксцентричная. Создавая этотъ типъ, Лермонтовъ далъ широкій просторъ своей фантазіи и намѣренно попытался обставить жизнь героя самыми невѣроятными условіями. Вотъ почему, несмотря на усилія развить психологически его характеръ [Лермонтовъ въ этой повѣсти очень щедръ на анализы душевныхъ движеній], онъ не могъ

достичь желанной ясности въ его характеристикѣ. Мы приведемъ нѣсколько выдержекъ изъ повѣсти, чтобы дать понятіе объ этой странной личности, которая для насъ особенно интересна одной стороной своего характера — чувствомъ возмутившагося и мстительнаго раба. Это — новое психическое движеніе, съ которымъ мы не встрѣчались ни у мягкихъ страдающихъ идеалистовъ типа Волина и Арбенина, ни у страстныхъ по натурѣ, но наружно сдержанныхъ и послѣдовательныхъ эгоистовъ, какимъ мы знавали Александра Радина. Зародыши этого новаго душевнаго движенія были затронуты Лермонтовымъ въ „Бояринѣ Оршѣ“ и развиты, позднѣе, въ поэмѣ „Мцыри“. „Меня взяли въ монастырь изъ состраданія,—разсказываетъ Вадимъ,—кормили, потому что я былъ не собака и нельзя было меня утопить; въ стѣнахъ обители я провелъ мои лучшіе годы, въ душныхъ стѣпахъ, оглушаемый звономъ колоколовъ, пѣніемъ людей, одѣтыхъ въ черныя платья и потому думающихъ быть ближе къ небесамъ,—притѣсняемый за то, что я обиженъ природой, что я безобразенъ. Они заставляли меня благодарить Бога за мое безобразіе, будто бы Онъ хотѣлъ этимъ средствомъ удалить меня отъ шумнаго міра, отъ грѣховъ... Молиться! у меня въ сердцѣ были одни проклятія“... „Вадимъ имѣлъ несчастную душу, надъ которой иногда одна какая-нибудь мысль могла пріобрѣсти неограниченную власть. Онъ долженъ былъ родиться всемогущимъ или вовсе не родиться“...

А вотъ описаніе его наружности: „Онъ былъ горбатъ и кривоногъ, но члены его казались крѣпкими и привыкшими къ трудамъ этого позорнаго состоянія (онъ былъ нищій); лицо его было длинно, смугло; широкій лобъ его былъ желтъ, какъ лобъ ученаго, мраченъ какъ облако, покрывающее солнце въ день бури, синяя жила пересѣкла его неправильныя морщины; губы—тонкія, блѣдныя, были растягиваемы и сжимаемы какимъ-то судорожнымъ движеніемъ, и въ глазахъ блистала цѣлая будущность“. Уродливой внѣшности соотвѣтствовали отчасти и уродливыя чувства. Онъ любилъ свою сестру, приблизительно, тою же

страстью, какой Рене любилъ Амелію, Каинъ Аду, Манфредъ Астарту...

И такъ, вотъ новый герой, въ которомъ наружность Квазимодо сочеталась съ байроническимъ настроеніемъ, понятымъ теперь уже въ болѣе широкомъ смыслѣ, чѣмъ прежде.

Русская словесность мало выиграла отъ этого типа, но цѣнными въ повѣсти остаются все-таки картины крѣпостного быта и ея основная тенденція.

VIII.

Съ поэмой „Измаилъ-Бей“ мы снова на Кавказѣ, въ полусказочномъ мірѣ. Кавказъ для нашихъ романтиковъ 30-хъ годовъ нынѣшняго столѣтія былъ тѣмъ же, чѣмъ Испанія и Италія для французскихъ писателей этого времени,—страной, которую воспѣвали всѣ, даже тѣ, которые не считали долгомъ или не имѣли возможности побывать тамъ. Лермонтовъ зналъ Кавказъ съ дѣтства.

Сѣверная, угрюмая и меланхолическая натура Лермонтова любила яркія краски юга, богатство и красоту южной природы, огонь и зной южныхъ страстей; поэтъ любилъ жить этой жизнью въ мечтахъ, восполняя ея красотами недостатки своей будничной обстановки. Но, уносясь мечтой на Кавказъ, онъ оставался тѣмъ же сѣвернымъ жителемъ, съ его мрачными страстями, съ чувствами, надъ которыми онъ производилъ безпощадный анализъ сѣвернаго мыслителя, съ волей, которая была стѣснена и парализована размышленіемъ. Всѣ эти качества сѣвернаго жителя отразились и на его южныхъ герояхъ. Лермонтовъ, какъ и Байронъ, не стѣснялся наряжать самого себя въ восточные костюмы, и неохотно брался за изображеніе лицъ, характеры которыхъ требовали отъ него извѣстнаго объективнаго отношенія. Несмотря на то, что онъ, сравнительно съ Пушкинымъ, зналъ Кавказъ и востокъ лучше, и вдохновлялся имъ чаще, тѣмъ не менѣе онъ въ своихъ кавказскихъ типахъ не достигалъ пушкинской рельефности и вѣр-

ности. „Хаджи-Абрекъ“ — единственная удачная попытка въ этомъ родѣ.

Одно изъ основныхъ положеній поэмы „Измаилъ-Бей“ очень напоминаетъ „Лару“ Байрона: это личность Зары; но сказать, что „Измаилъ-Бей“ заимствованъ у Байрона, мы не можемъ. Герой поэмы сходенъ съ байроновскими типами настолько, насколько сходны всѣ предшествующіе ему лермонтовскіе типы, съ которыми Измаилъ-Бей состоитъ въ прямомъ родствѣ. Прослѣдить это родство весьма нетрудно, и мы не будемъ особенно подробно подчеркивать этого сходства. Возьмемъ на выборъ нѣсколько строфъ изъ этой поэмы, чтобы показать, что мы имѣемъ дѣло съ старымъ знакомымъ. Онъ, прежде всего, исключеніе изъ общаго людского правила:

Бываютъ люди: чувства — имъ страданья,
Причуда злой судьбы — ихъ бытіе;
Чтобъ самовластье показать свое,
Она порой кидаетъ ихъ межъ нами.
Такъ, древле, въ море кинулъ царь алмазъ,
Но горный камень въ свой урочный часъ
Ему обратно отданъ былъ волнами...
И дѣтямъ рока мѣста въ мірѣ нѣтъ,
Они его пугаютъ жизнью новой,
Они блеснутъ — и сгладится ихъ слѣдъ,
Какъ въ темной тучѣ слѣдъ стрѣлы громовой.
Толпа дивится часто ихъ уму,
Но часто обвиняетъ, потому
Что въ морѣ бѣдъ какъ вихри ихъ ни носятъ,
Они пособій отъ рабовъ не просятъ.
Хотятъ ихъ превзойти въ добрѣ и злѣ,
И власти знакъ на гордомъ ихъ челѣ.
[Измаилъ-Бей II, XVIII].

Какъ такое исключеніе изъ общаго правила, онъ естественно одаренъ и „непобѣдимымъ умомъ“, силой воли, самыми бурными страстями, однимъ словомъ, той демоничностью, соприкосновеніе съ которой не проходитъ даромъ другимъ людямъ:

Все, что̀ меня хоть мало любитъ,
За мною вслѣдъ увлечено;
Мое дыханье радость губитъ;
Щадить—мнѣ власти не дано.
[Измаилъ-Бей I, xxxvi].

Эти слова—не пустыя рѣчи. На душѣ Измаила, дѣйствительно, грѣхъ,—загубленное женское сердце. Въ этомъ отношеніи онъ сходенъ съ Демономъ.

Съ обманувшимися идеалистами лермонтовскихъ драмъ Измаила роднитъ горькій житейскій опытъ, и выводъ, который онъ сдѣлалъ изъ этого опыта, во многомъ сходенъ со взглядами Александра Радина. Измаилъ-Бей, въ своемъ одиночествѣ, перешелъ границу простого эгоистическаго отчужденія отъ людей и додумался до полнаго презрѣнія къ міру:

Но въ другихъ онъ чувства
Судить отвыкъ ужъ по своимъ.
Не разъ, личиною искусства,
Слезой и сердцемъ ледянымъ,
Когда обмановъ самъ чуждался,
Обманутъ былъ онъ—и боялся
Онъ вѣрить только потому,
Что вѣрилъ нѣкогда всему...
И презиралъ онъ этотъ міръ ничтожный,
Гдѣ жизнь—измѣнъ взаимныхъ вѣчный рядъ,
Гдѣ радость и печаль—все призракъ ложный,
Гдѣ память о добрѣ и злѣ—все ядъ;
Гдѣ льститъ намъ зло, но болѣе тревожитъ;
Гдѣ сердце утѣшать добро не можетъ...
[Измаилъ-Бей III, x].

Одиночество его—одиночество полное, сходное съ угрюмой отчужденностью Демона *). Измаилъ—своего рода падшій ангелъ,—онъ измѣнилъ вѣрѣ своихъ отцовъ и принялъ христіанство; онъ отвѣдалъ отъ плодовъ просвѣщенія и тѣмъ порвалъ связь съ непосредственной дикой свободой своей родины. Ему, повидимому, осталось только одно утѣшеніе, искать такой обстановки, гдѣ бы онъ могъ всего легче забыть, что онъ человѣкъ...

---

*) The eagle soars alone.
Byron.

Межъ скалъ незыблемыхъ, одинъ,
Забылъ онъ жизни скоротечность,
Онъ, въ мысляхъ міра властелинъ,
Присвоить онъ желалъ ихъ вѣчность.
Забылъ онъ все, что испыталъ.
Друзей, враговъ, тоску изгнанья
И какъ невѣсту въ часъ свиданья
Душой природу обнималъ *).

[Измаилъ-Бей I, XIX].

Не есть ли это выдержка изъ Демона? Мы, съ Измаиломъ-Беемъ, вернулись какъ будто къ 1829 году. Въ Измаилѣ-Беѣ есть однако одна черта, рѣзко выдѣляющая его изъ ряда всѣхъ остальныхъ лермонтовскихъ героевъ. Эта черта—патріотическая ненависть свободнаго человѣка къ общественнымъ ограниченіямъ, налагаемымъ всякой цивилизаціей. Первобытная свобода, какъ извѣстно, плохо уживается съ тѣмъ, что мы называемъ общественнымъ строемъ. Этотъ общественный строй водворялся на Кавказѣ одновременно съ русскимъ завоеваніемъ, и герой поэмы, цивилизованный человѣкъ, по воспитанію, и свободный дикарь, по рожденію, возвратившись на родину, очутился въ самомъ критическомъ положеніи. Весь трагизмъ его душевнаго состоянія коренится въ этомъ противорѣчіи сердечныхъ симпатій къ свободѣ и умомъ добытаго убѣжденія въ необходимости законнаго порядка. Онъ, умершій для всѣхъ наслажденій и всѣхъ чувствъ, живетъ только однимъ чувствомъ патріота, защищающаго свободу противъ утѣсненія. Онъ давно бы самъ покончилъ съ собой, еслибы не эта борьба, безплодность которой для него, однако, не тайна. Онъ не фанатикъ въ своей любви къ свободной родинѣ, а цивилизованный человѣкъ XIX вѣка,

*) Where rose the mountains, there to him were friends;
Where roll'd the ocean, thereon was his home;
Where a blue sky, and glowing clime, extends,
He had the passion and the power to roam;
The desert, forest, cavern, breaker's foam,
Were unto him companionship; they spake
A mutual language, clearer than the tome
Of his land's tongue, which he would oft forsake
For Nature's pages glass'd by sunbeams on the lake.

Byron.

ставшій лицомъ къ лицу съ однимъ изъ самыхъ важныхъ соціальныхъ явленій. Онъ—жрецъ умирающей религіи, сознающій законность и необходимость этой смерти... Примиреніе съ жизнью для него немыслимо при данныхъ условіяхъ, а потому исходъ одинъ—бороться упорно и ждать, пока смерть сниметъ съ него всякую отвѣтственность. Отсюда, —безпечность его поступковъ при львиной отвагѣ и храбрости и его частый рискъ жизнью.

Но пусть великій вопросъ о столкновеніи первобытной свободы съ цивилизаціей рѣшенъ Измаиломъ неудовлетворительно, для насъ сама поэма важна, какъ показатель развитія нашего автора. Созданіе такого типа, какъ Измаилъ, при всѣхъ его романтическихъ недостаткахъ, былъ для молодого поэта громаднымъ шагомъ впередъ. Лермонтовъ второй разъ и съ большимъ успѣхомъ выходилъ изъ круга личныхъ ощущеній и брался за рѣшеніе общечеловѣческаго вопроса. Сказочный міръ сталъ служить лишь формой, въ которую облеклись событія и чувства міра дѣйствительнаго. Само рѣшеніе вопроса позволяетъ также предугадать совершающуюся въ Лермонтовѣ перемѣну, новый шагъ къ примиренію съ жизнью, извѣстную уступку необходимости.

Вспомнимъ, какъ вопросъ о борьбѣ первобытной свободы и цивилизаціи рѣшонъ у Пушкина, въ его поэмѣ „Цыгане“. Цивилизованный человѣкъ брошенъ въ среду дикаго племени, какъ кара Божія, какъ живой образецъ эгоизма и разнузданной страсти. Въ „Измаилѣ“ этотъ же человѣкъ умираетъ за свободу, неоцѣненный и даже проклинаемый своими. Между Алеко и цыганами не можетъ быть ничего общаго, какъ между нравственной чистотой и порокомъ, противорѣчіе подчеркнуто рѣзко и не указано никакой возможности примиренія. Между Измаиломъ и кавказскимъ племенемъ тоже существуетъ рознь, но что бы ни говорилъ авторъ „о развратѣ Европы и ядѣ просвѣщенія“,—герой не ужился со своими не потому, что онъ былъ испорченъ, а, наоборотъ, потому, что онъ стоялъ выше ихъ. Первобытные дикари не ужились съ личностью, которая стала выше общаго уровня, и тѣмъ самымъ эта перво-

бытная свобода доказала законность своей гибели. Но паденіе этого обветшалаго бога,—несмотря на заманчивую возможность патріотическихъ выходокъ, — описано Лермонтовымъ съ рѣдкимъ тактомъ, съ участіемъ, которое показываетъ намъ, что, одновременно съ Измаиломъ, въ душѣ поэта умирала дорогая ему иллюзія сердца, дорогая мечта о блаженной, ничѣмъ не стѣсненной свободѣ.

Прежде чѣмъ послѣдовать за Лермонтовымъ въ Петербургъ, оглянемся на пройденный имъ путь развитія. Какой выводъ сдѣлалъ поэтъ изъ всего имъ прожитаго, перечувствованнаго, прочитаннаго и передуманнаго? Нѣтъ сомнѣнія, что за послѣдніе годы его умственный кругозоръ расширился. Изъ узкой сферы чисто личныхъ и семейныхъ вопросовъ Лермонтовъ сталъ выходить на широкую дорогу вопросовъ общественныхъ. Въ своихъ юношескихъ драмахъ, Исторической повѣсти и въ поэмѣ „Измаилъ-Бей“ поэтъ коснулся нѣкоторыхъ важныхъ сторонъ современной ему жизни. Новый герой сталъ болѣе опытенъ, имѣлъ болѣе опредѣленную цѣль жизни, чѣмъ прежде, и сталъ болѣе гуманенъ—но его послѣдній выводъ изъ всей его новой жизни также безотраденъ, какъ отчужденно и одиноко его положеніе среди людей. Александръ Радинъ, Вадимъ и Измаилъ-Бей живутъ той же замкнутой и одинокой жизнью, что̀ и Демонъ, несмотря на то, что иногда принимаютъ активное участіе въ судьбѣ своихъ ближнихъ. Это недовѣрчивое, гордое, слегка презрительное отношеніе къ людямъ, которое такъ непріятно поражаетъ читателя въ герояхъ Лермонтова,— прямое слѣдствіе разлада его собственной мечты съ дѣйствительностью. Неясность требованій, какія Лермонтовъ ставилъ жизни, неустойчивость всѣхъ убѣжденій и взглядовъ и вмѣстѣ съ тѣмъ неспособность приноровиться къ среднему людскому уровню заставили самого поэта чуждаться людей и быть скрытнымъ. Чтобы искренно полюбить людей и принести себя самого имъ въ жертву, необходимо быть убѣжденнымъ идеалистомъ. Лермонтовъ въ душѣ былъ идеалистъ, но не имѣлъ никакихъ ясныхъ убѣжденій, кромѣ одного— что нужно было имѣть ихъ. Въ силу этого одного убѣжденія онъ такъ упорно работалъ всю жизнь надъ своимъ

собственнымъ „я“ и, не будучи въ силахъ рѣшить трудной загадки, періодически, во время упадка силъ, торопился съ своимъ пессимистическимъ выводомъ. Этотъ выводъ, въ юные годы его жизни, легъ въ основаніе характеристикъ: Демона, Радина, Вадима и Измаила, а, позднѣе, еще рельефнѣе отразился на Арбенинѣ и Печоринѣ.

VII

ПЕРВЫЕ ГОДЫ ВЪ ПЕТЕРБУРГѢ

I.

Мы привыкли представлять себѣ Лермонтова не иначе, какъ въ военной формѣ; между тѣмъ, военную карьеру ему пришлось избрать случайно. Въ Петербургъ онъ пріѣхалъ съ желаніемъ продолжать свое университетское образованіе; но такъ какъ начальство университета не пожелало зачислить ему двухъ лѣтъ, проведенныхъ въ Москвѣ, то онъ долженъ былъ бы снова поступить на первый курсъ. Поэтому, Лермонтовъ, который, по природѣ своей, не любилъ никакихъ стѣсненій, а тѣмъ болѣе долговременныхъ, рѣшился сократить учебный срокъ ровно на половину и поступилъ въ училище „гвардейскихъ подпрапорщиковъ", гдѣ окончилъ курсъ черезъ два года. Такимъ образомъ, выборъ карьеры былъ сдѣланъ, къ неудовольствію родственниковъ и къ немалому удивленію самого поэта. „До сихъ поръ,— пишетъ Лермонтовъ въ письмѣ къ М. Лопухиной 1832 года,— я жилъ для поприща литературнаго, принесъ столько жертвъ своему неблагодарному идолу, и вотъ теперь я — воинъ. Быть можетъ, тутъ есть особенная воля Провидѣнія; быть можетъ, этотъ путь всего короче, и если онъ не ведетъ меня къ моей первой цѣли, можетъ быть по немъ дойду до послѣдней цѣли всего существующаго: вѣдь лучше умереть съ пулею въ груди, чѣмъ отъ медленнаго истощенія старости"...

Странное взвѣшиваніе выгодъ карьеры съ точки зрѣнія возможной близости конечнаго исхода! Эта грустно-ироническая нота звучитъ во всѣхъ письмахъ Лермонтова, гдѣ

онъ говоритъ о своей военной жизни. Онъ рѣшительно не имѣлъ къ ней любви, и даже потомъ, когда сталъ офицеромъ, нерѣдко помышлялъ объ отставкѣ. Въ этомъ недовольствѣ своей судьбой были виноваты, отчасти, условія тогдашней военной жизни и, частью, сама природа поэта, которая заставляла его жадно набрасываться на все новое и отъ неумѣреннаго пользованія имъ также быстро разочаровываться.

Жизнь въ училищѣ гвардейскихъ подпрапорщиковъ, безспорно, не давала уму никакой пищи, а тѣмъ болѣе такому пытливому и широкому уму, какимъ былъ надѣленъ Лермонтовъ. Если образованіе, вообще, въ то время подвергалось у насъ всевозможнымъ ограниченіямъ, то военное почти сводилось къ упраздненію всякаго образованія, за исключеніемъ чисто спеціальнаго. Строгость внѣшней дисциплины должна была ограничивать не только тѣлесную разнузданность, но и всякое духовное проявленіе. И, какъ нерѣдко бываетъ въ такихъ случаяхъ, дисциплина, дѣйствительно, стѣсняла всякое духовное развитіе, но, съ другой стороны, тѣлесной разнузданности предоставила полную свободу.

Заведеніе, въ которое поступилъ Лермонтовъ, было одно изъ самыхъ аристократическихъ: оно собирало въ своихъ стѣнахъ цвѣтъ тогдашней русской молодежи. Эта молодежь, обезпеченная и, въ то же время, стѣсненная, естественно искала всякаго рода развлеченій, и предавалась имъ настолько несдержанно, насколько принуждена была подчиняться строгой дисциплинѣ въ самомъ заведеніи. Въ этой погонѣ за развлеченіями, Лермонтовъ былъ не изъ послѣднихъ, если не изъ первыхъ. Одиночество и сосредоточенность въ дѣтствѣ и юности вызвали теперь естественную реакцію.

Но мы будемъ несправедливы къ поэту, если, на основаніи большинства написанныхъ имъ въ это время стихотвореній, скажемъ, что онъ всецѣло отдался этой жизни, лишенной всякаго духовнаго элемента. Поэта никогда не покидало сознаніе, что избранный имъ образъ жизни не достоинъ интеллигентнаго человѣка. Если въ его письмахъ

встрѣчаются, подчасъ, циническія тирады, по которымъ мы могли бы заключить, что смыслъ жизни для него утраченъ, то это лишь внѣшнее щегольство, бравурная поза. „Я право не знаю,—пишетъ онъ въ одномъ письмѣ того времени,—какимъ путемъ идти мнѣ, путемъ ли порока или пошлости. Оно, конечно, оба эти пути часто приводятъ къ той же цѣли. Знаю, что вы станете увѣщевать, постараетесь утѣшать меня—было бы напрасно! Я счастливѣе, чѣмъ когда-нибудь, веселѣе любаго пьяницы, распѣвающаго на улицѣ". Но за такими, конечно, преувеличенными признаніями слѣдуютъ, нерѣдко, въ тѣхъ же письмахъ горькія размышленія о своемъ духовномъ ничтожествѣ.

Лермонтовъ, вообще, не любилъ приносить въ чемъ-либо покаянія и открыто признаваться въ своихъ ошибкахъ; онъ дѣлалъ это очень рѣдко и всегда нѣсколько прикрашивалъ свои самообвиненія, чтобы и имъ придать тотъ оттѣнокъ демоничности, какой онъ придавалъ иногда своимъ ошибкамъ. Но, если въ письмахъ Лермонтова нѣтъ прямого раскаянія, то есть много косвенныхъ намековъ на тяготу, какую испытывалъ поэтъ въ условіяхъ новой для него жизни. Она, какъ обыкновенно, выражается у Лермонтова хорошо знакомыми намъ тирадами пессимистическаго и разочарованнаго характера. Но Лермонтовъ очень осторожно высказывается въ своихъ письмахъ; и, вѣроятно, еще осторожнѣе высказывался на словахъ. Поэтому, нѣтъ ничего удивительнаго въ томъ, что товарищи поэта, видѣвшіе одну лишь показную сторону его характера, просмотрѣли въ немъ другую сторону; и, участвуя вмѣстѣ съ нимъ въ развлеченіяхъ и удовольствіяхъ, увидали потомъ неискреннюю позу въ тѣхъ стихахъ, гдѣ поэтъ косвенно осуждалъ себя самого и образъ своей тогдашней жизни. Весельчакъ-юнкеръ былъ имъ понятенъ; но этотъ же самый весельчакъ, остроумный и живой, преображался, въ минуты уединенія, въ прежняго угрюмаго мечтателя, строгаго къ другимъ и къ себѣ самому. Лермонтовъ, въ обоихъ случаяхъ, былъ искренъ; по крайней мѣрѣ, мы не видимъ, чтобы онъ дѣлалъ какія-либо попытки измѣнить свою жизнь, согласно голосу своего трезваго сознанія. „Если бы

вы знали,—пишетъ онъ въ 1833 году,—какую жизнь я намѣренъ повести! О, это будетъ восхитительно: во-первыхъ, чудачества, шалости всякаго рода и поэзія, залитая шампанскимъ. Увы! пора моихъ мечтаній миновала; нѣтъ больше вѣры: мнѣ нужны чувственныя наслажденія, счастье осязательное, такое счастье, которое покупается золотомъ, чтобы я могъ носить его съ собой въ карманѣ, какъ табакерку, чтобы оно только обольщало мои чувства, оставляя въ покоѣ и бездѣйствіи мою душу!"... Какъ ясно слышится въ послѣднихъ словахъ боязнь передъ собственной совѣстью! Дурманъ чувствъ призывается на помощь, какъ единственное средство заглушить сомнѣнія сердца.

Поэтъ, дѣйствительно, увѣровалъ на нѣкоторое время въ цѣлебную силу этого дурмана, и предался ему со всею страстностью своего характера. Мы не будемъ повторять общеизвѣстныхъ анекдотовъ о веселой юнкерской и офицерской жизни Лермонтова; они, къ сожалѣнію, слишкомъ живы въ памяти у всѣхъ также, какъ и относящіеся къ этому періоду стихи легкаго содержанія. Если произносить окончательное сужденіе надъ этимъ періодомъ въ развитіи Лермонтова, то надо воздержаться отъ слишкомъ рѣзкихъ осужденій. Многія несимпатичныя черты характера у нашего поэта приписывали часто привычкамъ, пріобрѣтеннымъ въ этомъ юнкерскомъ кругу. Это справедливо только отчасти. Самой несимпатичной чертой въ Лермонтовѣ была его презрительная холодность, но разгульная жизнь скорѣе умѣряла, чѣмъ развивала ее; несимпатична была также въ Лермонтовѣ его отчужденность; и она не мало должна была дѣлать уступокъ за этотъ періодъ. Жаль только, что она дѣлала эти уступки обществу, мало ихъ заслуживавшему, такъ какъ умственный и нравственный кругозоръ тогдашняго лермонтовскаго кружка былъ крайне узокъ.

Юнкерскіе годы прошли совсѣмъ безплодно для умственнаго развитія Лермонтова, какъ мы убѣдимся ниже, при разборѣ стихотвореній, относящихся къ этому періоду. Годы эти вызвали временной застой въ его творчествѣ, но однако не повредили ни его таланту, ни его уму. Равнымъ образомъ, они были не такъ вредны для развитія характера нашего

поэта, какъ обыкновенно принято думать. Помимо того, что нѣкоторыя некрасивыя стороны въ характерѣ Лермонтова должны были смягчиться, какъ мы указывали выше,—вся его природа, вообще, требовала на время безграничной свободы въ проявленіяхъ всѣхъ ея сторонъ, хотя бы и некрасивыхъ. Мы знаемъ, какъ замкнуто и одиноко протекли для Лермонтова дѣтство и юность, какъ умственная жизнь и мечты подавили въ немъ всѣ другія потребности его природы. Теперь настала ихъ очередь, и они вступили въ свои права; новыя чувства поэта прорывались наружу съ особенной силой, пока не выкипѣли, и когда наступилъ этотъ моментъ, то отъ всей разгульной и разнузданной жизни не осталось и слѣда, кромѣ вольныхъ стиховъ и, можетъ быть, лишнихъ непріятныхъ воспоминаній. Лермонтовъ былъ слишкомъ благородной натурой, чтобы сохранить на себѣ слѣды грязи, въ которую ему пришлось погрузиться.

Нѣтъ ничего легче, какъ представить себѣ Лермонтова несчастнымъ страдальцемъ, заброшеннымъ въ кружокъ лицъ грубыхъ и необразованныхъ. Такое представленіе можетъ дать богатый матеріалъ для разныхъ краснорѣчивыхъ обличеній, но оно будетъ невѣрно. Страдальцемъ въ своемъ юнкерскомъ кружкѣ Лермонтовъ никогда не былъ, но отдавался его увлеченіямъ также охотно, какъ потомъ самъ же строго критиковалъ его. Знакомый намъ процессъ провѣрки ощущеній и чувствъ разсудочнымъ анализомъ повторился и въ этотъ періодъ, что, однако, не мѣшало поэту вести подчасъ веселую жизнь. Умъ его, за недостаткомъ новыхъ серьезныхъ притоковъ мысли, либо отдыхалъ, либо повторялъ старое, а чувства кипѣли и выкипали, сближая поэта съ жизнью, грязня на время его воображеніе и душу, но дѣлая и его поэзію, и его самого болѣе способнымъ къ примиренію съ дѣйствительностью. Умный и сильный человѣкъ, знакомясь съ самыми нечистыми закоулками жизни, можетъ воспользоваться ими въ свою выгоду, какъ умный зритель правдивымъ изображеніемъ порока въ книгѣ или на сценѣ. Но одно не подлежитъ сомнѣнію,—тогдашній кружокъ поэта, въ умственномъ отношеніи, не могъ дать ему никакой пищи.

II.

Несравненно вреднѣе, чѣмъ время юнкерства, отразились на Лермонтовѣ его первые офицерскіе годы, когда онъ вступилъ или хотѣлъ вступить „въ свѣтъ“.

Если какое общество, больше всего, поддерживало въ поэтѣ несимпатичныя стороны его характера, то это было свѣтское общество. Мы не хотимъ писать противъ него обвинительной рѣчи, такъ какъ она была часто повторяема, но должны сказать, что въ этомъ обществѣ было нѣсколько усвоенныхъ имъ привычекъ, которыя могли крайне вредно вліять на человѣка, не выросшаго въ немъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, одержимаго ненасытнымъ желаніемъ занять въ немъ видное мѣсто. Для Лермонтова свѣтское общество было приманкой, несмотря на то, что и въ этомъ вопросѣ трезвая критика никогда не покидала поэта, и лучшая обвинительная рѣчь противъ этого круга была имъ же написана.

Что влекло Лермонтова въ это общество? Прежде всего—фамильныя традиціи, такъ какъ родъ Лермонтовыхъ былъ родъ дворянскій и притомъ болѣе древній, чѣмъ многіе другіе, а затѣмъ—блескъ и роскошь, на которые Лермонтовъ, какъ поэтъ, былъ, конечно, падокъ. Обаятельно дѣйствовали при этомъ на него извѣстная тонкость и деликатность, въ сущности, не глубокихъ чувствъ, которыя составляютъ внѣшнюю принадлежность всякаго свѣтскаго этикета и легко могутъ быть приняты за истинное благородство. Его привлекало также желаніе играть роль, быть на виду, а это было возможно въ то время и всего легче въ кругу высшемъ. Къ нему принадлежали или вращались въ немъ всѣ тогдашніе корифеи литературы—Пушкинъ, Жуковскій, Гоголь, Соллогубъ, Одоевскій и др.

Такимъ образомъ, стремленіе Лермонтова попасть въ высшіе круги общества вполнѣ понятно и объяснимо. Понятно также и упорство этого гордаго человѣка, которому былъ оказанъ въ этомъ кругѣ холодный и непріятный пріемъ.

Такой пріемъ очень озлобилъ поэта. Въ своихъ письмахъ онъ говоритъ о свѣтскомъ кругѣ очень раздражительно: „Преглупое состояніе человѣка, — пишетъ онъ въ 1832 году,—когда онъ долженъ занимать себя, чтобы жить, какъ занимали нѣкогда придворные старыхъ королей, быть своимъ шутомъ! Какъ, послѣ этого, не презирать себя, не потерять довѣренность, которую имѣлъ въ душѣ своей? Одну добрую вещь скажу вамъ: наконецъ я догадался, что не гожусь для общества и теперь больше, чѣмъ когда-нибудь. Вчера я былъ въ одномъ домѣ, гдѣ просидѣлъ четыре часа и не сказалъ ни одного путнаго слова. У меня нѣтъ ключа отъ ихъ умовъ—быть можетъ, слава Богу!“.. „Видѣлъ я образчики здѣшняго общества,—пишетъ онъ въ другомъ письмѣ того же года,—дамъ очень любезныхъ, молодыхъ людей весьма воспитанныхъ; всѣ они вмѣстѣ производятъ на меня впечатлѣніе французскаго сада, очень тѣснаго и безъ затѣй, но въ которомъ съ перваго раза можно заблудиться, потому что хозяйскія ножницы уничтожили въ немъ всякое различіе между деревьями“...

Мы не видимъ необходимости приводить здѣсь дальнѣйшихъ ссылокъ, такъ какъ остроумныя сатиры на свѣтское общество встрѣчаются нерѣдко въ стихотвореніяхъ Лермонтова и ясно показываютъ намъ, что поэтъ очень критически относился къ тому миражу, который привлекалъ его своимъ внѣшнимъ блескомъ. Лермонтовъ, въ данномъ случаѣ, не составляетъ исключенія; большинство тогдашнихъ писателей не щадило того круга общества, въ которомъ вращалось. Вспомнимъ, напримѣръ, графа Соллогуба и князя Одоевскаго: и они, аристократы до мозга костей, не стремились скрывать недостатковъ своего общества, а тѣмъ болѣе не имѣлъ причинъ скрывать ихъ Лермонтовъ, который съ этимъ кругомъ находился иногда въ открытой распрѣ. Враждуя съ нимъ, поэтъ былъ къ нему безпощаденъ; жаль только, что, обнажая его недостатки, онъ не подмѣтилъ своихъ собственныхъ недостатковъ, развитыхъ въ немъ замашками этого общества.

Вредное вліяніе свѣтскаго общества сказалось, прежде всего, на томъ, что однѣ изъ непріятныхъ чертъ въ харак-

терѣ Лермонтова—его скрытность и неискренность въ обращеніи—нашли себѣ богатую пищу. Мы знаемъ, что и семейный кругъ, въ особенности женская его половина, еще раньше не допускала, въ своемъ обращеніи съ поэтомъ, полной сердечности и искренности. Влюбчивость Лермонтова ставила его постоянно въ натянутое и неестественное положеніе къ его молодымъ подругамъ; а теперь, въ свѣтскомъ кружкѣ, заставила его быть еще болѣе неискреннимъ въ словахъ и поступкахъ. Для натуры горячей и, вдобавокъ, поэтической, такая сдержанность, обусловленная этикетомъ или хитростью, не могла быть полезна. Поэтъ или сбрасывалъ съ себя маску и своею рѣзкостью напрашивался на дуэли и непріятности, или замыкался въ себя, аффектировалъ презрѣніе и горделивое, безучастное отношеніе къ окружающимъ людямъ, и тогда становился жертвою своей обычной меланхоліи.

Общество, въ которомъ вращался Лермонтовъ, держало человѣка постоянно на-сторожѣ, а тѣмъ болѣе человѣка, который видимо старался завоевать себѣ въ немъ положеніе, не имѣя на это достаточныхъ и признанныхъ правъ. Презрительная холодность Печорина ведетъ свое начало изъ этой привычки становиться ко всѣмъ людямъ въ оборонительное положеніе, точно также, какъ его ядовитая насмѣшка коренится въ томъ чувствѣ самоудовлетворенія, какое испытываетъ сильный человѣкъ, поднимая на смѣхъ людей слабыхъ, обязанныхъ своимъ привиллегированнымъ положеніемъ случаю.

Ни холодность, ни насмѣшка не могутъ вселить мира въ человѣческую душу, и тотъ кажущійся покой самодовольства, какой они даютъ людямъ, проходитъ очень быстро и только дразнитъ человѣка. Умиротвореніе мыслимо только на почвѣ любви, той широкой любви къ человѣчеству, къ дѣлу, направленному на служеніе этому человѣчеству, къ себѣ самому, какъ существу, живущему согласно съ другими и для блага другихъ, и въ этой любви Лермонтовъ нуждался больше, чѣмъ въ чемъ-либо. Недаромъ одинъ изъ современныхъ критиковъ, г. Спасовичъ, высказалъ мнѣніе, что „можно удивляться Лермонтову, но *любить* его невозможно“. Въ этомъ

замѣчаніи есть извѣстная доля правды, и суровость его можетъ быть смягчена помимо другихъ обстоятельствъ, о которыхъ мы скажемъ ниже, еще тѣмъ соображеніемъ, что общество, въ которомъ жилъ поэтъ, не дало взойти въ немъ сѣменамъ любви. Эти сѣмена заглохли, подъ вреднымъ вліяніемъ обиженнаго самолюбія, презрительнаго отношенія къ людямъ, постояннаго дразненія нервовъ, желчности и того „раздраженія плѣнной мысли“, о которомъ поэтъ говоритъ въ одномъ изъ своихъ стихотвореній.

Мысль Лермонтова была, дѣйствительно, въ плѣну, несмотря на свою глубину и силу, и тюрьмой для нея былъ тотъ кругъ, въ которомъ вращался поэтъ. Кругъ отличался своей исключительностью; онъ неохотно приходилъ въ соприкосновеніе съ другими слоями общества, и, въ томъ числѣ, съ тѣми новыми литературными кружками, которые, мало-по-малу, начинали образовываться въ обѣихъ столицахъ. Самъ Лермонтовъ прошелъ мимо цѣлаго поколѣнія молодыхъ русскихъ писателей, не замѣтивъ и не разгадавъ ихъ.

Мы имѣемъ свѣдѣнія, что Лермонтовъ бесѣдовалъ съ Бѣлинскимъ, проказничалъ въ кабинетѣ Краевскаго, и читалъ, однажды, свои стихи въ кругу Аксаковыхъ. Повидимому, онъ былъ знакомъ съ молодымъ нарождавшимся литературнымъ поколѣніемъ своего времени, но это знакомство было мимолетное и никакихъ слѣдовъ на поэтѣ не оставило. Доказательствомъ можетъ служить его „Дума“, которую онъ никогда бы не написалъ, еслибы поближе присмотрѣлся къ своему поколѣнію, во всей его широтѣ, а не въ узкомъ, ему хорошо знакомомъ кругѣ.

Поэтъ избѣжалъ бы многихъ несчастій, еслибы во-время попалъ въ общество этого новаго литературнаго поколѣнія; онъ могъ попасть въ него еще въ Москвѣ, когда былъ въ университетѣ, но тогда, какъ мы видѣли, ему помѣшалъ весь складъ его семейной жизни. Затѣмъ онъ, вторично, могъ столкнуться съ этимъ обществомъ въ Петербургѣ, и мы имѣемъ право предполагать, что свѣтская жизнь помѣшала этому сближенію.

Обвинять всецѣло поэта въ этомъ отчужденіи было бы несправедливо въ виду его молодости, служебныхъ обя-

занностей и частыхъ отлучекъ; но несправедливо было бы также умолчать объ этомъ отчужденіи, которое краснорѣчиво подтверждается почти единогласнымъ молчаніемъ объ его личности всего молодого литературнаго поколѣнія того времени. Лермонтовъ, при всей своей жаждѣ дѣятельности, при безспорно гуманныхъ стремленіяхъ, оставался одинокимъ и не примкнулъ къ теченію молодой русской мысли, тихо и постепенно трудившейся надъ осуществленіемъ того же идеала, о которомъ смутно мечталъ нашъ поэтъ. Онъ шелъ совсѣмъ одинъ по пути примиренія съ жизнью, одинъ пытался рѣшить эту трудную задачу, боролся долго и упорно, безъ дружеской поддержки и дружескаго вліянія, и случайно умеръ, не отыскавъ ключа къ роковой загадкѣ. Среди русскихъ дѣятелей 30-хъ годовъ нынѣшняго столѣтія, Лермонтовъ занимаетъ видное, но совсѣмъ одинокое мѣсто.

Произведенія Лермонтова подтвердятъ высказанные нами взгляды на его жизнь въ юнкерской школѣ и въ свѣтскомъ обществѣ.

VIII

ЛИТЕРАТУРНАЯ ДѢЯТЕЛЬНОСТЬ ЛЕРМОНТОВА ДО 1837 ГОДА

I.

Мы въ правѣ ожидать, что новая обстановка и новыя лица дадутъ и новую пищу творчеству Лермонтова.

Мы знаемъ, что въ Петербургѣ его жизнь текла очень весело и шумно. Многіе изъ жизненныхъ вопросовъ, надъ которыми останавливалось его юношеское воображеніе, теперь предстали передъ нимъ въ ихъ реальной наготѣ, безъ романтическаго тумана, безъ преувеличенія въ сторону идеаловъ, но и безъ пессимистическаго искаженія. Теперь поэтъ имѣлъ друзей, судя по долговременной прочности ихъ отношеній; бывалъ часто влюбленъ и пользовался извѣстной взаимностью, судя по воспоминаніямъ заинтересованныхъ лицъ и, какъ можно видѣть по оставшимся стихотвореніямъ, неудобнымъ къ печати, велъ жизнь очень веселую и проказничалъ.

Лермонтовъ, кромѣ того, сталъ теперь болѣе увѣренъ въ своихъ силахъ и гордился собою чаще, чѣмъ прежде. Очевидно, успѣхъ и признаніе его таланта, хотя бы со стороны узкаго кружка товарищей, оказали вліяніе на его самолюбивую натуру.

Литературное развитіе поэта шло, однако, за это время очень медленно. Если принять во вниманіе, какъ богаты мыслями и чувствами самыя разнообразныя темы, доконченныя и недоконченныя, надъ которыми работалъ Лермонтовъ въ періодъ отъ 1830 по 32 годъ, то крупныя произведенія его петербургской жизни до 1837 года покажутся весьма бѣдными по качеству, хотя, по количеству, будутъ также многочисленны, какъ и прежде. Въ первые четыре года его жизни

въ Петербургѣ, не считая нѣкоторыхъ дѣйствительно художественныхъ лирическихъ произведеній, имъ были написаны: поэма „Хаджи-Абрекъ“, недоконченная поэма „Сашка“, драма „Маскарадъ“ и поэма „Бояринъ Орша“; кромѣ того, нѣсколько юмористическихъ поэмъ и первый набросокъ „Героя нашего времени“ — „Княгиня Лиговская“. Изъ всѣхъ этихъ произведеній только въ „Маскарадѣ“ и въ повѣсти „Княгиня Лиговская“ замѣтны попытки автора вступить на новую дорогу и подвергнуть старые вопросы новому и болѣе подробному пересмотру. Что касается другихъ, то они—повторепіе старыхъ мотивовъ, хотя и въ новой формѣ. „Хаджи-Абрекъ“—легенда, разсказанная картинно, но безъ какой-либо самостоятельной мысли самого автора, блестящій стилистическій опытъ, по замѣчательной отдѣлкѣ стиха, но стоящій и въ этомъ отношеніи значительно ниже „Измаилъ-Бея“.

„Сашка“—поэма въ легкомъ стилѣ, но въ стихахъ довольно тяжелыхъ—произведеніе неоконченное и, вдобавокъ, растянутое, но интересное по своему реализму, по сочетанію эпоса житейской прозы съ сердечной лирикой самого автора, которая прорывается очень часто, среди эпическаго разсказа. Форма поэмы заимствована очевидно у „Донъ-Жуана“ Байрона.

„Донъ-Жуанъ“ былъ блистательнымъ примѣромъ, показавшимъ, сколько истинной поэзіи кроется иногда въ самыхъ прозаическихъ сплетеніяхъ жизни; по за „Сашкой“ нѣтъ этого художественнаго достоинства.

Байронъ, какъ извѣстно, вступилъ съ „Донъ-Жуаномъ“ на совершенно новую дорогу творчества. Его сатирическая поэма была житейской философской картиной, которую онъ противупоставилъ своимъ прежнимъ легендарнымъ и чисто субъективнымъ поэмамъ. „Донъ-Жуанъ“, помимо своего значенія какъ общественной сатиры, былъ протестомъ здраваго разсудка противъ поэтической экзальтаціи. Вотъ почему въ немъ преданы осмѣянію почти всѣ тѣ героическіе душевные порывы, на которыхъ Байронъ любилъ строить свои поэмы. Любовь, жажда славы, туманныя стремленія къ неопредѣленной цѣли, наконецъ, жажда приключеній,

которая была такъ сильна въ самомъ авторѣ — все вывороченно на изнанку и нарисовано такъ, какъ это обыкновенно случается въ жизни, безъ романтическихъ костюмовъ, безъ театральныхъ румянъ и бѣлилъ. Такимъ образомъ, въ поэмѣ отведено не мало мѣста и житейскому цинизму, который обрисованъ какъ характерная черта нашей жизни, какъ ядовитая насмѣшка, какой сама жизнь можетъ отвѣтить на безпредметные и слишкомъ идеализированные порывы отчаянныхъ романтиковъ. Вотъ почему этотъ цинизмъ пасъ и не оскорбляетъ. За нимъ остается значеніе не случайной прихоти автора, но естественнаго вывода, сдѣланнаго наблюдательнымъ человѣкомъ изъ жизненнаго опыта. Это цинизмъ философскій, цинизмъ Бокаччіо и Альфреда Мюссе. Какъ сказки Бокаччіо были протестомъ живой натуры противъ спиритуалистической исключительности среднихъ вѣковъ, такъ и поэмы Мюссе были оговоркой поэта, направленной противъ ригоризма сантиментально-нравственнаго направленія Шатобріана и Ламартина, т.-е. противъ узкости поэтическаго міросозерцанія. Но никто не станетъ равнять ни „Донъ-Жуана“, ни „Декемерона“ съ романомъ о Фобласѣ или романомъ маркиза де-Сада.

Поэма Лермонтова: „Сашка“, несмотря на свое кровное родство съ мотивами Байрона и Мюссе, сохранила съ ними лишь слабое родство по духу.

Она служитъ предвѣстникомъ цѣлаго ряда литературныхъ опытовъ Лермонтова въ легкомъ, сатирико-циническомъ родѣ. Годы 1834—36 особенно богаты произведеніями въ этомъ стилѣ. За „Петергофскимъ праздникомъ“ и „Уланшей“ слѣдуютъ „Монго“ и „Казначейша“, а въ промежутки между этими произведеніями падаетъ вся та масса мелкихъ стиховъ, писанныхъ въ юнкерской школѣ, которая, къ счастью, еще не обнародована. „Сашка“—первый опытъ такой легкой поэзіи.

Касаясь этихъ поэмъ и стиховъ, мы далеки отъ всякаго обвиненія. Было бы несправедливо обвинять человѣка за то, что одна сторона его жизни обогатилась новой опытностью, что онъ отдался новымъ ощущеніямъ со всею пылкостью неопытнаго и раздразненнаго сердца. Мы думаемъ даже,

что соприкосновеніе поэта съ этой „пьяной“ стороной жизни принесло свою пользу въ дѣлѣ примиренія его съ жизнью. Грязь къ Лермонтову не прилипла, а опытность его расширилась; укрѣпилась также и увѣренность въ необходимости найти и въ жизни, и въ творчествѣ нѣчто среднее между прежними розовыми мечтами и грязной тиной; но если оставить въ сторонѣ самого Лермонтова и посмотрѣть на эту „легкую“ поэзію съ историко-литературной точки зрѣнія, то она не представитъ почти никакого интереса.

Поэма „Сашка“ имѣетъ конечно извѣстную цѣну, какъ картина нѣкоторыхъ сторонъ студенческой и помѣщичьей жизни. Что же касается рѣшенія главной задачи, т.-е. психологіи самого героя, то, въ виду отрывочности поэмы, эта задача осталась нерѣшенной, а то, что̀ дано для ея рѣшенія, не идетъ дальше двухъ-трехъ психологически-вѣрныхъ, но давно намъ знакомыхъ страницъ. Остальное наполнено тѣми циничными сценами, въ которыхъ читателю трудно найти какую-либо пищу своему уму и фантазіи. Новизна этихъ сторонъ жизни увлекла Лермонтова и заставила его тѣшиться ихъ изображеніемъ. Свѣжесть новыхъ впечатлѣній оставила, однако, свой слѣдъ на этой игривой поэмѣ, въ которой никто не станетъ отрицать ни юмора, ни забавной завязки.

Но мы должны признаться, что, несмотря на всѣ оговорки, творчество этого рода не можетъ считаться завиднымъ пріобрѣтеніемъ для русской литературы. Это была оргія, которая нарушила на нѣсколько мгновеній обычное теченіе мыслей нашего поэта, взяла у него не мало силъ и времени, окупивъ эту потерю цѣной, сравнительно, невысокой. Лермонтовъ былъ еще очень молодъ, чтобы изъ пошлости и грязи вылѣпить художественное произведеніе, какъ это позднѣе было сдѣлано Гоголемъ. Онъ слишкомъ субъективно отнесся къ этимъ сторонамъ жизни и самъ былъ въ нихъ скорѣе участникомъ, чѣмъ наблюдателемъ.

II.

Прежняго Лермонтова, какимъ мы знавали его до петербургской жизни, мы встрѣчаемъ снова въ поэмѣ „Бояринъ

Орша". Эта поэма не даетъ почти ничего новаго для личной характеристики поэта и для его литературнаго творчества. Она—повтореніе стараго, отзвукъ уже прожитаго. Задумана она была, по всѣмъ вѣроятіямъ, еще въ дѣтскіе годы; затѣмъ была развита подъ вліяніемъ Байрона, по крайней мѣрѣ, въ томъ, что̀ касается внѣшней сценировки, наконецъ, болѣе удачныя мѣста были перенесены самимъ авторомъ въ позднѣйшую изъ его поэмъ, въ „Мцыри".

Фабула „Боярина Орши", несмотря на колоритъ русской народной жизни, не имѣетъ въ себѣ ничего русскаго; она скорѣе турецкая, въ стилѣ Байрона. Старый бояринъ, его дочь, его совѣтникъ, описаніе за́мка и сцены битвы—все напоминаетъ то „Абидосскую невѣсту", то „Гяура".

Съ главнымъ героемъ повѣсти, съ Арсеніемъ, мы тоже давно знакомы. Мы встрѣтились съ нимъ еще въ „Исторической повѣсти", въ лицѣ Вадима. Правда, тогда герой былъ безобразенъ, а теперь красивъ, тогда онъ взаимностью не пользовался, а теперь онъ счастливый любовникъ; но, какъ тогда, такъ и теперь — онъ рабъ, крѣпостной человѣкъ жестокаго господина, и къ тому же съ дѣтства воспитанный въ монастырской обстановкѣ. Психологія раба, какъ мы уже имѣли случай замѣтить, очень интересовала Лермонтова и, въ концѣ концовъ, была блистательно описана имъ и развита въ поэмѣ „Мцыри". Мы не будемъ подробно разбирать здѣсь того круга идей и чувствъ, въ которомъ вращается Арсеній; всѣ самыя характерныя черты его природы намъ давно знакомы. Одна только черта или, вѣрнѣе, случайность, оттѣнена впервые Лермонтовымъ въ этой поэмѣ— это любо́вь раба къ дочери своего господина, мотивъ, очень избитый въ то время, который можно было встрѣтить и въ романахъ, и въ стихахъ, и на сценѣ. Этотъ мотивъ подавалъ очень легкій и удобный поводъ къ краснорѣчивымъ возгласамъ о святости и равноправности любви между лицами, разъединенными условіями жизни и общественнымъ положеніемъ. Лермонтовъ еще раньше коснулся этого драматическаго положенія въ исторической трагедіи „Испанцы" и повторилъ его въ „Боярине Оршѣ", чтобы больше къ нему не возвращаться.

III.

Оставляя пока въ сторонѣ „Маскарадъ“ и „Княгиню Лиговскую“, въ которыхъ, какъ мы увидимъ, Лермонтовъ сталъ развивать дальше излюбленный имъ типъ демоническаго героя, мы должны сказать, что въ общемъ литературная дѣятельность періода отъ 1832 по 1837 годъ была эпохой переходной въ творчествѣ поэта.

Такіе періоды бываютъ въ жизни каждаго поэта. Усталость ума и воображенія,—результатъ недавней, слишкомъ напряженной дѣятельности,—заставляетъ поэта повторяться и не позволяетъ новымъ чувствамъ и мыслямъ выразиться вполнѣ ярко и опредѣленно. Поэтъ нуждается въ новомъ, внѣшнемъ или внутреннемъ, поводѣ, въ новомъ толчкѣ, такъ какъ старыя пружины творчества ослабѣли. Вотъ почему литературная дѣятельность Лермонтова въ первый періодъ его петербургской жизни носитъ такой блѣдный характеръ. Онъ повторяетъ старое въ „Хаджи-Абрекѣ“ и „Бояринѣ Оршѣ“, развиваетъ это старое дальше, но уже путемъ чисто разсудочнымъ, въ „Маскарадѣ“, и принимается за новое въ „Сашкѣ“ и „Княгинѣ Лиговской“, но не кончаетъ этихъ произведеній и останавливается на полдорогѣ. Кромѣ того, онъ тратитъ избытокъ силъ своихъ на легкія поэмы, на которыя, впрочемъ, самъ смотритъ какъ на шутку.

Поэтъ ощущалъ тягость этого переходнаго состоянія; онъ былъ очень недоволенъ собой и въ письмахъ часто жаловался на самого себя; но вмѣстѣ съ недовольствомъ въ немъ просыпалось по временамъ сознаніе своей силы, и старыя мечты о великомъ призваніи начинали вновь сильно его тревожить. Разгульная и пустая жизнь стала въ рѣзкое противорѣчіе съ минутами уединенія. Въ его душѣ началась вновь знакомая намъ борьба неотвязныхъ сомнѣній съ идеалами.

IV.

Это тяжелое состояніе отразилось на нѣкоторыхъ стихахъ поэта; читая ихъ, можно подумать, что никогда еще Лермонтовъ не находился въ такомъ отчаянномъ пессимистическомъ настроеніи, какъ въ это время *). Кромѣ того, сопоставляя эти стихи съ одновременными поэмами и стихами въ легкомъ стилѣ, можно подумать, что поэтъ или клеветалъ на себя въ стихахъ грустныхъ и былъ неискренъ въ стихахъ веселыхъ. Но онъ былъ искренъ и въ своемъ разгулѣ, и въ своей меланхоліи; проза и пошлость жизни перемѣшивались съ высокими думами, какъ эпическія строфы „Сашки“ съ лирическими вставками. Это былъ новый фазисъ въ борьбѣ юношескаго романтизма съ дѣйствительностью, жалобный вопль обманутыхъ, по очень неопредѣленныхъ мечтаній, вопль отъ души, но, конечно, нѣсколько преувеличенный.

Съ 1837 года пессимизмъ Лермонтова принимаетъ нѣсколько иную окраску. По своей силѣ и по своей безотрадности, онъ иногда достигаетъ степени еще болѣе высокой, чѣмъ въ первую эпоху петербургской жизни, но за то онъ встрѣчается въ стихахъ рѣже и имѣетъ за собой иную болѣе глубокую причину. Пессимизмъ послѣднихъ лѣтъ есть результатъ борьбы уже возмужавшаго писателя съ довольно ясно поставленными вопросами жизни, тогда какъ меланхолія, о которой мы до сихъ поръ говорили, пока еще нервное раздраженіе неудовлетвореннаго, слишкомъ неопытнаго мечтателя, раздраженіе законное въ своемъ основаніи, но нѣсколько раздутое, именно, въ виду малаго участія въ немъ зрѣлой и богатой опытомъ мысли.

Мы приведемъ нѣсколько образчиковъ міровоззрѣнія на-

---

*) There is a war, a chaos of the mind,
When all its elements convulsed—combined—
Lie dark and jarring with perturbed force,
And gnashing with impenitent Remorse.

Byron.

шего поэта за этотъ первый періодъ его петербургской жизни. Вотъ, напримѣръ, стихотвореніе, написанное въ 1833 году:

Когда надеждѣ недоступный,
Не смѣя плакать и любить,
Пороки юности преступной
Я мнилъ страданьемъ искупить,
Тогда молитвой безразсудной
Я долго небу докучалъ,
И вдругъ услышалъ голосъ чудный:
. . . . . .
«Смири страстей своихъ порывъ,
Будь какъ другіе хладнокровенъ,
Будь какъ другіе терпѣливъ.
Твое блаженство было ложно.
Ужель—мечты тебѣ такъ жаль?
Глупецъ! Гдѣ посохъ твой дорожный?
Возьми его, пускайся вдаль.
Пойдешь ли ты черезъ пустыню
Иль городъ пышный и большой,
Не обожай ничью святыню,
Нигдѣ пріютъ себѣ не строй!»
[Когда надеждѣ недоступный, 1833].

Итакъ, примиреніе съ жизнью возможно лишь при условіи полнаго отъ нея отчужденія. Хладнокровіе и полная безпристрастность, — вотъ единственныя лекарства противъ сердечныхъ мученій человѣка, одареннаго бо́льшей воспріимчивостью, чѣмъ обыкновенные люди.

Лермонтовъ имѣлъ право причислить себя именно къ такимъ особенно воспріимчивымъ натурамъ. Вотъ что онъ говорилъ въ поэмѣ „Сашка“, относя свои слова больше къ самому себѣ, чѣмъ къ своему герою:

Онъ былъ рожденъ подъ гибельной звѣздой,
Съ желаньями безбрежными какъ вѣчность.
Они такъ часто спорили съ душой
И отравили лучшихъ дней безпечность.
Они летали надъ его главой,
Какъ царская корона; но безъ власти
Вѣнецъ казался бременемъ, и страсти,
Впервые пробудясь, живымъ огнемъ
Прожгли алтарь свой, не найдя кругомъ

Достойной жертвы, и въ пустынѣ свѣта
На дружній зовъ не встрѣтилъ онъ отвѣта.
[Сашка, I, LXXII].

Душевное состояніе, отразившееся въ этомъ отрывкѣ, намъ хорошо знакомо изъ прежнихъ стихотвореній Лермонтова. Это все та же старая нерѣшенная задача о приноровленіи своихъ необузданныхъ страстей и мечтаній къ условіямъ прозаической дѣйствительности, задача сложная и допускающая, по мнѣнію поэта, только два рѣшенія: либо полное отчужденіе, либо месть и смѣхъ, т.-е. презрительное отношеніе къ той самой средѣ, которая для поэта должна быть предметомъ любви и самоотверженныхъ страданій. Поэтъ говоритъ:

Бывало,
Я прежде много плакалъ и слезами
Я жегъ бумагу. Дѣтскій глупый сонъ
Прошелъ давно, какъ тучка надъ степями;
Но пылкій духъ мой не былъ освѣженъ,
Въ немъ родилися бури, какъ въ пустынѣ,
Но скоро улеглись онѣ, и нынѣ
Осталось сердцу, вмѣсто слезъ, бурь тѣхъ
Одинъ лишь отзывъ—*звучный, горькій смѣхъ.*
Тамъ, гдѣ весной бѣлѣлъ потокъ игривый,
Лежатъ кремни—и блещутъ, но не живы!
[Сашка, I, LXIII].

Безъ волненій
Я выпилъ ядъ по каплѣ; ни одной
Не уронилъ; но люди не видали
Въ моемъ лицѣ ни страха, ни печали,
И говорили хладно: онъ привыкъ!
И съ той поры я облилъ свой языкъ
Тѣмъ самымъ ядомъ—и по праву *мести*
Сталъ унижать толпу подъ видомъ лести.
[Сашка, I, LXXXIV].

Мы не будемъ умножать этихъ выдержекъ: сходныхъ нашлось бы очень много и всѣ онѣ повторили бы то, что намъ уже извѣстно изъ характеристикъ Волина, Радина, Вадима и Измаила. Лермонтовъ находился еще подъ обаяніемъ этихъ образовъ и тщетно старался выйти изъ заколдованнаго круга чувствъ, въ которыхъ они вращались.

Мы указывали уже на то, какъ тягостно должно было быть для поэта ощущеніе своего духовнаго безсилія и разгульная погоня за новыми впечатлѣніями, которыя при всемъ ихъ изобиліи были такъ мелки, что могли дать пищу развѣ только поэмамъ въ родѣ „Уланши“ и „Казначейши“. Лермонтовъ былъ, дѣйствительно, очень разстроенъ въ это время, что̀, между прочимъ, подтверждается и его прекрасными переводами изъ Байрона [„Умирающій гладіаторъ“ и „Еврейская мелодія“ относятся къ этому періоду (1836 г.)].

Въ этомъ же году имъ написано стихотвореніе, которое очень ярко отражаетъ тогдашнее состояніе его духа:

Гляжу на будущность съ боязнью,
Гляжу на прошлое съ тоской,
И какъ преступникъ передъ-казнью,
Ищу кругомъ души родной!..
Придетъ ли вѣстникъ избавленья
Открыть мнѣ жизни назначенье,
Цѣль упованій и страстей,
Повѣдать, что̀ мнѣ Богъ готовилъ,
Зачѣмъ такъ горько прекословилъ
Надеждамъ юности моей?
[Гляжу на будущность съ боязнью, 1836].

Это стихотвореніе, столь искренно и просто написанное, мы можемъ признать за окончательный выводъ изъ всего предыдущаго. Этотъ выводъ—простой вопросъ измученнаго человѣка, отказавшагося дать рѣшеніе роковой жизненной загадки и ожидающаго смерти, какъ вѣстника избавленія. Поэтъ готовъ къ этой новой жизни; все въ немъ перекипѣло, и утомленіе перешло въ спокойствіе:

Землѣ я отдалъ дань земную
Любви, падеждъ, добра и зла.
Начать готовъ я жизнь другую...
Молчу и жду... Пора пришла...
[Гляжу на будущность съ боязнью, 1836].

Пора, дѣйствительно, пришла, но не въ томъ смыслѣ, какъ понималъ ее поэтъ; не замедлилъ представиться и случай, который напомнилъ поэту вновь объ его высокомъ призваніи и вызвалъ въ немъ новую творческую силу, не-

смотря на то, что онъ самъ, въ вышеозначенномъ стихотвореніи, говорилъ о своей душѣ:

Я въ мірѣ не оставлю брата;
И тьмой, и холодомъ объята
Душа усталая моя!
Какъ ранній плодъ, лишенный сока,
Она увяла въ буряхъ рока
Подъ знойнымъ солнцемъ бытія.
[Гляжу на будущность съ боязнью, 1836].

Но знойное солнце бытія только что-всходило для Лермонтова; утренніе туманы не успѣли еще разсѣяться, и предвѣщали очень жаркій и свѣтлый день.

V.

Прежде чѣмъ говорить объ этомъ разсвѣтѣ творчества Лермонтова, который начинается съ 1837 года, намъ нужно еще остановиться на послѣднемъ крупномъ произведеніи его юности,—на драмѣ „Маскарадъ“, которая и по замыслу, и по выполненію вполнѣ принадлежитъ этой бурной и тяжелой для нашего поэта эпохѣ.

Драма дошла до насъ въ двухъ редакціяхъ, существенно отличающихся одна отъ другой. Трудно сказать, однако, которая изъ нихъ лучше, т.-е. художественнѣе, правдоподобнѣе и живѣе написана. Намъ кажется, что обѣ редакціи совершенно равнаго достоинства, несмотря на различіе основныхъ характеровъ и основныхъ драматическихъ положеній. Одинъ этотъ фактъ, что одна и та же драма, въ весьма короткій срокъ, написана въ двухъ различныхъ редакціяхъ, показываетъ намъ, что это произведеніе было скорѣе плодомъ разсудочнаго творчества, чѣмъ сердечною исповѣдью, каковы, напримѣръ, первыя драмы поэта. По выполненію „Маскарадъ“ стоитъ безспорно выше всѣхъ предшествующихъ опытовъ въ этомъ родѣ: нѣтъ ни растянутости въ ходѣ дѣйствія, ни того обилія риторики, которая вредила юношескимъ драмамъ Лермонтова. Здѣсь нѣтъ и прежней крупной ошибки въ обрисовкѣ характеровъ: всѣ лица, и главныя, и второстепенныя, изобра-

жены въ „Маскарадѣ“ приблизительно съ одинаковой рельефностью, и тѣмъ спасена цѣльность впечатлѣнія, какое эта драма на насъ производитъ. Кромѣ того, сама форма стиха—не безъ подражанія Грибоѣдову, особенно въ краткихъ репликахъ и сентенціяхъ — придаетъ діалогу большую живость и избавляетъ всѣхъ дѣйствующихъ лицъ отъ излишнихъ разговоровъ. Стихъ для комедіи вообще самая удобная форма изложенія, именно, въ виду тѣхъ стѣсненій, какими она обставляетъ теченіе рѣчи. Всѣ эти преимущества „Маскарада“ дали этой драмѣ возможность встать на подмостки, хотя особымъ успѣхомъ она на сценѣ никогда не пользовалась; правда, она была поставлена въ годы (1859) не совсѣмъ благопріятные демоническому настроенію...

Сопоставимъ, прежде всего, обѣ редакціи „Маскарада“ и посмотримъ, что въ нихъ сходнаго и чѣмъ онѣ отличаются другъ отъ друга.

Канва обѣихъ редакцій осталась одна и та же: грязный міръ сплетенъ, прокутившихся игроковъ, безчестныхъ шуллеровъ, интригующихъ женщинъ,—вотъ тотъ міръ, въ которомъ вращаются главные герои драмы. Въ первой редакціи главныхъ дѣйствующихъ лицъ — *трое*, во второй *два*. Главное лицо Арбенинъ,—игрокъ и плутъ, но только образумившійся и нашедшій въ семейномъ счастьѣ еще нетронутый уголокъ, гдѣ можетъ прожить остатокъ дней своихъ спокойно и внѣшнимъ образомъ честно. Рядомъ съ нимъ, другое главное лицо драмы,—его жена; въ первой редакціи это—женщина нѣжная, любящая и кроткая; во второй она не лишена хитрости и лицемѣрія. Третье главное лицо—„Неизвѣстный“, фигура таинственная, не снимающая своей маски, одна изъ жертвъ Арбенина, преслѣдующая его и безжалостно ему отомстившая за свое прежнее униженіе.

Мы видимъ, такимъ образомъ, что мрачныя и грязныя стороны жизни, съ которыми авторъ недавно столкнулся, этотъ міръ игроковъ и кутилъ, нашелъ яркое отраженіе въ его новомъ литературномъ произведеніи. „Маскарадъ“, во всѣхъ своихъ *второстепенныхъ* герояхъ, произведеніе дѣйствительно „реальное“, безъ всякаго преувеличенія спи-

санное съ натуры. Въ обществѣ и теперь еще можно встрѣтить и Казариныхъ, и Шприховъ, и князей Звѣздичей. Что касается главныхъ героевъ, то, несмотря на живость, съ какой они обрисованы, они отзываются книгой. Желаніе рѣшить извѣстную нравственную задачу, а не желаніе изобразить житейское явленіе, руководило авторомъ, когда онъ взялся за эту тему, почему онъ и далъ намъ на выборъ двѣ развязки; психологическая задача, дѣйствительно, какъ мы сейчасъ увидимъ, допускала два рѣшенія.

Въ первой редакціи „Маскарада“ положеніе главнаго героя и его жены представляетъ нѣкоторое сходство съ драматической завязкой „Отелло“. Та же печальная случайность, которая подаетъ мужу поводъ подозрѣвать свою жену въ невѣрности, тогда какъ, на самомъ дѣлѣ, никто такъ искренно не любитъ его, какъ эта женщина. Тотъ же злодѣй, клеветникъ, подъ личиною дружбы, раздувающій въ своемъ пріятелѣ чувство ревности, наконецъ, тотъ же финалъ, съ легкой варіаціей. Арбенинъ убиваетъ свою жену, не вѣря ея клятвамъ, и когда убѣждается въ своей роковой ошибкѣ, то сходитъ съ ума.

Во второй редакціи этотъ финалъ совершенно измѣненъ авторомъ. Хотя виновность жены остается и здѣсь недоказанной, но изъ нѣкоторыхъ ея словъ читатель можетъ заключить, что въ душѣ ея все-таки не было той беззавѣтной любви къ мужу, которая дѣлаетъ героиню первой редакціи похожей на Дездемону. Въ одной сценѣ она даже открыто признается мужу въ своей, впрочемъ, минутной любви къ другому человѣку; тѣмъ не менѣе, кровавая развязка совершенно устранена авторомъ. Арбенинъ, убѣдившись въ томъ, что жена его обманула въ своихъ оправданіяхъ, изъ грознаго ревниваго мужа становится разсудительнымъ обличителемъ и послѣ пышнаго монолога на тему о женской невѣрности и мелочности женскаго характера навсегда покидаетъ свою жену, оставляя насъ въ полномъ невѣдѣніи относительно дальнѣйшей ея судьбы и своей собственной.

Вотъ самое характерное различіе двухъ редакцій „Маскарада“. Есть еще отличія въ частностяхъ: такъ, напримѣръ, личность „Неизвѣстнаго“ совсѣмъ исключена во второй ре-

дакціи, гдѣ введена новая личность Олиньки—типъ добродѣтельной дѣвушки, блѣдно обрисованный. „Неизвѣстный“ первой редакціи— личность полу-аллегорическая, таинственная, въ родѣ привидѣнія. Это чуть ли не совѣсть самого Арбенина, та совѣсть, которую онъ втопталъ въ грязь, довелъ до полнаго паденія въ годы своей юности и которая теперь мститъ ему за свои униженія и за свои страданія.

Прошлое Арбенина намъ также неизвѣстно, какъ и прошлое всѣхъ лермонтовскихъ героевъ. О немъ можно только догадываться. Мы не знаемъ, какимъ онъ былъ въ ранніе годы своей юности.

Но между Арбенинымъ и героями прежнихъ поэмъ Лермонтова есть однако существенная разница. Прежніе герои отличались въ молодости способностью увлекаться: Волинъ увлекался своими идеалистическими мечтами, Радинъ — любовью, Измаилъ—патріотизмомъ, Вадимъ—местью. У Арбенина не было никакого увлеченія. Единственныя чувства, о которыхъ онъ вспоминаетъ съ сожалѣніемъ, это разгулъ и рискъ своей честью, которымъ онъ отдавался въ юности. Для него въ юности не было ничего святого, даже не было любви, которая играетъ такую важную роль въ юности всѣхъ остальныхъ лермонтовскихъ героевъ:

Мнѣ ль быть супругомъ и отцомъ семейства?
Мнѣ ль, мнѣ ль, который испыталъ
Всѣ ужасы и сладости злодѣйства
И съ нимъ лицомъ къ лицу ни разу не дрожалъ.
Въ кругу обманщицъ милыхъ я напрасно
И глупо юность погубилъ,
Любимъ былъ часто нѣжно, страстно,
И ни одну изъ нихъ я не любилъ.
[Маскарадъ, 2-я редакція II, IX].

Арбенинъ въ зрѣлые годы полюбилъ только свою жену, но за то со всею страстью дикаго человѣка. Онъ, дѣйствительно, дикій человѣкъ, но не въ смыслѣ непосредственнаго дикаря, а дикаря цивилизованнаго, который способенъ на всѣ гадости, не по наивности, а по равнодушію и презрѣнію ко всему, что его окружаетъ. Еще въ юныхъ годахъ

...въ его груди ужъ крылся этотъ холодъ,
То адское презрѣнье ко всему,
Которымъ онъ гордится всюду!
[Маскарадъ, 2-я редакція I, ш].

Однако онъ самъ говоритъ о себѣ иначе:

Бывало, я искалъ могучею душой
Заботъ, трудовъ, глубокихъ ощущеній,
Въ страданіяхъ мой пробуждался геній
И весело боролся я съ судьбой,
И былъ я гордъ, и силенъ, и свободенъ,
На жизнь глядѣлъ какъ на игрушку я,
И въ злобѣ былъ я благороденъ,
И жалость не смѣшна казалася моя...
Но часъ пришелъ, и я упалъ—ничтожный
Безумецъ, безоруженъ противъ мукъ и зла.
Добро, какъ счастіе, мнѣ стало невозможно
И месть какъ жизнь мнѣ тяжела.
[Маскарадъ, 2-я редакція V, п].

Мы въ правѣ, однако, задать Арбенину вопросъ: что же онъ вынесъ изъ прежней своей жизни? Отвѣта на этотъ вопросъ мы не получимъ. Все, что мы знаемъ, сводится къ тому, что нашъ герой былъ игрокъ и кутила, но, конечно, не низкаго пошиба. Онъ былъ „звѣрь“ и настоящій „чортъ“, какъ его аттестуетъ одинъ изъ его пріятелей по игрѣ. „Неизвѣстный“, въ своемъ разсказѣ, рисуетъ его извергомъ, разсчетливымъ и холоднымъ мучителемъ, да и самъ Арбенинъ подчеркиваетъ, не стѣсняясь, если не свое звѣрство, то свой безграничный эгоизмъ:

Ни въ чемъ и никому я не былъ въ жизнь обязанъ,
И если я кому платилъ добромъ,
То все не потому, чтобъ былъ къ нему привязанъ,
А просто—видѣлъ пользу въ томъ.
[Маскарадъ, 2-я редакція I, п].

Итакъ, передъ нами какая-то загадочная личность, стоящая, впрочемъ, не совсѣмъ одиноко въ ряду другихъ лермонтовскихъ типовъ. Арбенинъ логически выведенъ изъ тѣхъ посылокъ, какія даны Лермонтовымъ въ предыдущихъ поэмахъ, повѣстяхъ и драмахъ. Мы видѣли, что Лермонтовъ постепенно разоча-

ровывалъ своихъ героевъ во всемъ: Волина—въ семьѣ, Арбенина [„Странный человѣкъ“]—въ семьѣ и дружбѣ, Радина —въ семьѣ, дружбѣ и любви; у Вадима онъ отнялъ свободу, у Измаила—родину и вѣру. Такимъ образомъ, типъ, который легъ въ основаніе всѣхъ этихъ разочарованныхъ и обманутыхъ людей, естественно, долженъ былъ дойти до тѣхъ степеней отрицанія всѣхъ чувствъ въ мірѣ, до какихъ дошелъ Арбенинъ, герой „Маскарада“. Онъ долженъ былъ выродиться въ самаго страшнаго и мстительнаго эгоиста, если, по природѣ своей, онъ не былъ добрымъ человѣкомъ.

Поставленный внѣ всякихъ духовныхъ связей съ обществомъ, человѣкъ съ бурными страстями, Арбенинъ долженъ былъ куда-нибудь приложить тотъ запасъ силъ физическихъ и духовныхъ, какими его одарила природа. Онъ долженъ былъ найти какое-нибудь поле дѣятельности и нашелъ его въ игрѣ, т.-е. въ постоянномъ рискѣ, который щекоталъ его нервы. Волненіе ему было необходимо и ему было все равно, гдѣ и при какихъ условіяхъ онъ могъ найти его. Но прошло и это время, о которомъ онъ самъ говоритъ:

Тѣ дни блаженные прошли!
Я вижу все насквозь, всѣ тонкости ихъ знаю,
И вотъ зачѣмъ я нынче не играю.
[Маскарадъ, 1-я редакція I, i].

Онъ могъ это сказать не только объ одной игрѣ.

Это состояніе душевнаго „безочарованія“ почти не поддается анализу—такъ оно туманно.

Какъ въ „Демонѣ“ Лермонтовъ создалъ аллегорическій типъ, такъ и въ „Маскарадѣ“ онъ незамѣтно для самого себя перешелъ за границы дѣйствительнаго міра и, вмѣсто живого образа, создалъ снова какой-то полу-символическій образъ; одѣлъ своего Демона въ модный фракъ и замѣнилъ сказочную обстановку игорнымъ домомъ и баломъ.

Желаній нѣтъ, надежды нѣтъ,
Я выброшенъ изъ круга жизни шумной,
Съ несносной памятью невозвратимыхъ лѣтъ,
Страдалецъ мрачный и безумный.
[Маскарадъ, 2-я редакція V, v].

Эти слова, сказанныя Арбенинымъ, могутъ быть съ одинаковымъ правомъ вложены въ уста и Демону. Въ своихъ желаніяхъ Арбенинъ также неопредѣленъ, какъ Демонъ. Злоба приводитъ его къ преступленію; дружба и любовь сведены либо къ разсчету, либо къ праздной забавѣ. Не осталось ни одного чувства, за которое этотъ человѣкъ могъ бы ухватиться, которое могло бы убѣдить его, что еще стоитъ жить на свѣтѣ,—настроеніе, совсѣмъ сходное съ настроеніемъ Демона до его встрѣчи съ Тамарой, но только еще менѣе правдоподобное, такъ какъ носитель его—человѣкъ, съ виду живой и реальный, а не безплотный духъ отрицанія.

У Арбенина есть и своя Тамара: его, какъ и Демона, обновила любовь, такая же страстная, хотя болѣе глубокая; любовь эта также гибельна, какъ и любовь отверженнаго духа. Въ первой редакціи „Маскарада“ жену Арбенина постигаетъ участь Тамары; во второй—участь Демона раздѣляетъ самъ Арбенинъ.

Нѣкоторыя выписки покажутъ намъ, какъ близко любовь Арбенина граничитъ съ тѣмъ чувствомъ, какое было у Демона къ Тамарѣ. Онъ говоритъ о самомъ себѣ:

Я въ душу мертвую свою
Взглянулъ—и увидалъ, что я ее люблю,
И стыдно молвить... ужаснулся!
И снова ревность, бѣшенство, любовь
Въ пустой груди бушуютъ на просторѣ;
Изломанный челнокъ, я снова брошенъ въ море!
Вернусь ли къ пристани я вновь!

[Маскарадъ, 2-я редакція, II, посл. явленіе].

Скоро черствая кора
Съ моей души слетѣла—міръ прекрасный
Моимъ глазамъ открылся не напрасно,
И я воскресъ для жизни и добра.

[Маскарадъ, 1-я редакція I, ш].

Въ этой любви заключено все эгоистическое счастіе Арбенина. Съ ея исчезновеніемъ исчезаетъ и послѣдняя нить, привязывавшая этого человѣка къ жизни. Лермонтовъ, вѣрный своей привычкѣ отнимать у своихъ героевъ одно за другимъ всѣ чувства, за которыя душа цѣпляется въ борьбѣ съ жизнью, отнялъ у Арбенина и эту любовь. Въ первой редакціи „Маска-

рада“ герой, какъ Отелло, самъ виноватъ въ роковой развязкѣ; во второй редакціи сама жена подаетъ ему легкій поводъ къ ревности. Въ обоихъ случаяхъ миръ его души нарушенъ.

Разрѣшить эту семейную драму авторъ, какъ мы сказали выше, могъ двояко. Онъ могъ оттѣнить либо мстительную черту въ характерѣ Арбенина, либо другую сторону, не менѣе сильную, его презрѣніе къ людямъ. Лермонтовъ такъ и сдѣлалъ: сначала онъ заставилъ Арбенина убить свою жену и сойти съ ума, но, недовольный этимъ рѣшеніемъ, намекавшимъ на извѣстную слабость въ характерѣ героя, онъ передѣлалъ драму—заставилъ Арбенина пережить и этотъ ударъ, съ презрѣніемъ взглянуть на свою жену и навѣки удалиться. Куда? это неизвѣстно. Авторъ оставляетъ насъ въ полномъ невѣдѣніи относительно дальнѣйшей судьбы своего героя, какъ онъ оставилъ прежде, относительно судьбы Демона. И молодость Арбенина, и его старость остались для насъ тайной: онъ промелькнулъ, какъ видѣніе, какъ Демонъ.

Лермонтовъ, создавая типъ Арбенина, не имѣлъ, однако, въ виду символа и хотѣлъ, кажется, нарисовать образъ живого и современнаго человѣка. По крайней мѣрѣ, въ одномъ мѣстѣ, маска, устами самого Лермонтова, говоритъ Арбенину:

Ты! безхарактерный, безнравственный, безбожный,
Самолюбивый, злой, но слабый человѣкъ;
Въ тебѣ одномъ весь отразился вѣкъ,
Вѣкъ нынѣшній блестящій, но ничтожный.
Наполнить хочешь жизнь, а бѣгаешь страстей;
Все хочешь ты имѣть, а жертвовать не знаешь;
Людей безъ гордости и сердца презираешь,
А самъ игрушка тѣхъ людей.
[Маскарадъ, 1-я редакція I, 1).

Но угрюмый герой „Маскарада“ совсѣмъ не соотвѣтствуетъ этой характеристикѣ. Арбенинъ человѣкъ не безхарактерный, не слабый и не ничтожный; страстей онъ не бѣгаетъ, презираетъ всѣхъ и ничьей игрушкой никогда не былъ. Вѣкъ въ немъ не отразился, отразился только самъ Лермонтовъ съ его тогдашнимъ озлобленнымъ и тяжелымъ состояніемъ духа, съ его творческой усталостью. Въ самомъ

дѣлѣ, не есть ли Арбенинъ, въ извѣстномъ смыслѣ, повтореніе Демона?

Въ рѣшеніи великаго вопроса о примиреніи идеаловъ съ жизнью Лермонтовъ очевидно вернулся къ тому, съ чего началъ. Мы видѣли, какъ Лермонтовъ, не будучи въ силахъ помирить свои желанія и мечты съ дѣйствительностью, —часто дѣлалъ слишкомъ поспѣшный и слишкомъ грустный выводъ изъ своего малаго житейскаго опыта. Мы встрѣчались уже съ этимъ эгоистичнымъ и пессимистическимъ выводомъ въ дѣтскихъ и юношескихъ произведеніяхъ поэта. Въ лицѣ Арбенина, героя „Маскарада", этотъ выводъ является теперь передъ нами, какъ итогъ цѣлаго новаго періода жизни поэта въ Петербургѣ. Основываясь на этомъ новомъ типѣ разочарованнаго, отчужденнаго отъ всѣхъ и эгоистичнаго человѣка, мы можемъ сказать, что цѣлые четыре года жизни (1832—1836) прошли для Лермонтова почти безплодно, не давши его чувствамъ и мыслямъ никакого новаго направленія.

VI.

Типъ Арбенина долженъ былъ показать Лермонтову, что идти дальше въ этомъ направленіи некуда, что, несмотря на реальную обстановку, какой поэтъ началъ окружать своего героя, самъ герой сталъ кристаллизоваться и застывать въ символическихъ очертаніяхъ. Весь запасъ душевныхъ движеній героя былъ исчерпанъ, и нужно было заставить играть новую струну его сердца, чтобы спасти его рѣчи и поступки отъ безполезныхъ повтореній и скучнаго однообразія. Лермонтовъ сознавалъ это, но вмѣстѣ съ тѣмъ ощущалъ самъ, что въ немъ самомъ нѣтъ необходимаго новаго чувства, которое могло бы вырвать у него и новое слово. Это гнетущее сознаніе отразилось, какъ мы уже видѣли, въ мрачномъ пессимизмѣ его лирическихъ стиховъ, написанныхъ въ это время.

До сихъ поръ герои Лермонтова гнались, въ большинствѣ случаевъ, за своимъ личнымъ счастьемъ и оплакивали, и презирали міръ за свои иногда необходимые обманы и раз-

очарованія. Они были слишкомъ большими эгоистами въ своемъ міровоззрѣніи; міръ исчезалъ для нихъ передъ ихъ собственными страданіями. Имъ нужно было теперь стать выше этого эгоизма, побороть въ себѣ слишкомъ большую склонность къ мечтѣ, умѣрить нервныя вспышки гнѣва и скорби и прійти къ сознанію, что человѣкъ, стоящій выше другихъ, стоитъ все-таки среди другихъ и ради нихъ.

Чтобы его герои могли стать на эту точку зрѣнія, необходимо было самому Лермонтову расширить свою любовь на ближнихъ и не только на тѣхъ, которые были съ нимъ согласны, но также и на такихъ, съ которыми онъ, въ силу этой же любви, долженъ былъ бороться.

Слова гнѣва и презрѣнія безсильны, если за ними не слѣдуютъ слова любви. Но чтобы возвыситься до этой любви, поэту нужно было пережить и побороть въ себѣ этотъ наплывъ безпринципнаго пессимизма и вновь задуматься надъ старыми вопросами, которые его вызвали. Лермонтовъ переживалъ этотъ нравственный кризисъ медленно, и смерть помѣшала ему вполнѣ выяснить себѣ вопросъ о собственномъ назначеніи и призваніи, но кончина Пушкина заставила поэта подойти къ этому вопросу ближе и подвергнуть его новому пересмотру.

IX

ПОСЛѢДНІЕ ГОДЫ

I.

Стихотвореніе, написанное Лермонтовымъ на смерть Пушкина, было такою же неожиданностью, какъ и несчастіе, постигшее Россію 29-го января 1837 года.

До сихъ поръ во всѣхъ своихъ произведеніяхъ Лермонтовъ былъ почти исключительно занятъ самимъ собою. Все вниманіе его было поглощено его собственной личностью, а въ послѣднее время, т.-е. отъ 1832 по 37 годъ, и эта тема какъ будто отступила на задній планъ. Поэтъ велъ разсѣянную жизнь, расходовалъ свой талантъ на мелочи среди военныхъ и свѣтскихъ развлеченій, и только въ минуты отрезвленія возвращался къ своему любимому герою, въ лицѣ котораго казнилъ собственные свои недостатки. Смерть Пушкина пробудила Лермонтова изъ этого усыпленія и онъ отозвался на народное горе съ такой искренностью и силой, что даже хорошо знавшіе его люди не хотѣли повѣрить искренности его гнѣва и не понимали его раздраженія. Нервное напряженіе поэта было такъ сильно, что онъ слегъ въ постель, а какъ сильно было его негодованіе, знаетъ каждый, кто хотя одинъ разъ прочелъ знаменитое стихотвореніе. Мы напомнимъ читателю конецъ этого стихотворенія, гдѣ съ особенной силой сказалось раздраженіе Лермонтова:

А вы, надменные потомки
Извѣстной подлостью прославленныхъ отцовъ,
Пятою рабскою поправшіе обломки
Игрою счастія обиженныхъ родовъ!

Вы, жадною толпой стоящіе у трона,
Свободы, генія и славы палачи!
Таитесь вы подъ сѣнію закона,
Предъ вами судъ и правда—все молчи!
Но есть и Божій судъ, наперсники разврата,
Есть грозный судія, онъ ждетъ,
Онъ недоступенъ звону злата,
И мысли и дѣла онъ знаетъ наперед.
Тогда напрасно вы прибѣгнете къ злословью:
Оно вамъ не поможетъ вновь,
И вы не смоете всей вашей черной кровью
Поэта праведную кровь!
[На смерть Пушкина, 1837].

Но что связывало Лермонтова съ Пушкинымъ? Мы знаемъ, что Лермонтовъ вообще стоялъ далеко отъ литературныхъ лагерей, что близкихъ отношеній съ Пушкинымъ у него не было, что, наконецъ, и въ поэзіи онъ не могъ назваться его ученикомъ, такъ какъ, за исключеніемъ самаго ранняго періода, въ поэзіи Лермонтова нѣтъ пушкинскихъ звуковъ. Скорбь Гоголя, Жуковскаго и другихъ друзей Пушкина вполнѣ понятна, но скорбь Лермонтова требуетъ объясненія. Лермонтовъ имѣлъ не мало причинъ такъ печалиться и, въ особенности, такъ сердиться. Стихи „На смерть Пушкина“, дѣйствительно, скорѣе пѣсня гнѣва, чѣмъ печали.

Пушкинъ умеръ жертвой великосвѣтскихъ интригъ и обиженнаго самолюбія, жертвой того самаго „свѣта“, который такъ привлекалъ Лермонтова и, вмѣстѣ съ тѣмъ, такъ часто сердилъ его своей холодностью. Поэтъ раздѣлялъ дворянскіе взгляды Пушкина и не любилъ то новое, пришлое дворянство, которое сначала смотрѣло свысока на величайшаго изъ русскихъ поэтовъ, а затѣмъ убило его своими сплетнями. Къ этому чувству злобы у Лермонтова примѣшивалось вообще раздраженіе мыслящаго человѣка на ту пустоту и мелочность, къ которымъ сводилась жизнь свѣтскаго общества. Наконецъ, въ негодованіи Лермонтова могло сказаться также и чувство патріотизма, къ которому поэтъ былъ всегда склоненъ, даже когда вздорилъ съ оффиціальными представителями этого патріотизма.

Но была и другая, болѣе важная причина, побудившая Лермонтова такъ энергично выступить со своимъ словомъ въ защиту памяти Пушкина.

На могилѣ Пушкина разгорѣлся литературный споръ и споръ этотъ коснулся вопросовъ, наиболѣе дорогихъ для Лермонтова. Въ самомъ дѣлѣ, подводя итогъ жизни и трудамъ Пушкина, Лермонтовъ въ первый разъ столкнулся лицомъ къ лицу съ роковымъ вопросомъ о роли поэта въ обществѣ или, другими словами, о своемъ собственномъ назначеніи.

Мы видѣли, что эти мысли давно его тревожили, но всегда въ формѣ отвлеченнаго разсужденія. Теперь же передъ его глазами былъ осязаемый фактъ—гибель одного изъ самыхъ видныхъ поэтовъ и полное непониманіе этого событія со стороны той толпы простонародной и интеллигентной, среди которой поэтъ дѣйствовалъ. Смерть Пушкина невольно напомнила Лермонтову его раннія грезы о своей собственной смерти.

Дуэль получила въ его глазахъ особую санкцію: Лермонтовъ сталъ на нее напрашиваться.

II.

Въ литературной критикѣ установилось мнѣніе, что Лермонтовъ, въ вопросѣ объ отношеніи поэта къ обществу, пошелъ гораздо дальше Пушкина и понялъ соціальное значеніе писателя глубже, чѣмъ оно понималось прежде. Это, въ извѣстномъ смыслѣ, вѣрно.

Русская жизнь 30-хъ годовъ помогла въ данномъ случаѣ поэту; она, независимо отъ него, поставила на очередь много новыхъ вопросовъ, правда, еще неопредѣленныхъ, и обязала поэта съ ними считаться; смерть Пушкина, съ своей стороны, обострила ихъ и Лермонтовъ въ послѣдніе годы жизни постоянно къ нимъ возвращался. Вопросъ о нравственныхъ обязательствахъ, какія беретъ на себя поэтъ, въ силу своего духовнаго преимущества надъ другими, ставился нерѣдко Лермонтовымъ, и его послѣднее стихотвореніе, „Пророкъ“, было написано на эту же тему.

Пересмотримъ теперь эти стихотворенія въ хронологическомъ порядкѣ и попытаемся опредѣлить—удалось ли поэту рѣшить, хотя приблизительно, этотъ вопросъ, который съ дѣтства его мучилъ.

Пушкинъ, какъ извѣстно, подъ конецъ своей жизни очень рѣзко разграничилъ свое служеніе искусству отъ служенія обществу. Чѣмъ дальше онъ уходилъ въ своей поэзіи отъ современности, тѣмъ ближе становился къ ней, какъ публицистъ и издатель журнала. Мы скажемъ ниже о томъ, какъ Пушкинъ обсуждалъ современныя событія; а теперь намъ важно замѣтить, что онъ сознавалъ необходимость ихъ обсужденія. Поэтому обвинить его въ полномъ равнодушномъ отношеніи къ дѣйствительности мы не можемъ. Та тема, которую онъ презиралъ, какъ поэтъ, стала предметомъ его заботъ, какъ критика, журналиста и историка. Эта двойственность въ литературной работѣ приводила Пушкина къ противорѣчіямъ, и онъ выпутывался изъ нихъ иногда не совсѣмъ ловко, но все-таки имѣлъ право смотрѣть на себя, какъ на общественнаго дѣятеля и, очевидно, искалъ этой дѣятельности.

Лермонтовъ, въ этомъ отношеніи, стоялъ въ условіяхъ менѣе благопріятныхъ, чѣмъ Пушкинъ. Онъ не имѣлъ ни положенія, ни славы Пушкина. Служба не позволяла ему открыто и публично высказывать свои мнѣнія. Поэтъ чуждался и публики, и литературныхъ кружковъ: онъ писалъ для немногихъ и нѣсколько побаивался гласности. Тѣмъ не менѣе, чѣмъ ближе становился поэтъ къ современности, тѣмъ сильнѣе являлось въ немъ желаніе сказать о ней свое слово. Въ распоряженіи Лермонтова былъ исключительно его литературный талантъ, такъ какъ онъ не имѣлъ склонности къ другимъ отраслямъ словесной дѣятельности. Куда было направить этотъ талантъ теперь, когда узкія рамки личной жизни становились для него тѣсны?

Лермонтовъ далъ своему таланту полную свободу. Стихотворенія 1837 — 41 годовъ очень разнообразны по настроенію и мыслямъ; здѣсь есть и сатиры, и молитвы, народные мотивы и историческія картины, патріотическія оды и романтическія баллады. Передъ нами какая-то мозаика

изъ геніальныхъ произведеній, въ которой нѣтъ основнаго рисунка.

Лермонтовъ такъ и не доработался въ своей поэзіи до какого-нибудь основнаго направленія. Онъ стоялъ на рубежѣ новой литературной эпохи, и на его поэтическомъ горизонтѣ заря прошлаго сходилась съ зарей грядущаго.

Однако, этому поэту безъ опредѣленнаго направленія принадлежатъ двѣ самыхъ сильныхъ общественныхъ сатиры— „На смерть Пушкина“ и „Дума“.

„Дума“ — поразительное произведеніе по своей силѣ и своей грусти,—представляетъ собою образецъ сатиръ общаго характера. Припомнимъ ее:

Печально я гляжу на наше поколѣнье!
Его грядущее—иль пусто, иль темно;
Межь тѣмъ, подъ бременемъ познанья и сомнѣнья,
Въ бездѣйствіи состарится оно.
Богаты мы, едва изъ колыбели,
Ошибками отцовъ и позднимъ ихъ умомъ,
И жизнь ужъ насъ томитъ, какъ ровный путь безъ цѣли,
Какъ пиръ на праздникѣ чужомъ.
Къ добру и злу постыдно равнодушны,
Въ началѣ поприща мы вянемъ безъ борьбы,
Передъ опасностью позорно-малодушны,
И передъ властію презрѣнные рабы.
Такъ тощій плодъ, до времени созрѣлый,
Ни вкуса нашего не радуя, ни глазъ,
Виситъ между цвѣтовъ, пришлецъ осиротѣлый,
И часъ ихъ красоты—его паденья часъ!

Мы изсушили умъ наукою безплодной,
Тая завистливо отъ ближнихъ и друзей
Надежды лучшія и голосъ благородный
Невѣріемъ осмѣянныхъ страстей.
Едва касались мы до чаши наслажденья,
Но юныхъ силъ мы тѣмъ не сберегли;
Изъ каждой радости, бояся пресыщенья,
Мы лучшій сокъ навѣки извлекли.

Мечты поэзіи, созданія искусства
Восторгомъ сладостнымъ нашъ умъ не шевелятъ;
Мы жадно бережемъ въ груди остатокъ чувства—
Зарытый скупостью и безполезный кладъ.

И ненавидимъ мы, и любимъ мы случайно,
Ничѣмъ не жертвуя ни злобѣ, ни любви,
И царствуетъ въ душѣ какой-то холодъ тайный,
Когда огонь кипитъ въ крови.
И предковъ скучны намъ роскошныя забавы,
Ихъ добросовѣстный, ребяческій развратъ;
И къ гробу мы спѣшимъ безъ счастья и безъ славы,
Глядя насмѣшливо назадъ.
Толпой угрюмою и скоро позабытой,
Надъ міромъ мы пройдемъ безъ шума и слѣда,
Не бросивши вѣкамъ ни мысли плодовитой,
Ни геніемъ начатаго труда.
И прахъ нашъ, съ строгостью судьи и гражданина,
Потомокъ оскорбитъ презрительнымъ стихомъ,
Насмѣшкой горькою обманутаго сына
Надъ промотавшимся отцомъ.

[Дума, 1838].

Это стихотвореніе какъ нельзя лучше отражаетъ полную растерянность Лермонтова въ сужденіи и оцѣнкѣ современнаго ему общества; это—огульное и безпощадное осужденіе цѣлаго поколѣнія молодежи, которая черезъ нѣсколько лѣтъ всецѣло опровергла своего сатирика. „Дума“ написана въ 1838 году, значитъ, наканунѣ 40-хъ годовъ. Цѣлое поколѣніе названо не имѣющимъ будущности, бездѣятельнымъ, равнодушнымъ ко всему, даже къ поэзіи, наконецъ, промотавшимся. Трудно себѣ вообразить бо́льшее преувеличеніе или, вѣрнѣе, непониманіе того, что́ вокругъ готовилось и совершалось.

Первый опытъ общественной сатиры вышелъ, такимъ образомъ, неудаченъ—критика свелась къ голословному осужденію. Психологическая причина такой ошибки понятна. Поэтъ зналъ хорошо только одинъ уголокъ жизни, одинъ кругъ молодежи и легкомысленно перенесъ его слабыя стороны на все молодое поколѣніе того времени. Кромѣ того, Лермонтовъ сознавалъ, что мириться съ жизнью этого поколѣнія онъ не можетъ, а указать ему исходъ изъ этого положенія онъ не въ состояніи. Оставалось только предать его проклятію, осыпать бранью и похоронить себя вмѣстѣ съ нимъ.

Вопросъ объ отношеніи поэта къ обществу рѣшался, такимъ образомъ, очень просто. Съ одной стороны—презрѣн-

ная чернь, а съ другой—не менѣе презрѣнный поэтъ, который для этой толпы ничего сдѣлать не въ состояніи.

Но уже въ слѣдующемъ году основныя положенія этого взгляда нѣсколько измѣняются. Творческое вдохновеніе поэтъ признаетъ за раздраженіе „плѣнной“, т.-е. въ себѣ самой замкнутой мысли:

Въ немъ призрака небесъ напрасно не ищи:
То кровь кипитъ, то силъ избытокъ!
Скорѣе жизнь свою въ заботахъ истощи,
Разлей отравленный напитокъ!
[Не вѣрь себѣ, 1839].

Трудъ, мелкая житейская работа должны заступить мѣсто пророческихъ пѣсенъ и обличенія. Поэтъ долженъ стыдиться выставлять на показъ свои чувства и не унижать себя передъ „простодушной“ чернью, но не потому, что эта чернь недостойна слушать поэта, а напротивъ, потому, что она, въ общей своей сложности, и страдаетъ, и чувствуетъ не менѣе, если не больше самого поэта—

Взгляни: передъ тобой играючи идетъ
Толпа дорогою привычной;
На лицахъ праздничныхъ чуть видѣнъ слѣдъ заботъ,
Слезы не встрѣтишь неприличной.

А между тѣмъ изъ нихъ едва ли есть одинъ,
Тяжелой пыткой не измятый,
До преждевременныхъ добравшійся морщинъ
Безъ преступленья иль утраты...

Повѣрь: для нихъ смѣшонъ твой плачъ и твой укоръ
Съ своимъ напѣвомъ заученнымъ,
Какъ разрумяненный трагическій актеръ,
Махающій мечемъ картоннымъ.
[Не вѣрь себѣ, 1839].

Толпа и поэтъ уравнены такимъ образомъ въ ихъ положеніяхъ, — двѣ одинаковыя силы, противопоставленныя другъ другу. Толпа имѣетъ право осмѣять поэта за то, что онъ выставляетъ на показъ свои личныя чувства; поэтъ не долженъ, съ своей стороны, унижать себя этими пѣснями, и долженъ гордо хранить про себя свои чувства. Вопросъ,

какъ мы видимъ, получилъ новое рѣшеніе, но очень неполное.

Что̀ если личныя чувства поэта совпадутъ съ чувствами толпы и его „печаль“ и „страсть“ примутъ характеръ общій, а не личный? Неужели и тогда толпа и поэтъ могутъ пройти мимо другъ друга, не обмѣнявшись рѣчью? Лермонтовъ чувствовалъ возможность такого совпаденія, и въ стихотвореніи: „Поэтъ“ высказалъ очень искреннее сожалѣніе о томъ, что духовная связь между поэтомъ и обществомъ порвана—

Въ нашъ вѣкъ изнѣженный не такъ ли ты, поэтъ,
Свое утратилъ назначенье,
На злато промѣнявъ ту власть, которой свѣтъ
Внималъ въ нѣмомъ благоговѣньи?
Бывало, мѣрный звукъ твоихъ могучихъ словъ
Воспламенялъ бойца для битвы;
Онъ нуженъ былъ толпѣ, какъ чаша для пировъ,
Какъ ѳиміамъ въ часы молитвы.
Твой стихъ, какъ Божій духъ, носился надъ толпой
И отзывъ мыслей благородныхъ
Звучалъ, какъ колоколъ на башнѣ вѣчевой,
Во дни торжествъ и бѣдъ народныхъ.
Но скученъ намъ простой и гордый твой языкъ,
Насъ тѣшатъ блёстки и обманы;
Какъ ветхая краса, нашъ ветхій міръ привыкъ
Морщины прятать подъ румяны...
Проснешься ль ты опять, осмѣянный пророкъ,
Иль никогда, на голосъ мщенья,
Изъ золотыхъ ноженъ не вынешь свой клинокъ,
Покрытый ржавчиной презрѣнья?

[Поэтъ, 1839].

Какъ рельефно выражена въ этихъ стихахъ мысль объ общественной роли поэта, какъ высоко поставленъ здѣсь тотъ идеалъ пророка-поэта, о которомъ мечталъ Лермонтовъ, но осуществить который былъ не въ состояніи!

Но отдаваться мечтѣ о желаемомъ согласіи поэта съ обществомъ и скорбѣть объ ихъ разладѣ—не значило найти рѣшеніе задачи. Когда поэтъ начиналъ хладнокровно вдумываться въ эту загадку, онъ снова сталкивался съ сомнѣніями.

Стихотвореніе: „Журналистъ, читатель и писатель“ очень наглядно отражаетъ эти сомнѣнія и, вмѣстѣ съ тѣмъ, представляетъ новый шагъ къ рѣшенію рокового вопроса. Писатель, отвѣчая на запросы журналиста и читателя, рисуетъ имъ, какъ извѣстно, въ двухъ картинахъ два момента творчества—моментъ оптимистическаго и свободнаго вдохновенія и моментъ наплыва тяжелыхъ думъ и вдохновенія несвободнаго, вызваннаго размышленіемъ и навязаннаго кромѣ того извнѣ. Плоды перваго момента, когда—

Съ отвагою свободной
Поэтъ на будущность глядитъ
И міръ мечтою благородной
Предъ нимъ очищенъ и обмытъ.
[Журналистъ, писатель и читатель, 1840].

писатель прямо осуждаетъ на сожженіе, какъ безотчетный бредъ, достойный смѣха. Какъ въ стихотвореніи: „Не вѣрь себѣ“, такъ и въ этихъ стихахъ, личныя мгновенныя увлеченія поэта сочтены пустяками и обезцѣнены въ глазахъ толпы.

Плоды второго момента,—наплыва озлобленныхъ думъ и сатирическаго настроенія,—по словамъ писателя, также должны быть хранимы втайнѣ и не выставлены на показъ обществу. Творчество въ эти моменты бываетъ несвободно. Это сознаетъ самъ писатель:

Бываютъ тягостныя ночи:
Безъ спа горятъ и плачутъ очи,
На сердцѣ—жадная тоска;
Дрожа, холодная рука
Подушку жаркую объемлетъ;
Невольный страхъ власы подъемлетъ;
Болѣзненный, безумный крикъ
Изъ груди рвется—и языкъ
Лепечетъ громко, безъ сознанья,
Давно забытыя названья.
[Журналистъ, писатель и читатель, 1840].

Въ этомъ нервномъ состояніи писатель сначала уносится мечтой въ свое прошлое, бередитъ свои старыя сердечныя раны, но постепенно отъ анализа своихъ собственныхъ чувствъ переходитъ къ сатирѣ окружающаго:

Тогда пишу. Диктуетъ совѣсть,
Перомъ сердитый водитъ умъ:
То соблазнительная повѣсть
Сокрытыхъ дѣлъ и тайныхъ думъ;
Картины хладныя разврата,
Преданья глупыхъ юныхъ дней,
Давно безъ пользы и возврата
Погибшихъ въ омутѣ страстей,
Средь битвъ незримыхъ, но упорныхъ,
Среди обманщицъ и невѣждъ,
Среди сомнѣній ложно-черныхъ
И ложно-радужныхъ надеждъ.
Судья безвѣстный и случайный,
Не дорожа чужою тайной,
Приличьемъ скрашенный порокъ
Я смѣло предаю позору;
Неумолимъ я и жестокъ...
[Журналистъ, читатель и писатель, 1840].

Но зачѣмъ пѣть эти пѣсни передъ толпой, когда рискуешь остаться непонятымъ и даже можешь совершить преступленіе?

Но право, этихъ горькихъ строкъ
Неприготовленному взору
Я не рѣшуся показать...
Скажите-жь мнѣ, о чемъ писать?
Къ чему толпы неблагодарной
Мнѣ злость и непависть навлечь,
Чтобъ бранью назвали коварной
Мою пророческую рѣчь?
Чтобъ тайный ядъ страницы знойной
Смутилъ ребенка сонъ покойный
И сердце слабое увлекъ
Въ свой необузданный потокъ?
О нѣтъ! преступною мечтою
Не ослѣпляя мысль мою,
Такой тяжелою цѣною
Я вашей славы не куплю...
[Журналистъ, писатель и читатель, 1840].

Въ этихъ послѣднихъ строкахъ заключенъ новый и очень важный вопросъ, впервые поставленный Лермонтовымъ. До сихъ поръ рѣчь шла о томъ, что поэтъ имѣетъ право гордо хранить про себя свои личныя пѣсни, что, съ другой сто-

роны, онъ обязанъ вникать въ интересы толпы, на стражѣ духовныхъ интересовъ которой онъ поставленъ, что эта толпа также иногда имѣетъ нравственное право и осмѣять поэта за его самомнѣніе. Теперь поднятъ иной вопросъ: въ какой степени *правъ и полезенъ* поэтъ, взявшій на себя трудную задачу говорить обществу „объ его недостаткахъ“? Не перевѣситъ ли вредъ такихъ разоблаченій ихъ пользу? Не окажется ли лекарство вреднѣе самой болѣзни? На этотъ трудный вопросъ Лермонтовъ, конечно, не могъ отвѣтить положительно въ 30-хъ годахъ, когда этотъ вопросъ былъ только-что поставленъ критикой, чтобы стать современемъ для однихъ—источникомъ плодотворной литературной дѣятельности, для другихъ—поводомъ къ злобнымъ и неблаговиднымъ выходкамъ противъ просвѣщенія и всякаго движенія впередъ.

Чѣмъ больше Лермонтовъ задумывался надъ этими вопросами, тѣмъ все печальнѣе сталъ смотрѣть на свое призваніе, и кончилъ тѣмъ, что, не уяснивъ себѣ своей роли, вернулся къ старому, и въ „Пророкѣ“ изъ „городовъ“ удалился въ „пустыню“, а порой лишь торопливо пробирался среди толпы, чтобы подслушать, какъ дѣтямъ про него говорили старшіе—

«Смотрите: вотъ примѣръ для васъ!
Онъ гордъ былъ, не ужился съ нами;
Глупецъ—хотѣлъ увѣрить насъ,
Что Богъ гласитъ его устами!

«Смотрите-жь, дѣти, на него,
Какъ онъ угрюмъ, и худъ, и блѣденъ!
Смотрите, какъ онъ нагъ и бѣденъ!
Какъ презираютъ всѣ его!»

[Пророкъ, 1841].

Поэтъ и толпа вновь противупоставлены другъ другу, какъ двѣ враждебныя стихіи, не достигшія никакого соглашенія въ ихъ совмѣстной жизни.

Иногда озлобленіе Лермонтова, при соприкосновеніи съ этими вопросами, достигало такихъ острыхъ степеней, что поэтъ не останавливался даже передъ клеветой на самого

себя. Такъ, въ стихотвореніи: „Не смѣйся надъ моей пророческой тоскою“ Лермонтовъ, послѣ обычныхъ мечтаній объ ожидающей его позорной смерти, въ такихъ выраженіяхъ говоритъ о своемъ творчествѣ:

Не смѣйся надъ моей пророческой тоскою.
Я зналъ—ударъ судьбы меня не обойдетъ;
Я зналъ, что голова, любимая тобою,
Съ твоей груди на плаху перейдетъ.
Я говорилъ тебѣ: ни счастія, ни славы
Мнѣ въ мірѣ не найти. Настанетъ часъ кровавый,
И я паду—и хитрая вражда
Съ улыбкой очернитъ мой недоцвѣтшій геній,
И я погибну безъ слѣда
Моихъ надеждъ, моихъ мученій...
Но я безъ страха жду довременный конецъ;
Давно пора мнѣ міръ увидѣть новый.
Пускай толпа растопчетъ мой вѣнецъ,
Вѣнецъ цѣвца, вѣнецъ терновый—
Пускай! *я имъ не дорожилъ!*

[Не смѣйся надъ моей пророческой тоскою, 1841].

Во всѣхъ стихотвореніяхъ поэта послѣднія слова—единственныя въ своемъ родѣ, и мы, конечно, посмотримъ на нихъ, какъ на случайно вырвавшійся крикъ озлобленія. Принять это заявленіе за сознательный итогъ, выведенный Лермонтовымъ изъ всей своей дѣятельности, какъ писателя,—значитъ признать Лермонтова неискреннимъ декламаторомъ. Если поэтъ не дорожилъ своимъ вѣнцомъ, то что же святое имѣлъ онъ въ жизни?..

Итакъ, сопоставляя всѣ приведенныя выше стихотворенія, посвященныя одному и тому же вопросу, именно вопросу объ отношеніи поэта къ обществу, мы можемъ сказать утвердительно, что загадка такъ и осталась для Лермонтова загадкой. Онъ не находилъ въ своей поэзіи того удовлетворенія, какое находитъ человѣкъ въ любимомъ „дѣлѣ“, его мечты о своемъ великомъ призваніи также не находили себѣ оправданія въ его литературной дѣятельности, и въ вопросѣ объ этой дѣятельности поэтъ не достигъ никакого примиренія съ жизнью. Если бы Лермонтовъ имѣлъ отвлеченный взглядъ на искусство, хотя бы даже не строго придуманный

какимъ обладалъ Пушкинъ, или еслибы онъ родился нѣсколько позднѣе и въ такое время, когда достаточно развившаяся общественная жизнь втягивала поэта въ свой круговоротъ и на почвѣ дѣла примиряла мечту съ дѣйствительностью, то нашъ поэтъ, конечно, не страдалъ бы отъ этихъ сомнѣній. Онъ избавился бы отъ своего пессимизма, отъ внутренняго разлада, который былъ прямымъ слѣдствіемъ его чрезмѣрной воспріимчивости ко всѣмъ сторонамъ жизни и невозможности стать къ этой жизни въ прямое и ясное отношеніе. Тѣмъ не менѣе, какъ бы ни были неустойчивы взгляды Лермонтова на роль поэта въ обществѣ, его сомнѣнія не прошли безплодно.

Черезъ нѣсколько лѣтъ послѣ смерти Лермонтова эти сомнѣнія стали предметомъ спора литературныхъ лагерей.

Стихотвореніе Лермонтова „Поэтъ“ можетъ служить удачнымъ эпиграфомъ ко многимъ критическимъ статьямъ Добролюбова, точно также, какъ конецъ стихотворенія „Не вѣрь себѣ“ можетъ съ успѣхомъ стоять на заглавномъ листѣ нѣкоторыхъ томовъ Писарева.

III.

Личная жизнь поэта въ послѣдній періодъ его жизни текла разсѣянно и бурно. Военная жизнь и свѣтскіе кружки, —вотъ арена, на которой онъ „дѣйствуетъ“. Арена очень скромная для того, кто мечталъ о великой будущности. Если не считать погони за чинами, въ которой Лермонтовъ былъ совершенно неповиненъ и которую жестоко осмѣивалъ въ стихахъ, приписанныхъ ему Боденштедтомъ, то основнымъ рычагомъ свѣтской жизни Лермонтова была любовная интрига. Она, кажется, очень занимала его, если судить по количеству любовныхъ стиховъ, написанныхъ имъ въ послѣдніе годы его жизни. Содержаніе ихъ всѣмъ извѣстно, и потому мы воздержимся отъ ихъ повторенія, тѣмъ болѣе, что, сравнительно съ юношескими стихами, несовершенными по формѣ, въ этихъ художественныхъ произведеніяхъ нѣтъ ничего новаго.

Для насъ, конечно, эти стихи важны не по ихъ художественной цѣнности, а по тому безотрадному настроенію, которое въ нихъ проглядываетъ. Они указываютъ намъ, что и эта сторона жизни, которой очевидно дорожилъ Лермонтовъ, не удовлетворяла его и только дразнила его нервы.

Любовная меланхолія усиливалась съ каждымъ годомъ. Житейскій опытъ увеличивался и какъ будто подтверждалъ тѣ взгляды, какіе поэтъ высказывалъ еще ребенкомъ, когда онъ совсѣмъ не зналъ женщинъ и когда любовь была для него дѣтской шалостью. Кажется, что и въ эти послѣдніе годы своей жизни поэтъ въ любовныхъ интригахъ не шелъ дальше такихъ шалостей. По крайней мѣрѣ въ воспоминаніяхъ современниковъ нѣтъ никакихъ указаній на какую бы то ни было серьезную любовную привязанность поэта. Романовъ было много, но всѣ они кончались двумя-тремя стихами въ альбомъ и, подчасъ, сильнымъ раздраженіемъ и пессимистическими воплями о женскомъ непостоянствѣ. Въ любовныхъ стихахъ этого времени, какъ и прежде, встрѣчаются воспоминанія о минувшей любви, туманной и неопредѣленной [„Разстались мы“, „Какъ часто пестрою толпою окружонъ“, „Ребенку“, „Когда одни воспоминанія“, „Ты помнишь ли“, „Изъ-подъ таинственной холодной полумаски“, „Нѣтъ не тебя такъ пылко я люблю“]; видны также проблески ревности [„Любовь мертвеца“], или насмѣшка надъ минутнымъ счастіемъ [„И скучно и грустно“, „Завѣщаніе“, „Договоръ“].

Рѣдко, очень рѣдко попадаются у Лермонтова любовные стихи съ искреннимъ восторгомъ или правдивой радостью. Къ числу такихъ принадлежитъ стихотвореніе „Слышу ли голосъ твой“—одинъ изъ лучшихъ русскихъ любовныхъ романсовъ.

Отсутствіе серьезнаго увлеченія и любовное кокетничанье повліяли очень вредно на Лермонтова. Чтобы не показаться смѣшнымъ, нужно было самому стать насмѣшникомъ, нужно было всегда быть на-сторожѣ, и потому для свободнаго лирическаго порыва въ душѣ поэта не оставалось мѣста. Въ дѣлѣ любви Пушкинъ, въ сравненіи съ Лермонтовымъ, былъ

настоящимъ ребенкомъ, почему и любовная поэзія Пушкина несравненно художественнѣе любовной поэзіи Лермонтова.

Любовь только дразнила и сердила Лермонтова, но не опьяняла его и не давала ему никакого удовлетворенія.

IV.

Ссылка вырвала Лермонтова изъ свѣтскихъ салоновъ и перенесла его на Кавказъ.

Поэтъ, какъ извѣстно, былъ въ ссылкѣ два раза: первый разъ—за стихи „На смерть Пушкина“, второй разъ—за дуэль, которую онъ имѣлъ съ Барантомъ по поводу какой-то ссоры въ салонѣ графини Лаваль.

Сама судьба позаботилась о томъ, чтобы помочь поэту стряхнуть съ себя бездѣятельную, грызущую его тоску и дать ему возможность принять непосредственное активное участіе въ жизни. Поэтъ съ дѣтства бредилъ всевозможными героическими похожденіями и любилъ проявлять свою удаль даже въ кутежахъ и дуэляхъ, за неимѣніемъ другого поприща. Теперь передъ нимъ была новая арена дѣйствій—война, серьезный патріотическій и, слѣдовательно, въ извѣстномъ смыслѣ, общественный подвигъ. Изъ военныхъ донесеній того времени мы узнаемъ, что Лермонтовъ велъ себя на Кавказѣ очень храбро, участвовалъ во многихъ экспедиціяхъ и не разъ былъ представляемъ къ наградѣ, въ которой ему, впрочемъ, отказали.

Военная жизнь заняла и развлекла Лермонтова лишь на очень короткое время. Въ стихотвореніи „Валерикъ“, въ этой мастерской картинѣ военнаго быта, Лермонтовъ такъ говоритъ о своемъ положеніи:

Я жизнь постигъ.
Судьбѣ, какъ турокъ иль татаринъ,
За все равно я благодаренъ...
Быть можетъ, небеса Востока
Меня съ ученьемъ ихъ пророка
Невольно сблизили. Притомъ
И жизнь всечасно кочевая,

Труды, заботы, ночь и днемъ,
Все, размышленію мѣшая,
Приводитъ въ первобытный видъ
Больную душу; сердце спитъ,
Простора нѣтъ воображенью
И нѣтъ работы головѣ...
За то лежишь въ густой травѣ...
И дремлешь...

[Валерикъ, 1841].

Нельзя сказать, чтобы въ этихъ словахъ отражалось полное довольство жизнью, да и вообще трудно предположить, чтобы военный кочевой образъ жизни пришелся по вкусу столичному офицеру. Война, какъ новинка, могла заинтересовать его, но, въ концѣ концовъ, надоѣла ему не меньше лагерной жизни подъ Петербургомъ, и Лермонтовъ, будучи однимъ изъ самыхъ храбрыхъ офицеровъ, все-таки не упускалъ случая брать отпускъ.

Вопреки всѣмъ ожиданіямъ, въ послѣднихъ стихотвореніяхъ Лермонтова очень мало военныхъ мотивовъ. „Валерикъ“ — единственная жанровая военная картина. Очевидно, дѣйствительность не была такъ заманчива, какъ мечта, которая въ юношескіе годы поэта любила рисовать ему всевозможные героическіе подвиги. Съ другой стороны, меланхолія такъ завладѣла поэтомъ, что даже тѣлесное утомленіе не могло дать новаго направленія его мыслямъ и тѣмъ меньше могло стать источникомъ вдохновенія.

Военная жизнь на Кавказѣ прошла также безъ вліянія и на патріотическіе порывы поэта. Въ дѣтствѣ и въ юности Лермонтовъ былъ большимъ патріотомъ въ чисто военномъ смыслѣ. Слава родины была для него неразрывно связана съ славой русскаго оружія. Побѣда надъ врагомъ, кто бы онъ ни былъ, была для Лермонтова предметомъ наибольшей гордости. Въ „Измаилъ-Бей“ такія патріотическія тирады выступаютъ наиболѣе ярко: русская держава разростается въ мечтахъ поэта до предѣловъ державы всемірной и всѣ народы преклоняются передъ русскимъ императоромъ:

Какія степи, горы и моря
Оружію славянъ сопротивлялись?
И гдѣ велѣнью русскаго царя
Измѣна и вражда не покорялись?
Смирись, черкесъ! и западъ, и востокъ,
Быть можетъ, скоро твой раздѣлятъ рокъ.
Настанетъ часъ, и скажешь самъ надменно:
«Пускай я рабъ, но рабъ царя вселенной!»
Настанетъ часъ—и новый, грозный Римъ
Украситъ сѣверъ Августомъ другимъ.

[Измаилъ-Бей, III, I].

Еще раньше, во время польскаго возстанія, та же гордая, чисто-военная нота слышится въ стихотвореніи „Опять народные витіи“ (1831).

Вамъ обидна
Величья нашего заря;
Вамъ солнца Божьяго не видно
За солнцемъ русскаго царя!

Безумцы жалкіе! вы правы,
Мы чужды ложнаго стыда:
Такъ! нераздѣльны въ дѣлѣ славы
Народъ и царь его всегда.

[Опять народные витіи, 1831].

Этому патріотизму Лермонтовъ принесъ въ жертву даже свое поклоненіе Наполеону. Во второй главѣ поэмы „Сашка“ великій императоръ осмѣянъ,—онъ, этотъ гигантъ, передъ которымъ фантазія Лермонтова всегда преклонялась.

И русскій Богъ очистилъ храмъ священный...
Сердитый Кремль въ огнѣ ихъ принималъ
И проводилъ, пылая, свѣточъ грозный...
Онъ озарилъ имъ путь въ степи морозной—
И степь ихъ поглотила, и о томъ,
Кто намъ грозилъ и плѣномъ, и стыдомъ,
Кто надъ землей промчался какъ комета,
Сталъ говорить съ насмѣшкой голосъ свѣта.

[Сашка, II, IV].

Теперь же, въ послѣдній періодъ жизни Лермонтова, въ его стихахъ Наполеону вновь воздвигается прежняя тріумфальная колонна въ стихотвореніяхъ: „Воздушный корабль“ и

„Послѣднее новоселье“. Даже стихотвореніе „Бородино“—эта единственная патріотическая ода послѣднихъ лѣтъ жизни поэта, по мягкому своему тону превосходитъ всѣ ожиданія. При всей живости военной сценировки, при крайне гиперболическомъ описаніи геройскихъ подвиговъ, — какая сдержанность въ отношеніи къ побѣжденному врагу, какъ мало побѣднаго грому!

Такое отсутствіе военныхъ мотивовъ среди постоянной боевой жизни и такая сдержанность въ патріотическихъ изліяніяхъ показываютъ намъ, что Лермонтовъ далеко не вошелъ во вкусъ той жизни, на какую былъ осужденъ своимъ положеніемъ и своими провинностями.

Наконецъ, поэтъ отрекается открыто отъ своихъ прежнихъ патріотическихъ идеаловъ въ стихотвореніи „Родина“. Эта исповѣдь боевого офицера очень характерна:

Люблю отчизну я, но странною любовью;
Не побѣдитъ ея разсудокъ мой!..
Ни слава, купленная кровью,
Ни полный гордаго довѣрія покой,
Ни темной старины завѣтныя преданья
Не шевелятъ во мнѣ отраднаго мечтанья.

Но я люблю—за что, не знаю самъ—
Ея степей холодное молчанье,
Ея лѣсовъ безбрежныхъ колыханье,
Разливы рѣкъ ея, подобные морямъ;
Проселочнымъ путемъ люблю скакать въ телѣгѣ
И, взоромъ медленнымъ пронзая ночи тѣнь,
Встрѣчать по сторонамъ, вздыхая о ночлегѣ,
Дрожащіе огни печальныхъ деревень.
Люблю дымокъ спаленной жнивы,
Въ степи кочующій обозъ,
И на холмѣ, средь желтой нивы,
Чету бѣлѣющихъ березъ.
Съ отрадой, многимъ незнакомой,
Я вижу полное гумно,
Избу, покрытую соломой,
Съ рѣзными ставнями окно;
И въ праздникъ, вечеромъ росистымъ,
Смотрѣть до полночи готовъ
На пляску съ топаньемъ и свистомъ,
Подъ говоръ пьяныхъ мужичковъ.

[Родина, 1841].

Передъ нами живописный пейзажъ—любовь къ родинѣ, вмѣсто политическихъ и военныхъ гимновъ вылилась въ формѣ красивой элегіи, и патріотическое воодушевленіе перешло въ восхищеніе родной природой.

Мы знаемъ, что Лермонтовъ, вообще, былъ одаренъ большой способностью сживаться съ природой *). Въ его юношескихъ стихахъ и поэмахъ природѣ отведено не меньше мѣста, чѣмъ душевнымъ движеніямъ. Одинокій среди людей, поэтъ жилъ въ большой дружбѣ съ природой въ свои молодые годы, и теперь эта дружба стала еще болѣе тѣсной, теперь, когда военная жизнь забросила поэта въ горы и позволила ему взглянуть самому на тѣ пейзажи, которые онъ уже давно набросалъ въ своемъ воображеніи. Кавказская жизнь, въ этомъ смыслѣ, повліяла очень благотворно на поэзію Лермонтова.

V.

Въ стихотвореніяхъ послѣдняго періода природѣ, дѣйствительно, отведено первенствующее мѣсто. Почти нѣтъ стихотвореній, гдѣ бы не было пейзажей или картинныхъ метафоръ, взятыхъ изъ жизни природы; и любовь, и дружба, и религіозное настроеніе неразрывно связаны съ грустью или восторгомъ, какой пробуждаетъ въ душѣ поэта раскинувшаяся передъ нимъ роскошная природа. Возьмемъ, напримѣръ, стихотворенія: „Тучки небесныя“, „На сѣверѣ дальнемъ“, „Ночевала тучка золотая“,—всѣ они ничто иное, какъ прежнія любовныя элегіи, выраженныя въ формѣ

*) I live not in myself, but I become
Portion of that around me; and to me,
High mountains are a feeling, but the hum
Of human cities torture.
Byron.

Are not the mountains, waves, and skies a part
Of me and of my soul, as I of them?
Is not the love of these deep in my heart
With a pure passion? should I not contemn
All objects, if compared with these.
Byron.

пейзажа. Въ нихъ слишкомъ много личнаго субъективнаго настроенія, и потому они не могутъ быть названы непосредственнымъ отраженіемъ природы въ поэзіи; они скорѣе отраженіе самого поэта въ заимствованномъ изъ дѣйствительности пейзажѣ—но достоинство ихъ этимъ не умаляется. Они—образцы художественнаго лирическаго пейзажа. Элегія „На смерть князя Одоевскаго“ оканчивается также прелестной картиной природы, которая такъ гармонируетъ съ судьбой умершаго декабриста: вѣчный покой величественныхъ горъ и вѣчный шумъ тревожнаго моря — грустные символы неумолимо спокойной судьбы и тревожной жизни человѣка.

Иногда картина природы заключаетъ въ себѣ цѣлую философскую мысль, какъ, напримѣръ, стихотвореніе „Три пальмы“,—этотъ живописный разсказъ о вторженіи эгоистическаго человѣка въ міръ любящей природы. Та же идея, но только съ нѣкоторымъ измѣненіемъ, повторяется и въ стихотвореніи „Дубовый листокъ оторвался отъ вѣтки родимой“. Если въ первомъ стихотвореніи человѣкъ является какъ представитель разрушающей эгоистической силы, то здѣсь, наоборотъ, онъ ищетъ въ природѣ успокоенія и отдыха отъ той тревожной и пустой жизни, которая его истомила. Природа, наученная горькимъ опытомъ, принимаетъ человѣка очень недружелюбно:

И странникъ прижался у корня чинары высокой,
Пріюта на время онъ молитъ съ тоскою глубокой
И такъ говоритъ: я бѣдный листочекъ дубовый,
До срока созрѣлъ я и выросъ въ отчизнѣ суровой.

Одинъ и безъ цѣли по свѣту ношуся давно я,
Засохъ я безъ тѣни, увялъ я безъ сна и покоя.
Прими же пришельца межъ листьевъ своихъ изумрудныхъ —
Немало я знаю разсказовъ мудреныхъ и чудныхъ».

— На что мнѣ тебя! отвѣчала чинара,
Ты пыленъ и желтъ и сынамъ моимъ свѣжимъ не пара...
Иди себѣ дальше...

[Дубовый листокъ оторвался отъ вѣтки родимой, 1841].

Мы можемъ догадаться, что въ этомъ стихотвореніи поэтъ отчасти имѣлъ въ виду самого себя. Вспомнимъ, что

еще въ „Измаилъ-Бѣ“ поэтъ остановился на противорѣчіи дикой свободной природы и „зараженнаго цивилизаціей человѣка“. Теперь Лермонтовъ сталъ осторожнѣе въ вопросѣ о цивилизованной „заразѣ“, но въ приведенномъ нами стихотвореніи все-таки довольно явственно слышна нота Руссо. Поэтъ былъ, дѣйствительно, утомленъ образомъ своей жизни и готовъ былъ завянуть „безъ сна и покоя“ отъ окружавшей его пустоты и отъ тревожныхъ порывовъ въ себѣ самой замкнутой мысли.

Поэтъ уставалъ и эта духовная усталость сказалась и на его пейзажахъ. Сравнительно съ картинами природы, нарисованными Лермонтовымъ въ прежніе годы, пейзажи послѣднихъ лѣтъ отличаются болѣе грустными и мягкими красками. Нѣтъ величественно-грозныхъ и романтическихъ описаній; ихъ смѣнилъ грустный и задушевный пейзажъ, напоминающій слегка пейзажи Гейне. Таковы, напримѣръ, стихотворенія: „Казбеку“, „Споръ“, „Тамара“, „Свиданіе“ и, въ особенности, „Дары Терека“ и „Морская царевна“, — эти двѣ запоздалыя баллады, наивно-сказочныя по содержанію и, вмѣстѣ съ тѣмъ, насквозь пропитанныя субъективной лирикой поэта. Во всѣхъ этихъ стихотвореніяхъ пейзажъ становится все въ болѣе и болѣе тѣсную связь съ настроеніемъ поэта, и потому почти вездѣ переходитъ въ элегію. Душа поэта была, дѣйствительно, въ это время мирно и задумчиво настроена, что̀ сказывается въ особенности на его стихотвореніяхъ религіознаго характера.

VI.

Мы имѣли уже случай замѣтить, что и въ прежніе годы Лермонтовъ обращался къ религіознымъ темамъ. „Ангелъ“ былъ написанъ въ 1831 году. Въ юношескихъ стихахъ мы также отмѣтили тѣ мѣста, гдѣ авторъ касался религіозныхъ вопросовъ. Такихъ мѣстъ очень мало и притомъ всѣ они очень неопредѣленны. Какое-нибудь положительное признаніе въ нихъ уловить очень трудно. Они представляютъ рядъ вопросовъ, рѣшаемыхъ иногда въ положительномъ, иногда въ от-

рицательномъ смыслѣ, сообразно съ поэтическимъ настроеніемъ самого Лермонтова.

Очевидно, что въ то время душевное состояніе поэта было мало воспріимчиво къ вопросамъ этого порядка. Для Лермонтова жизнь въ тѣ годы только-что начиналась, плановъ было много и, несмотря на сомнѣнія, ежеминутно возбуждаемыя разумомъ, поэтъ ощущалъ въ себѣ достаточно силы, если не для достиженія всѣхъ своихъ туманныхъ цѣлей, то по крайней мѣрѣ для борьбы съ препятствіями. Многія стороны жизни были также еще не извѣданы, а потому думы поэта были болѣе заняты земнымъ, чѣмъ небеснымъ. Поэтъ самъ говорилъ, что ему были „милѣй страданія земныя“.

Теперь, въ послѣдній періодъ жизни поэта, его настроеніе нѣсколько перемѣнилось. Многое было испытано, и какъ прежде удовлетворенія нигдѣ не найдено. Жизнь, правда, была еще впереди; но зато и вопросы, ею поставленные, стали болѣе сложны и серьезны. Отъ прежняго неопредѣленно-туманнаго взгляда на міръ поэту приходилось отказываться, а новый взглядъ пока еще не былъ выработанъ. Способность мечтать осталась та же и даже усилилась, въ виду нѣкоторой духовной и тѣлесной усталости поэта. Если въ прежніе годы Лермонтовъ былъ мраченъ и раздраженъ, то теперь онъ становился грустенъ. Его все чаще и чаще преслѣдовала мысль о смерти. Мы видѣли, что еще въ прежніе годы онъ любилъ въ мечтахъ рисовать свою кончину; теперь эта мечта слѣдовала за нимъ неотвязно. Было ли это предчувствіе настоящей близкой смерти или просто нервное разстройство,—рѣшить трудно, но поэтъ сталъ чаще переносить свои мечты съ земли на небо.

Религіозное настроеніе стало чаще сказываться въ его лирическихъ стихотвореніяхъ и окрашивать его пейзажи. Послѣдній отзвукъ прежняго непокорнаго отношенія къ Богу, прежнихъ титаническихъ порывовъ въ стилѣ Байрона, мы встрѣчаемъ въ стихотвореніи „Благодарность“. Поэтъ какъ бы съ ироніей благодаритъ Создателя:

За горечь слезъ, отраву поцѣлуя,
За месть враговъ и клевету друзей,
За жаръ души, растраченный въ пустынѣ...
[Благодарность, 1840].

Но въ большинствѣ остальныхъ стихотвореній—нѣтъ и тѣни упрека; въ нихъ царитъ духовный миръ и смиреніе молитвы. Таковы: „Вѣтка Палестины“ (1837 г.), знаменитая „Молитва“ (1837 г.) и „Я, матерь Божія, нынѣ съ молитвою“. То же глубокое христіанское настроеніе слышится и въ „Казачьей колыбельной пѣснѣ“.

Во всѣхъ этихъ стихахъ мы какъ будто не узнаемъ прежняго поэта: передъ нами другой человѣкъ, вполнѣ примирившійся и съ людьми, и съ Богомъ. Лермонтовъ самъ говорилъ о себѣ въ 1839 году, что въ трудную минуту жизни для него одно спасеніе—молитва: и никто не съумѣлъ такъ вѣрно охарактеризовать всю земную сущность молитвы, какъ нашъ поэтъ, въ заключительныхъ словахъ своего знаменитаго стихотворенія:

Съ души какъ бремя скатится,
Сомнѣнье далеко—
И вѣрится, и плачется,
И такъ легко, легко...
[Молитва, 1837].

Не забудемъ, однако, что только одинъ годъ отдѣляетъ это стихотвореніе отъ не менѣе знаменитаго „И скучно и грустно“, въ которомъ строго религіозный человѣкъ можетъ прочитать хулу на Бога, какъ митрополитъ Филаретъ когда-то увидалъ ее въ стихотвореніи Пушкина „Даръ напрасный“.

Это постоянное колебаніе въ настроеніи очень характерно: оно показываетъ намъ, что въ глубокомъ вопросѣ религіи, какъ во многихъ другихъ, Лермонтовъ, несмотря на свою искренность, и теперь не выработалъ никакихъ опредѣленныхъ взглядовъ; онъ оставался рабомъ минуты и случайнаго настроенія.

Такимъ образомъ религіозные стихи Лермонтова не отражаютъ всего его существа, а развѣ только одну частицу его души, правда, очень симпатичную.

Особенно ярко сказалось религіозное настроеніе послѣд-

нихъ лѣтъ Лермонтова въ двухъ знаменитыхъ пейзажахъ: „Когда волнуется желтѣющая нива“ и „Выхожу одинъ я на дорогу“. Первое написано въ 1837 году, второе—въ 1841-мъ, почти наканунѣ смерти. Образныя картины природы и искреннее религіозное настроеніе слились въ этихъ стихотвореніяхъ такъ тѣсно, что отвлеченная идея о Богѣ получила какъ бы осязаемую форму *). Самымъ простымъ описаніемъ произведеио самое глубокое впечатлѣніе.

Но, несмотря на примиреніе и душевный покой, какими дышетъ стихотвореніе „Выхожу одинъ я на дорогу“,—сколько въ немъ грусти и сколько страха передъ той свободой и покоемъ, къ которому, повидимому, поэтъ такъ стремится! Онъ боится холоднаго сна могилы:

Я бъ желалъ навѣки такъ заснуть,
Чтобъ въ груди дрожали жизни силы,
Чтобъ, дыша, вздымалась тихо грудь;
Чтобъ всю ночь, весь день мой слухъ лелѣя,
Про любовь мнѣ сладкій голосъ пѣлъ;
Надо мной чтобъ, вѣчно зеленѣя,
Темный дубъ склонялся и шумѣлъ.

[Выхожу одинъ я на дорогу, 1841].

Какъ ярко просвѣчиваетъ въ этомъ стихотвореніи любовь поэта ко всему земному, отъ котораго онъ искалъ убѣжища въ молитвѣ. Мечта о загробномъ мірѣ была не въ силахъ вытѣснить изъ его сердца жажды жить и дѣйствовать въ мірѣ житейскомъ.

---

*) Some kinder casuists are pleased to say,
In nameless print—that I have no devotion:
But set those persons down with me to pray,
And you shall see who has the properest notion
Of getting into heaven the shortest way:
My altars are the mountains and the ocean,
Earth, air, stars—all that springs from the great Whole,
Who hath produced, and will receive the soul.

Byron.

VII.

Мы прослѣдили въ поэзіи Лермонтова всѣ тѣ измѣненія, какія испытывали отдѣльныя мысли и чувства поэта въ послѣдній періодъ его жизни. Мы видѣли, что ни одинъ вопросъ не получилъ положительнаго и опредѣленнаго рѣшенія. Мы видѣли также, что не было чувства, въ которомъ поэтъ могъ бы найти удовлетвореніе. Вопросъ объ отношеніи поэта къ обществу оставался открытымъ; свѣтская жизнь и самая пикантная ея сторона, — любовная интрига, — оставляли въ душѣ поэта только горькій осадокъ. Военная жизнь его тяготила; жизнь среди природы успокоивала, но только на короткое время, также какъ минутами успокоивали его и приливы религіознаго настроенія. Поэтъ, несмотря на зрѣлый умъ и житейскій, накоплявшійся опытъ, все-таки не выработалъ никакой житейской философіи, и, по прежнему, былъ въ разладѣ съ жизнью.

Творчество Лермонтова оставалось вѣрнымъ отраженіемъ такого неустановившагося душевнаго настроенія и такой борьбы идеаловъ и жизни. Несмотря на реальное направленіе, какое съ каждымъ годомъ принималъ все болѣе и болѣе талантъ Лермонтова, поэтъ въ послѣдній періодъ своей жизни не переставалъ обращаться къ сказочнымъ и историческимъ темамъ. „Пѣсня о купцѣ Калашниковѣ“, „Бѣглецъ“, „Мцыри“, стихотвореніе „Демонъ“ и романтическія баллады, противупоставленныя „Сказкѣ для дѣтей“, „Валерику“ и „Герою нашего времени“, показываютъ намъ, какъ въ одномъ и томъ же человѣкѣ, уживалось реальное направленіе творчества съ идеальнымъ, показываютъ намъ, какъ мечта и дѣйствительность жили, спорили и враждовали между собою въ его сердцѣ.

Противорѣчія между поведеніемъ поэта и его поэзіей, какія были подмѣчены современниками въ прежніе годы, повторились и въ этотъ послѣдній періодъ его жизни.

Если судить по письмамъ поэта, по воспоминаніямъ графини Растопчиной и Панаева, то жизнь Лермонтова въ Петербургѣ, куда онъ нерѣдко пріѣзжалъ, текла въ это по-

слѣднее время особенно весело. Онъ самъ говоритъ, что его рвали на части, что свѣтъ, который раньше смотрѣлъ на него свысока, теперь охотно открылъ ему всѣ свои гостинныя, что у женщинъ онъ пользовался успѣхомъ и что, вообще, его пріѣзды въ Петербургъ были для него настоящими тріумфами. Мы можемъ вполнѣ повѣрить этимъ извѣстіямъ. Слава могла опьянить поэта; и удовлетворенное самолюбіе могло на время торжествовать свою побѣду.

Однако, это веселіе было, повидимому, очень кратковременнымъ и мимолетнымъ настроеніемъ; по крайней мѣрѣ на поэзіи Лермонтова оно никакихъ слѣдовъ не оставило. Уже въ самыхъ письмахъ, на ряду съ веселыми строками, попадается, какъ и прежде, не мало саркастическихъ и печальныхъ размышленій. Любовь, слава и свѣтъ, по прежнему, предаются осмѣянію; въ письмахъ, какъ и въ поэзіи, нѣтъ ни душевнаго спокойствія, ни довольства. Все: и жизнь, и письма, и поэзія,—рядъ противорѣчивыхъ настроеній, и въ основаніи этихъ душевныхъ колебаній лежитъ все та же неустойчивость во взглядахъ на міръ, на общество и на свое собственное назначеніе.

Въ 1840-мъ году поэтъ, впрочемъ, дѣлаетъ такое признаніе:

Любилъ и я въ былые годы,
Въ невинности души моей,
И бури шумныя природы,
И бури тайныя страстей.
Но красоты ихъ безобразной
Я скоро таинство постигъ,
И мнѣ наскучилъ ихъ несвязной
И оглушающій языкъ.
Люблю я больше, годъ отъ году,
Желаньямъ мирнымъ давъ просторъ,
Поутру ясную погоду,
Подъ вечеръ—тихій разговоръ...

[Изъ альбома С. Карамзиной 1840].

Признаніе—очень важное, но не находящее себѣ подтвержденія въ творчествѣ поэта. „Шумныя бури природы“, быть можетъ, дѣйствительно смѣнились болѣе спокойнымъ пейзажемъ; но „бури тайныя страстей“ остались въ преж-

ней силѣ, только красота ихъ стала образна, а не „безобразна“, и оглушающій ихъ языкъ вовсе не наскучилъ поэту. Въ сущности, изъ всѣхъ произведеній послѣдняго періода развѣ только стихотворенія религіознаго характера не носятъ на себѣ слишкомъ явныхъ слѣдовъ тайной душевной бури.

VIII.

Къ числу такихъ религіозныхъ стихотвореній относится и „Пѣсня о купцѣ Калашниковѣ“. Она стоитъ одиноко въ поэзіи Лермонтова и плохо вяжется съ основнымъ настроеніемъ всѣхъ его стихотвореній; одно только религіозное міросозерцаніе, которое въ ней сказывается, позволяетъ намъ привести ее въ связь съ литературными вкусами поэта, въ послѣдній періодъ его жизни.

„Пѣсня о купцѣ Калашниковѣ“ написана въ народномъ стилѣ, зародыши котораго мы могли прослѣдить еще въ юношескихъ произведеніяхъ Лермонтова. Этотъ стиль въ 30-хъ годахъ былъ у насъ въ большой модѣ. Но едва ли Лермонтовъ, въ данномъ случаѣ, гнался за этой модой. Тема могла понравиться ему основной своей идеей,—смиреніемъ сильнаго и праваго человѣка передъ высшимъ судомъ, судомъ быть можетъ несправедливымъ, но обязательнымъ. Самый типъ удалаго купеческаго сына, вступившагося за обиженную жену, героически смывшаго эту обиду и, въ концѣ концовъ, казненнаго, нѣсколько напоминаетъ любимыхъ героевъ Лермонтова. Но смиреніе, съ какимъ герой переноситъ свою участь, христіанское преклоненіе передъ судомъ Божіимъ и царевымъ,—черта совершенно новая въ героѣ. Она объяснима только, какъ одна изъ тѣхъ уступокъ, какъ одно изъ тѣхъ искреннихъ противорѣчій мечтательно-религіознаго настроенія, въ какое началъ впадать Лермонтовъ въ послѣдніе годы своей жизни. Титаническіе порывы начинали чередоваться съ христіанскимъ смиреніемъ, и одна крайность стала смѣняться другой. Обѣ крайности спорили, и никакъ не могли ужиться или сойтись на какомъ-нибудь соглашеніи. Поэтъ, колеблемый между ними, то молился, то вновь начиналъ

жаловаться на судьбу. Гордость не хотѣла сдѣлать уступки смиренію.

Противорѣчивая смѣна настроеній, мучившая поэта съ дѣтскихъ лѣтъ, не исчезла и въ этотъ послѣдній періодъ его жизни. Отъ Лермонтова, конечно, не ускользнулъ этотъ странный возвратъ къ старому душевному состоянію, которое утратило теперь для него свою прежнюю романтическую свѣжесть и недостатки и тяжесть котораго онъ самъ ощущалъ очень сильно. Онъ былъ похожъ на узника, который, въ своихъ прогулкахъ по темницѣ, осужденъ всегда вертѣться на одномъ мѣстѣ. Самому Лермонтову навертывалось это печальное сравненіе. Образъ узника былъ у него передъ глазами во всѣ послѣдніе годы его жизни. Стихотворенія: „Узникъ“ (1837), „Сосѣдъ“ (1837), „Плѣнный рыцарь“ (1841), Сосѣдка (1841) — всѣ рисуютъ одну и ту же печальную картину, которая блистательно дополнена и развита въ „Мцыри“.

Печаль о минувшемъ, долгіе годы самыхъ разнообразныхъ ощущеній, одинаково его не удовлетворившихъ, безплодная любовь и, тѣмъ не менѣе, жажда этой самой любви, упреки Богу, гордое одиночество, подчасъ скука отъ незнанія куда обратить весь богатый запасъ своихъ силъ— вотъ чувства, къ какимъ поэтъ, повидимому, иногда возвращался подъ конецъ своей жизни. Эти чувства во многомъ совпадали съ старымъ, традиціоннымъ настроеніемъ печальнаго Демона, и нѣтъ ничего удивительнаго въ томъ, что Лермонтовъ сталъ вновь интересоваться старымъ, туманнымъ символомъ своего дѣтства.

Въ 1838 году онъ вновь взялся за передѣлку своей юношеской поэмы и, окончивъ ее, началъ писать другую, гдѣ въ выборѣ героя прибѣгнулъ къ тому же образу.

„Сказка для дѣтей“ осталась неоконченной, и потому ея руководящая идея остается неясна. Сохранившійся отрывокъ разсказываетъ намъ біографію свѣтской барышни; но въ какое отношеніе долженъ стать къ этой дѣвушкѣ герой разсказа—намъ неизвѣстно. Авторъ имѣлъ, кажется, въ виду написать сатиру. Любопытно, что еще въ юношескихъ тетрадяхъ поэта есть проектъ написать сатирическую

поэму „Демонъ“. Не лишенъ интереса и тотъ фактъ, что нѣкоторыя изъ основныхъ чертъ демоническаго героя переносятся въ „Сказкѣ“ на героиню. Такимъ образомъ, передъ нами зародышъ единственнаго въ своемъ родѣ русскаго романа, гдѣ дѣйствующимъ лицомъ явилась-бы демоническая женщина. Но „Сказка для дѣтей“ все-таки отрывокъ и всякое гаданіе о ней произвольно.

IX.

Душевное настроеніе Лермонтова, за послѣдній періодъ его жизни, всего ярче отразилось въ поэмѣ „Мцыри“.

Какъ „Демонъ“ былъ символомъ дѣтства и юности поэта, такъ „Мцыри“—символъ послѣднихъ лѣтъ его жизни. Мы сдѣлаемъ попытку привести эту поэму въ связь съ тѣмъ душевнымъ настроеніемъ, какое мы отмѣтили въ только-что разобранныхъ стихотвореніяхъ.

Герой поэмы—юноша. Вольный горецъ, онъ ребенкомъ былъ взятъ въ плѣнъ и отданъ на воспитаніе монахамъ. Вдали отъ своихъ, выросъ онъ въ чуждой ему обстановкѣ, стѣснительной и совсѣмъ не говорившей его сердцу. Отца и матери онъ не зналъ, хотя душой чувствовалъ святость этихъ именъ. Единственнымъ утѣшеніемъ его жизни были смутныя воспоминанія о прежнихъ годахъ любви и свободы, которыя окружали его дѣтство среди родной ему природы. Контрастъ этихъ воспоминаній съ скучной и замкнутой монастырской жизнью оставался неразрѣшимымъ противорѣчіемъ, кругомъ, въ которомъ должны были вращаться его мысли и чувства. Онъ былъ одинокъ, и одиночество свое пытался скрашивать мечтой, неопредѣленной мечтой, которая влекла его куда-то въ даль, сулила ему въ будущемъ героическіе подвиги, прославившіе жизнь его предковъ, и обѣщала ему въ награду любовь, еще неиспытанную имъ въ жизни.

Кто не узнаетъ въ этомъ Мцыри самого автора? За исключеніемъ монастырской жизни, которая обрисована здѣсь слишкомъ мрачными красками, не вполнѣ соотвѣтствовавшими деревенской жизни поэта,—все остальное взято прямо изъ

личныхъ воспоминаній: одинокое дѣтство, мечтательность, жажда великихъ подвиговъ и тоска по любви и свободѣ.

Юноша не выдержалъ и убѣжалъ изъ монастыря на свободу безъ опредѣленной цѣли, руководимый однимъ желаніемъ вырваться изъ темницы.

Я зналъ одной лишь думы власть,
Одну—но пламенную страсть:
Она какъ червь во мнѣ жила,
Изгрызла душу и сожгла.
Она мечты мои звала
Отъ келій душныхъ и молитвъ
Въ тотъ чудный міръ тревогъ и битвъ,
Гдѣ въ тучахъ прячутся скалы,
Гдѣ люди вольны, какъ орлы,
Я эту страсть во тьмѣ ночной
Вскормилъ слезами и тоской.

[Мцыри, ш].

Онъ самъ сознается, что три дня, проведенные имъ на свободѣ, были для него цѣлой жизнью. Онъ жилъ жизнью самой природы, жилъ, какъ дикарь, упиваясь однимъ только чувствомъ безграничной свободы.

Ты хочешь знать, что дѣлалъ я
На волѣ? Жилъ—и жизнь моя
Безъ этихъ трехъ блаженныхъ дней
Была бъ печальнѣй и мрачнѣй
Безсильной старости твоей.
Давнымъ-давно задумалъ я
Взглянуть на дальнія поля,
Узнать, прекрасна ли земля,
Узнать, для воли иль тюрьмы
На этотъ свѣтъ родимся мы —
И въ часъ ночной, ужасный часъ,
Когда гроза пугала васъ,
Когда, столпясь при алтарѣ,
Вы ницъ лежали на землѣ,
Я убѣжалъ. О! я какъ братъ
Обняться съ бурей былъ бы радъ!
Глазами тучи я слѣдилъ,
Рукою молнію ловилъ...
Скажи мнѣ, что средь этихъ стѣнъ
Могли бы дать вы мнѣ въ замѣнъ

Той дружбы краткой, но живой,
Межъ бурнымъ сердцемъ и грозой *).
[Мцыри, VIII].

Никогда, въ монастырѣ, онъ не былъ такъ религіозно настроенъ, какъ среди этой дикой природы.

Что это упоеніе природой было искренно, доказываетъ замѣчательная задушевность всего пейзажа. Картины бурной и картины мирной жизни природы нарисованы съ одинаковымъ мастерствомъ. Во всемъ пейзажѣ преобладаетъ, однако, элегическое настроеніе, которое подготовляетъ насъ къ мирной и грустной развязкѣ всего разсказа. Природа какъ будто знала, что узникъ обреченъ на скорую смерть и потому не поскупилась для него своими красотами. Вспомнимъ стихи Лермонтова, гдѣ онъ говоритъ о природѣ и о своемъ отношеніи къ ней, и мы увидимъ, что Мцыри, въ своемъ разсказѣ, говоритъ отъ лица автора. И тотъ, и другой искали самозабвенія въ природѣ; и, на короткое время, дѣйствительно нашли его.

Среди свободной природы юноша встрѣтился съ молодой грузинкой, которая прошла мимо него, какъ небесное видѣніе; она прошла мимо, не замѣтивъ его, и скрылась въ родную ей саклю. Читая строфы, посвященныя ея описанію и слѣдующую затѣмъ сцену сна, невольно вспоминаешь тѣ любовные стихи, въ которыхъ Лермонтовъ описываетъ идеальный образъ своей любви, когда-то и гдѣ-то имъ встрѣченный, затѣмъ навѣки утерянный. Этотъ воздушный образъ оставилъ въ душѣ поэта тотъ же осадокъ горечи и сладости, какой оставила грузинка въ душѣ Мцыри.

---

*) Tis vain—my tongue can not impart
My almost drunkenness of heart,
When first this liberated eye
Survey'd Earth, Ocean, Sun, and Sky,
As if my spirit pierced them through,
And all their inmost wonders knew!
One word alone can paint to thee
That more than feeling—I was free!

Byron.

Сонъ освѣжилъ силы странника, и онъ сталъ продолжать свой путь къ родному краю, забывъ, что теперь для этого края онъ человѣкъ совсѣмъ чуждый.

Мцыри думалъ стойко преодолѣть всѣ препятствія, какими природа заградила ему дорогу на родину.

Сцена борьбы съ барсомъ, — одна изъ лучшихъ сценъ поэмы. Человѣкъ, ищущій свободы, вступаетъ въ отчаянную борьбу съ свободнымъ сыномъ природы. И барсъ, и Мцыри— родные по крови и враги случайные. Они одинаково любятъ свой край и свою свободу. Но между ними происходитъ неожиданное столкновеніе и слабѣйшій погибаетъ. Какъ часто происходили такія столкновенія между Лермонтовымъ и горными героями, съ которыми онъ дрался! Какъ поэтъ отдалъ справедливость своимъ врагамъ, такъ и Мцыри описываетъ смерть барса съ чувствомъ побѣдителя, отдающаго должное отвагѣ своего противника.

Какъ извѣстно, Мцыри вернулся вновь къ своей темницѣ, проблуждавъ напрасно въ горахъ и не найдя дороги къ обѣтованному краю. Все, что онъ вынесъ изъ этой отчаянной попытки вырваться на волю, было: трехдневная жизнь съ природой, сонъ любви и безплодный геройскій подвигъ— убійство невиннаго звѣря.

Не то ли же самое вынесъ и Лермонтовъ изъ своей кочевой жизни на Кавказѣ?

Мы знаемъ даже, что предчувствіе смерти, которое такъ поэтически описано въ послѣднемъ снѣ Мцыри, оправдалось на нашемъ поэтѣ.

Подводя окончательный итогъ всей литературной дѣятельности Лермонтова за этотъ послѣдній періодъ его жизни, мы должны сказать, что поэтъ остался при старыхъ неустойчивыхъ и противорѣчивыхъ взглядахъ на всѣ вопросы жизни. Онъ не пришелъ ни къ какому положительному рѣшенію ни въ одномъ вопросѣ; не достигъ ни въ одномъ пунктѣ примиренія съ жизнью. Но этотъ разладъ и эти противорѣчія показываютъ намъ, что желаніе выпутаться изъ нихъ и энергичныя попытки разрѣшить ихъ не ослабѣвали въ Лермонтовѣ. Несмотря на житейскую философію индиф-

ферентизма, какую онъ проводилъ въ „Маскарадѣ“, и—какъ сейчасъ увидимъ — развивалъ подробно въ „Героѣ нашего времени“,—поэтъ чувствовалъ необходимость постоянно и упорно думать надъ трудной задачей жизни и не хотѣлъ отъ нея сторониться, какъ сторонились его главные герои въ минуту душевной усталости и вполнѣ объяснимаго озлобленія.

X

ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

I.

Изъ предыдущей главы читатель могъ составить себѣ понятіе о душевномъ настроеніи Лермонтова въ послѣдніе годы его жизни. Это настроеніе нельзя назвать „безочарованіемъ“, какъ окрестилъ его Жуковскій, а за нимъ Гоголь. Оно было скорѣе безотчетнымъ и скоропроходящимъ очарованіемъ всѣми серьезными вопросами жизни и тѣми внѣшними явленіями, въ которыхъ эти вопросы выступали наружу. Мы сказали „скоропроходящимъ“, намекая, въ данномъ случаѣ, на то обстоятельство, что всѣ эти порывы чувства у Лермонтова были тотчасъ же охлаждаемы разсудкомъ сильнымъ и строгимъ, но не имѣвшимъ никакихъ опредѣленныхъ и установившихся взглядовъ на тѣ самые вопросы, которые такъ волновали сердце поэта. Поэтъ то выросталъ, въ своихъ собственныхъ глазахъ, до величественнаго образа пророка, то приравнивалъ себя къ слабой промотавшейся толпѣ; молился искренно и вновь впадалъ въ сомнѣнье; искалъ покоя на лонѣ природы, и бросался въ кровопролитную битву; сочинялъ любовные стихи и въ тоже время писалъ эпиграммы на женщинъ; такъ писалъ онъ — сообразно съ наплывами чувствъ или приступами анализа, между которыми постоянно колебался.

Эти противорѣчія въ мысляхъ и чувствахъ должны были повести за собою и противорѣчія въ жизни. Нервное состояніе духа должно было отразиться на нервности въ поступкахъ. Поэтъ съ Кавказа леталъ въ Петербургъ, изъ Петербурга вновь на Кавказъ; веселился въ обществѣ и воз-

вращался домой печальный, былъ печаленъ въ обществѣ и ѣхалъ веселиться за городъ, проказничалъ какъ школьникъ и вдругъ становился угрюмъ, серьезенъ не по лѣтамъ.

Съ этими капризами нервнаго и впечатлительнаго человѣка должны были считаться окружающіе, для которыхъ такіе капризы и примиреніе съ ними не были обязательны.

Эта нервность поэта, вырождавшаяся очень часто въ капризное своеволіе и бравурство, была главной причиной той несчастной дуэли, которая неожиданно прервала жизнь Лермонтова въ самый критическій моментъ ея развитія.

Пятьдесятъ лѣтъ прошло со смерти поэта, и обстоятельства дуэли остались до сихъ поръ неразгаданными. Друзья поэта говорили осторожно, не желая, быть можетъ, съ точностью опредѣлить степень виновности дорогого имъ человѣка; противникъ и его знакомые также хранили молчаніе изъ весьма понятнаго чувства деликатности. Намъ кажется, что въ этихъ осторожныхъ показаніяхъ нѣтъ нужды подозрѣвать какой-либо особой тайны.

Дуэль въ то время была явленіемъ очень обыкновеннымъ, не только въ военныхъ, но и въ свѣтскихъ кругахъ общества; и для Лермонтова послѣдняя дуэль была не первой. Ближайшія причины, вызвавшія ее, извѣстны: она была слѣдствіемъ салоннаго соперничества двухъ молодыхъ людей, изъ которыхъ одинъ, уступая другому въ умѣ и талантѣ, побѣждалъ его внѣшними преимуществами. Вражды, въ точномъ смыслѣ этого слова, между соперниками не было, такъ какъ ни идейная рознь, ни ревность ихъ не разъединяли. Цѣной побѣды былъ просто свѣтскій успѣхъ или, другими словами, удовлетворенное самолюбіе,—кумиръ, которому Лермонтовъ приносилъ не первую жертву. Изъ показаній свидѣтелей ясно также, что Лермонтовъ всегда переводилъ споръ на свою почву и выбиралъ оружіе, которымъ его противникъ не владѣлъ, а именно свое остроуміе, желчное и безпощадное. Примирить противниковъ могла только уступка со стороны Лермонтова, на которую онъ не соглашался, несмотря на многократныя предостереженія, или борьба на равныхъ условіяхъ и оружіемъ, одинаково доступнымъ обоимъ противникамъ.

Эта борьба кончилась для Лермонтова очень плачевно и лишила Россію многихъ литературныхъ сокровищъ, на которыя, конечно, она могла разсчитывать, судя по тому, что успѣлъ сдѣлать Лермонтовъ за короткій срокъ своей жизни.

II.

Чтобы закончить обзоръ литературной дѣятельности Лермонтова, намъ осталось разобрать самое крупное изъ его произведеній, его знаменитый романъ „Герой нашего времени“.

Личность Печорина почему-то неразрывно связалась въ нашемъ представленіи съ личностью самого поэта; и на самый романъ мы привыкли смотрѣть, какъ на литературное завѣщаніе, какъ на „послѣднее слово“, сказанное поэтомъ.

Послѣднимъ словомъ „Герой нашего времени“ не былъ. Со времени его напечатанія до смерти Лермонтова протекло около двухъ лѣтъ; и Лермонтовъ, въ своемъ развитіи, успѣлъ оставить позади себя своего героя, успѣлъ даже разлюбить его, судя по тому, что не написалъ и даже не набросалъ продолженія романа, который былъ такъ восторженно принятъ публикой и составилъ славу своему автору. Можно сказать съ увѣренностью, что предисловіе ко второму изданію „Героя нашего времени“ не вполнѣ выражало то мнѣніе, какого держался авторъ относительно Печорина, когда, въ первый разъ, печаталъ его записки. Въ этомъ предисловіи ко второму изданію Лермонтовъ слишкомъ ясно подчеркиваетъ свое намѣреніе изобразить „порочнаго“ человѣка и предать его на судъ общества; самый романъ не носитъ однако обличительнаго характера, и, дѣйствительно, скорѣе простой дневникъ, чѣмъ обдуманная сатира. Лермонтовъ первоначально не задавался мыслью „казнить“ кого-нибудь или выставлять на показъ чьи-либо „пороки“, а просто зазакрѣпилъ въ реальномъ образѣ Печорина одинъ изъ моментовъ своего собственнаго душевнаго настроенія, какъ онъ это дѣлалъ раньше, когда писалъ „Страннаго человѣка“, „Двухъ братьевъ“ и „Маскарадъ“.

Этотъ моментъ, отраженный въ Печоринѣ, былъ уже пережитъ авторомъ въ 1841 году. Въ этомъ мы можемъ убѣдиться, сравнивши настроеніе Лермонтова въ послѣдніе годы его жизни съ настроеніемъ Печорина.

Мы видѣли изъ стиховъ, приведенныхъ въ предыдущей главѣ, что въ 1840 — 41 годахъ поэтъ вновь переживалъ мучительную эпоху переработки и пересмотра всѣхъ основныхъ вопросовъ жизни. Мы знаемъ также, что ему и на этотъ разъ не удалось доработаться до какихъ-либо устойчивыхъ взглядовъ на міръ и человѣка, и что онъ постоянно былъ въ противорѣчіи съ самимъ собою.

Одинъ уже этотъ процессъ неустанной критической переработки основныхъ вопросовъ жизни показываетъ намъ, что поэтъ отошелъ на довольно далекое разстояніе отъ того эгоистическаго „безочарованія“, въ какомъ дѣйствительно погрязъ Печоринъ. Лермонтовъ потому и не былъ въ состояніи продолжать своего романа, что его субъективное настроеніе духа перестало совпадать съ душевнымъ настроеніемъ главнаго героя. Печоринъ для Лермонтова сталъ прошедшимъ, хотя для многихъ современниковъ поэта оставался настоящимъ. Онъ одно время былъ любимцемъ читающей публики именно потому, что давалъ одностороннее, но очень ясное рѣшеніе жизненной загадки, и притомъ такое рѣшеніе, которое для усвоенія не требовало отъ людей ни энергіи, ни ума. Лермонтовъ располагалъ этими качествами, и они не позволили ему усвоить житейскую философію Печорина.

На Печорина, какъ намъ кажется, нельзя ни въ какомъ случаѣ смотрѣть, какъ на окончательный выводъ, къ которому пришелъ поэтъ въ своихъ размышленіяхъ о жизни, ея цѣнности и назначеніи.

III.

Мы прослѣдимъ теперь въ общихъ чертахъ зарожденіе и развитіе печоринскаго характера.

Какъ человѣкъ крупный, стоящій надъ общимъ уровнемъ, Печоринъ принадлежитъ къ той же семьѣ демони-

ческихъ натуръ, съ которыми мы постоянно встрѣчались въ произведеніяхъ Лермонтова. Онъ родственникъ Демона, Арбенина, Радина, Арсенія и Измаила, и онъ, вмѣстѣ съ тѣмъ дальнѣйшее развитіе всѣхъ этихъ типовъ.

Въ предыдущихъ главахъ нами было указано, какъ отвлеченный типъ демоническаго человѣка принималъ, подъ перомъ Лермонтова, временами конкретный обликъ, по мѣрѣ того, какъ поэтъ сближалъ свое творчество съ жизнью. Это воплощеніе отвлеченнаго типа шло, однако, непослѣдовательно; и реальные образы постоянно чередовались у Лермонтова съ образами идеальными. Послѣ Демона слѣдовали непосредственно три реальныхъ типа: Арбенинъ, Волинъ и Радинъ, за ними—идейный образъ Измаилъ-Бея и историческій Вадима, затѣмъ идейно-реальный типъ Арбенина въ „Маскарадѣ“, легендарный Арсенія въ „Бояринѣ Оршѣ“, наконецъ, Печоринъ и послѣ Печорина снова легендарный образъ Мцыри. Такимъ образомъ, объ стороны лермонтовской природы, его фантастическій романтизмъ и его житейскій смыслъ и вкусъ къ современности отражались попеременно въ его произведеніяхъ. Мечта и дѣйствительность постоянно ссорились не только въ разныхъ типахъ, но иногда въ одномъ и томъ же лицѣ.

Дѣйствительно, если Демонъ и почти современные ему типы юношескихъ драмъ поэта представляютъ собою два діаметрально противуположныхъ способа художественнаго пониманія и изображенія жизни и могутъ служить примѣрами идеализма и реализма въ искусствѣ, то во всѣхъ слѣдующихъ типахъ мы найдемъ эти два направленія уже въ смѣшанномъ видѣ. Такъ, напримѣръ, Измаилъ-Бей и Мцыри, при всей ихъ идейной концепціи, содержатъ много чисто реальныхъ чертъ въ своихъ поступкахъ и чувствахъ. Съ другой стороны, Арбенинъ въ „Маскарадѣ“ и Печоринъ, типы, выхваченные повидимому изъ жизни, въ цѣломъ отступаютъ снова отъ житейской правды и приближаются нѣсколько къ идейно-общимъ типамъ.

Мы уже видѣли, что Арбенинъ въ „Маскарадѣ“—своего рода перелицованный Демонъ. Печоринъ болѣе естественъ и правдоподобенъ, чѣмъ Арбенинъ; но и онъ не можетъ

быть названъ образцомъ реальнаго типа, какъ мы теперь такой типъ понимаемъ. Его душа для насъ темна и неопредѣленна. Его внутренній міръ изложенъ передъ нами не въ одной общей и связной картинѣ, а въ отрывкахъ, которые позволяютъ намъ лишь украдкой заглянуть ему въ душу. Его прошлое намъ неизвѣстно; на будущее не дано никакого намека; передъ нами, какъ почти во всѣхъ типахъ Лермонтова,—одинъ моментъ душевнаго состоянія, довольно подробно описанный и взятый какъ будто на выдержку изъ большого недописаннаго романа.

Мы имѣемъ свѣдѣніе, что Лермонтовъ, дѣйствительно, хотѣлъ написать большой романъ, который долженъ былъ охватить русскую жизнь за цѣлую четверть столѣтія; быть можетъ „Герой нашего времени“ глава изъ этого романа.

„Герой нашего времени“, какъ извѣстно, вызвалъ сильное разногласіе въ критикѣ. Одни видѣли въ Печоринѣ типъ умнаго прогрессивнаго человѣка, но загубленнаго обстоятельствами жизни; другіе—типъ свѣтскаго денди, достаточно пошлаго и совсѣмъ безцѣльно существующаго на свѣтѣ. Источникъ этого разногласія заключается въ туманности самого образа, въ томъ, что образъ, взятый изъ современной жизни и поставленный въ такую реальную обстановку, тѣмъ не менѣе образъ слишкомъ общій и туманный.

Лермонтовъ самъ сознается въ предисловіи ко второму изданію своего романа, что Печоринъ портретъ не одного человѣка; что это портретъ, составленный изъ пороковъ всего тогдашняго поколѣнія, въ полномъ ихъ развитіи. „Вы мнѣ опять скажете“,—добавляетъ поэтъ,—„что человѣкъ не можетъ быть такъ дуренъ; а я вамъ скажу, что ежели вы вѣрили возможности существованія всѣхъ трагическихъ и романтическихъ злодѣевъ, отчего же вы не вѣруете въ дѣйствительность Печорина? Если вы любовались вымыслами, гораздо болѣе ужасными и уродливыми, отчего же этотъ характеръ, даже какъ вымыселъ, не находитъ у васъ пощады? Ужъ не оттого ли, что въ немъ больше правды, нежели вы того желали“...

Пожалуй, въ цѣломъ, въ Печоринѣ больше правды, чѣмъ

въ прежнихъ романтическихъ герояхъ Лермонтова, но онъ все-таки типъ неясный и полный противорѣчій.

Откуда въ немъ это смѣшеніе глубокой и искренней любви съ кокетствомъ и издѣвательствомъ надъ женщиной? Откуда эта неподдѣльная меланхолія, съ постоянной жаждой выставить себя на показъ и порисоваться? Какъ объяснить эту способность чувствовать все прекрасное и вмѣстѣ съ тѣмъ это, повидимому, полное разочарованіе? Откуда этотъ безграничный эгоизмъ, при далеко не жесткомъ сердцѣ?

Печоринъ правъ, говоря про себя, что въ немъ живутъ двѣ души: онѣ жили и въ самомъ авторѣ, когда онъ писалъ свой романъ. Какъ въ Лермонтовѣ не было установившихся взглядовъ на жизнь, такъ нѣтъ ихъ и въ Печоринѣ, несмотря на то, что онъ стремится всегда быть послѣдовательнымъ и логичнымъ въ своихъ поступкахъ.

Но Печорина отличаетъ отъ самого Лермонтова одна очень важная черта — *его бездѣлье* и *полное отсутствіе думы о будущемъ*. Лермонтовъ постоянно имѣлъ въ виду свое будущее, и ради него пытался распутать сложные вопросы жизни. Печоринъ порѣшилъ всѣ эти вопросы разомъ, подавивъ въ себѣ всякую попытку рѣшить ихъ. Онъ помирился съ жизнью чисто пассивно, тогда какъ, по природѣ своей, былъ предрасположенъ къ примиренію активному. Въ данномъ противорѣчіи *принятаго* рѣшенія съ *природными* свойствами человѣка заключается, на нашъ взглядъ, ключъ къ пониманію этого темнаго характера, въ которомъ безспорно много жизненной правды, но много и поэтическаго вымысла.

Въ 1839 году, когда Лермонтовъ писалъ „Героя нашего времени“, житейская философія Печорина была вполнѣ по душѣ автору. Мы знаемъ, что въ этомъ году Лермонтовъ, возвратясь изъ первой своей ссылки, велъ разсѣянную жизнь въ Петербургѣ. Его душевное настроеніе было въ то время очень тревожно, несмотря на свѣтскія забавы. Въ тотъ годъ имъ написаны стихотворенія: „Не вѣрь себѣ“ и „Поэтъ“—произведенія, въ которыхъ наиболѣе рельефно выразились его сомнѣнія въ своемъ собственномъ призваніи. Лермонтовъ, съ дѣтскихъ лѣтъ страдавшій подъ тяжестью

этихъ постоянныхъ сомнѣній и уже разъ попытавшійся потопить ихъ въ винѣ и разгулѣ, легко могъ прійти, наконецъ, къ выводу, что наилучшее средство противъ этой изнурительной болѣзни—полное примиреніе съ жизнью на почвѣ пассивнаго прозябанія и отказъ отъ всякихъ тревожныхъ мыслей. Этотъ печальный выводъ онъ и воплотилъ въ образѣ Печорина. Понятно, что поэтъ долженъ былъ очень скоро разстаться со своимъ героемъ, такъ какъ сама жизнь заставила его вновь приняться за пересмотръ произвольно рѣшенныхъ вопросовъ, и такъ какъ въ немъ самомъ хорошія стороны Печорина скоро осилили печоринскіе пороки.

IV.

„Герой нашего времени“, какъ мы уже имѣли случай замѣтить, тѣсно связанъ съ прежними произведеніями Лермонтова; онъ—варіація одного общаго типа, который постоянно занималъ фантазію поэта. Наибольшее сходство имѣетъ Печоринъ съ Александромъ Радинымъ, характеръ котораго, по всѣмъ вѣроятіямъ, служилъ Лермонтову точкой отправленія въ его новой работѣ. Нѣкоторыя слова Радина цѣликомъ вложены въ уста Печорина и нѣтъ сомнѣнія, что Лермонтовъ дѣлалъ такія заимствованія умышленно, а не случайно.

Сравнивая эти два типа: Печорина и Радина, мы замѣчаемъ въ нихъ, при всемъ отличіи одного типа отъ другого, двѣ сходныя характерныя черты,—холодную сдержанность, слѣдствіе горькаго житейскаго опыта, и эгоизмъ, какъ единственное вѣрное оружіе въ житейской борьбѣ. Другія черты характера Печорина: его чуткость ко всему поэтичному, его страстность и несчастная сердечная исторія заимствованы Лермонтовымъ изъ той же юношеской драмы: „Два брата“, но списаны съ другого лица, съ брата Александра Радина—Юрія, молодого идеалиста, мечтателя и обманутаго жениха. Такимъ образомъ типъ Печорина составился изъ двухъ первоначальныхъ типовъ; онъ соединилъ въ себѣ два момента въ развитіи самого автора—моментъ отзыв-

чиваго увлеченія и моментъ холоднаго недовѣрія, которое было слѣдствіемъ обманутой надежды и вѣры.

Новый типъ вышелъ туманенъ и противорѣчивъ, какъ противорѣчивы были два основныхъ типа, изъ которыхъ онъ сложился. „У меня врожденная страсть противорѣчить, — говоритъ про себя Печоринъ, — цѣлая моя жизнь была только цѣпь грустныхъ противорѣчій сердцу и разсудку. Присутствіе энтузіаста обдаетъ меня крещенскимъ холодомъ; и я думаю, частыя сношенія съ вялымъ флегматикомъ сдѣлали бы изъ меня страстнаго мечтателя“. Это признаніе чрезвычайно важно: оно показываетъ, что Печоринъ никакъ не можетъ быть названъ установившимся характеромъ; онъ—неустановившійся человѣкъ въ *покоѣ*, котораго обстоятельства жизни и среда, даже простое противорѣчіе могутъ направить совершенно неожиданно на самыя различныя дороги. Увлеченіе и энтузіазмъ лишь на время уравновѣшены въ немъ разочарованіемъ и холодностью; но любой, даже пустой случай легко можетъ нарушить это искуственное равновѣсіе.

Съ самимъ Печоринымъ, въ которомъ авторъ съумѣлъ на мгновеніе уравновѣсить обѣ половины своей бурной души, никогда не знавшей покоя, мы встрѣчаемся въ первый разъ, въ 1836 году, въ повѣсти: „Княгиня Лиговская“. Эта повѣсть, какъ и юношескія драмы, носитъ безспорно автобіографическій характеръ, въ чемъ можно убѣдиться, сравнивъ разсказъ о воспитаніи Печорина, героя „Княгини Лиговской“, и объ его офицерской жизни съ тѣми свѣдѣніями, какія сохранились о молодости самого автора. Повѣсть не окончена, и потому звено, соединяющее юношескія драмы съ „Героемъ нашего времени“, утрачено; но одинъ изъ основныхъ мотивовъ „Героя“ сохраненъ въ этомъ разсказѣ.

Молодой свѣтскій офицеръ, Григорій Александровичъ Печоринъ [„Княгиня Лиговская“], когда-то былъ женихомъ молодой особы, вышедшей не по любви замужъ за князя Лиговскаго. Онъ и прежній Юрій Радинъ, у котораго тотъ же князь отбилъ невѣсту въ драмѣ „Два брата“,—одно и то же лицо; только у Юрія, какъ мы сказали, есть братъ,

а у Печорина его нѣтъ; личности обоихъ братьевъ слились въ одну.

Печоринъ, въ повѣсти „Княгиня Лиговская“, очень молодой человѣкъ, но, несмотря на молодость, съ богатымъ духовнымъ прошлымъ, какъ всѣ молодые герои Лермонтова. Человѣкъ гордый, онъ любилъ играть роль; но эта роль ему давалась очень трудно. Онъ „искалъ пьедестала, вставъ на который, онъ могъ бы заставить толпу взглянуть на себя“, „онъ оскорблялся равнодушіемъ свѣта къ нему, потому что оцѣнилъ свѣтъ въ настоящую его цѣну. Онъ зналъ, что заставить говорить о себѣ легко; но зналъ также, что свѣтъ два раза сряду не занимается однимъ и тѣмъ же лицомъ“. „У него прежде было занятіе—сатира“.

Эта сатира была не простой насмѣшкой, но отзывалась злостью и презрѣніемъ, которыя родились въ гордой душѣ Печорина, какъ слѣдствіе замкнутой жизни и недовѣрія. Онъ чувствовалъ въ себѣ избытокъ силъ, и считалъ себя въ правѣ требовать, чтобы и другіе оказывали этимъ скрытымъ силамъ должное почтеніе. Хотя на его лицѣ были „глубокіе слѣды прошедшаго и чудныя обѣщанія будущаго“, и „толпа говорила, что въ его блестящихъ глазахъ есть что-то“,—тѣмъ не менѣе въ обществѣ онъ не былъ замѣченъ. Общество, свѣтъ, и главнымъ образомъ женщины,—вотъ арена, на которой пока онъ пробовалъ свои силы. „Увлекаясь самъ наружной красотой и обладая умомъ рѣзкимъ и проницательнымъ, Печоринъ умѣлъ смотрѣть на себя съ безпристрастіемъ и, какъ обыкновенно люди съ пылкимъ воображеніемъ, преувеличивалъ свои недостатки. Убѣдясь, по собственному опыту, какъ трудно влюбиться въ одни душевныя качества, онъ сдѣлался недовѣрчивъ и пріучился объяснять вниманіе и ласки женщинъ разсчетомъ или случайностью. Въ томъ, что̀ казалось бы другому доказательствомъ нѣжнѣйшей любви, онъ пренебрежительно видѣлъ примѣты, обманчивыя слова, сказанныя безъ намѣренія, взгляды, улыбки, брошенные на вѣтеръ первому, кто захочетъ ихъ поймать. Другой бы упалъ духомъ и уступилъ соперникамъ поле сраженія, но трудность борьбы увлекаетъ упорный характеръ; и Печоринъ далъ себѣ честное слово остаться побѣдителемъ“.

Разсказъ „Княгиня Лиговская“ долженъ былъ насъ познакомить съ этими побѣдами; но онъ неоконченъ, и все, что̀ мы знаемъ о Печоринѣ съ этой стороны, сводится къ одному эпизоду—къ интригѣ съ замужней женщиной, которая была прежде его невѣстой, къ глубокой затаенной любви героя и къ его мести за оскорбленное самолюбіе. Печоринъ, обманутый одной женщиной, вымещаетъ свою злобу на другихъ, иногда очень некрасивымъ образомъ, болѣе жестокимъ и менѣе благороднымъ, чѣмъ его позднѣйшій поступокъ съ княжной Мери.

Такимъ образомъ въ разсказѣ „Княгиня Лиговская“ передъ нами основная канва главнаго эпизода „Героя нашего времени“, разсказа—„Княжна Мери“.

Для характеристики самого Печорина разсказъ „Княгиня Лиговская“ даетъ немного. Въ этомъ разсказѣ Печоринъ,—личность обрисованная блѣдно, несмотря на біографическія данныя, какими авторъ обставилъ его характеристику. Онъ—типъ человѣка пока еще съ неустановившимся характеромъ человѣка, въ которомъ развивающійся эгоизмъ и пессимизмъ одерживаютъ послѣднія побѣды надъ умирающимъ прежнимъ идеализмомъ и довѣрчивостью,—образъ, о которомъ можно сказать, какъ о Демонѣ, что онъ „ни ночь, ни день, ни мракъ, ни свѣтъ“, а нѣчто среднее.

Однако годы взяли свое,—и Печоринъ на Кавказѣ успѣлъ выработать нѣсколько иную житейскую философію—хладнокровную и спокойную, къ которой онъ не былъ способенъ въ Петербургѣ, въ гостиной княгини Лиговской. Многое въ жизни утратило для него прелесть и новизну; и онъ сталъ чувствовать необходимость покоя, который и нашелъ въ пассивномъ примиреніи съ жизнью. Печоринъ-романтикъ превратился въ трезваго и разсудочнаго человѣка, — но лишь на очень короткій срокъ, какъ мы замѣтили выше.

Еще Бѣлинскій сказалъ про Печорина, что этотъ человѣкъ самъ себя не понимаетъ и нерѣдко на самого себя клевещетъ. Этими словами критикъ хотѣлъ нѣсколько загладить то непріятное впечатлѣніе, какое производитъ личность Печорина при первомъ ознакомленіи съ нею. Дѣйствительно читатель, разставаясь съ книгой, выноситъ о героѣ

нелестное мнѣніе, какъ о холодномъ эгоистѣ и разсудочномъ матеріалистѣ. Тѣ тонкіе штрихи, какими авторъ оттѣняетъ хорошія и мягкія стороны характера героя, пропадаютъ передъ яркими и театральными позами, какія принимаетъ герой въ моменты своего несимпатичнаго поведенія.

Теперь мы коснемся, въ отдѣльности, нѣкоторыхъ чувствъ и мыслей Печорина.

V.

Прежде всего мы имѣемъ дѣло съ человѣкомъ очень нервнымъ и капризнымъ, и поэтому заранѣе должны отказаться отъ мысли найти строгую послѣдовательность въ его рѣчахъ и поступкахъ. Человѣку простому, каковъ напримѣръ, Максимъ Максимовичъ, такая натура должна была показаться загадочной, а человѣку бывалому, но не очень проницательному, поведеніе Печорина можетъ казаться просто фальшивой позой и умышленнымъ кривляніемъ. Но если Печоринъ дѣйствительно загадочная натура въ томъ смыслѣ, что авторъ соединилъ въ немъ жизненную правду съ большой долей поэтическаго вымысла, то позы,—т.-е. неискренняго проявленія неиспытаннаго чувства въ Печоринѣ нѣтъ. Онъ обладаетъ только способностью совмѣщать въ себѣ цѣлый рядъ противорѣчивыхъ чувствъ, изъ которыхъ каждое глубоко захватываетъ его душу, а не скользитъ только по ея поверхности.

Внѣшній видъ героя и его поведеніе вполнѣ соотвѣтствовали его странному темпераменту: „Стройный, тонкій станъ его и широкія плечи доказывали крѣпкое сложеніе, способное переносить всѣ трудности кочевой жизни и перемѣны климатовъ, не побѣжденное ни развратомъ столичной жизни, ни бурями душевными... Его походка была небрежна и лѣнива, но онъ не размахивалъ руками, вѣрный признакъ нѣкоторой скрытности характера... Съ перваго взгляда на лицо его,—говоритъ авторъ,—я бы не далъ ему болѣе двадцати-трехъ лѣтъ, хотя послѣ я готовъ былъ дать ему тридцать. Въ его улыбкѣ было что-то дѣтское. Его кожа имѣла какую-то женскую нѣжность. Несмотря на свѣт-

лый цвѣтъ его волосъ, усы его и брови были черные... Его глаза не смѣялись, когда онъ смѣялся. Это признакъ или злого нрава, или глубокой, постоянной грусти. Изъ-за полуотпущенныхъ рѣсницъ опи сіяли какимъ-то фосфорическимъ блескомъ, если можно такъ выразиться. То не было отраженіе жара душевнаго или играющаго воображенія: то былъ блескъ, подобный блеску гладкой стали,—ослѣпительный, но холодный; взглядъ его—непродолжительный, но проницательный и тяжелый, оставлялъ по себѣ непріятное впечатлѣніе нескромнаго вопроса, и могъ бы показаться дерзкимъ, еслибы не былъ столь равнодушно спокоенъ".

Такая внѣшность сама говоритъ за себя; она полна странныхъ сочетаній, загадочности и демонической красоты, какъ поступки героя полны капризовъ и неожиданности: „Въ дождикъ и холодъ онъ бывалъ цѣлый день на охотѣ; всѣ иззябнутъ, устанутъ, а ему ничего. А другой разъ сидитъ у себя въ комнатѣ, вѣтеръ пахнетъ, увѣряетъ, что простудился; ставень стукнетъ, онъ вздрогнетъ и поблѣднѣетъ, а ходилъ на кабана одинъ на одинъ; бывало по цѣлымъ часамъ слова не добьешься, зато ужъ иногда начнетъ разсказывать, такъ животики надорвешь отъ смѣху".

Нѣтъ сомнѣнія, что личность героя была обаятельна, тѣмъ болѣе, что никто, при встрѣчѣ съ нимъ, не могъ сказать напередъ, какихъ ему ждать отвѣтовъ на заданные вопросы. Склонность къ парадоксамъ и сдержанность въ разговорахъ еще болѣе интриговали окружающихъ. Самъ герой отлично понималъ свое выгодное положеніе, и потому разговоры его были отрывочны и кратки. Если онъ долго и подробно бесѣдовалъ съ докторомъ, то лишь потому, что у автора не было другого средства познакомить читающую публику съ своимъ героемъ. Со всѣми другими лицами Печоринъ только перебрасывался фразами. Скрытность осталась основной чертой его характера.

Лермонтовъ, сколько извѣстно по воспоминаніямъ, также не любилъ длинныхъ разговоровъ и споровъ; онъ какъ будто таилъ свои мысли про себя. Многіе приписывали эту черту характера его гордости, но вѣрнѣе будетъ, если мы въ ней усмотримъ мѣру предосторожности, какую принималъ, без-

спорно, умный человѣкъ, чтобы казаться интереснымъ и не сразу открывать своихъ картъ.

Несмотря на скрытность Печорина, на отрывочность его парадоксовъ и сентенцій, въ „Героѣ нашего времени“ есть много мѣстъ, могущихъ служить обвинительными рѣчами противъ самого героя романа.

Тотъ, кто пожелаетъ видѣть въ Печоринѣ холоднаго эгоиста, скептика или даже матеріалиста, найдетъ легко подтвержденіе своему мнѣнію. Онъ укажетъ, прежде всего, на его капризный эгоизмъ, который не постѣснился, какъ будто ради своей прихоти, разбить жизнь невинной Бэлы и чуть не разбилъ жизнь княжны Мери.

„Есть необъятное наслажденіе,—говоритъ герой,—въ обладаніи молодой, едва распустившейся души! Она, какъ цвѣтокъ, котораго лучшій ароматъ испаряется на встрѣчу первому лучу солнца; его надо сорвать въ эту минуту и, подышавъ имъ досыта, бросить на дорогѣ, авось кто-нибудь подниметъ. Я смотрю на страданія и радости другихъ только въ отношеніи къ себѣ, какъ на пищу, поддерживающую мои душевныя силы. Возбуждать къ себѣ чувство любви, преданности и страха не есть ли первый признакъ и торжество власти? Быть для кого-нибудь причиною страданій и радостей, не имѣя на то никакого положительнаго права, не самая ли это сладкая пища нашей гордости? А что такое счастье? Насыщенная гордость“. Вотъ образецъ любовной философіи героя. Ее можно дополнить еще одной замѣткой, что проведеніе этихъ принциповъ на практикѣ доставляетъ герою, по его собственнымъ словамъ, „необъятное наслажденіе“. Въ эти минуты,—онъ „понимаетъ вампира“. Это чувство вампира Бѣлинскій, по деликатности своей натуры, понять отказался.

Что такое дружба въ глазахъ Печорина? На этотъ вопросъ онъ даетъ отвѣтъ очень ясный: „Я къ дружбѣ неспособенъ,—говоритъ онъ:—изъ двухъ друзей всегда одинъ рабъ другого, хотя часто ни одинъ изъ нихъ въ этомъ себѣ не признается; рабомъ я быть не могу, а повелѣвать, въ этомъ случаѣ, трудъ утомительный, потому что надо вмѣстѣ съ этимъ и обманывать, да притомъ у меня есть лакеи и

деньги". Едва ли найдется другое, болѣе циничное опредѣленіе дружбы!

Любовь и дружба — единственныя чувства, о которыхъ герой говоритъ подробно. Остальные вопросы, какіе жизнь ставитъ человѣку, почти обойдены имъ молчаніемъ. Въ одномъ мѣстѣ онъ вскользь говоритъ о томъ, что вообще не имѣетъ убѣжденій; въ другомъ—бросаетъ нѣсколько скептическихъ фразъ о безсмертіи души; въ третьемъ—мимоходомъ упоминаетъ о своемъ безотрадномъ будущемъ. Изъ тѣхъ выписокъ, которыя мы привели, можно видѣть, что герой, если вѣрить его словамъ, одинъ изъ самыхъ черствыхъ эгоистовъ, для котораго всѣ чувства обязательны лишь настолько, насколько онѣ доставляютъ ему личное самоуслажденіе. Нравственнаго закона, повидимому, для него не существуетъ. Но если этотъ нравственный законъ былъ дѣйствительно для него не обязателенъ, то въ самой его природѣ были нравственныя черты, которыя невольнымъ своимъ проявленіемъ опровергали высказанныя имъ сентенціи. Разумъ диктовалъ ему одно, а сердце иногда подсказывало совсѣмъ иное.

Начнемъ хотя бы съ его любовныхъ похожденій, которымъ отведена въ романѣ такая важная роль. Этотъ человѣкъ, понимающій любовь, повидимому, въ чисто циническомъ и эпикурейскомъ смыслѣ, бываетъ въ этой самой любви и нѣженъ, и искренен.

Сколько нѣжности, напримѣръ, въ его отношеніяхъ къ Бэлѣ. Человѣкъ спокойный и хладнокровный, онъ теряетъ всякую выдержку, столкнувшись съ этой женщиной. Въ немъ говоритъ далеко не одно животное чувство. Максимъ Максимовичъ былъ правъ, опасаясь за его жизнь послѣ его тщетной попытки окончательно овладѣть своей плѣнницей. Но, конечно, дикая и нехитрая натура этой женщины не могла надолго занять умъ и чувства нашего героя. Онъ самъ въ этомъ признавался: „Когда я увидѣлъ Бэлу въ своемъ домѣ,—говоритъ онъ,—когда въ первый разъ, держа ее на колѣняхъ, цѣловалъ ея черные локоны, я, глупецъ, подумалъ, что она ангелъ, посланный мнѣ сострадательной судьбой... Я опять ошибся: любовь дикарки немногимъ

лучше любви знатной барыни. Если вы хотите, я ее еще люблю, я ей благодаренъ за нѣсколько минутъ довольно сладкихъ, я за нее отдалъ жизнь — только мнѣ съ ней скучно".

Это признаніе гораздо симпатичнѣе и честнѣе, чѣмъ тѣ пышныя эгоистическія тирады, какими щеголялъ герой въ своей бесѣдѣ съ публикой. Что онъ въ данномъ случаѣ не лгалъ, а говорилъ правду, тому служитъ доказательствомъ его искренняя печаль послѣ смерти уже не любимой имъ женщины. Ея предсмертныя слова „онъ слушалъ молча, опустивъ голову на руки, но только во все время Максимъ Максимовичъ не замѣтилъ ни одной слезы на рѣсницахъ его: въ самомъ ли дѣлѣ онъ не могъ плакать или владѣлъ собой, но только жальче его никогда никто не былъ". Хотя Печоринъ въ концѣ концовъ и принудилъ себя засмѣяться въ отвѣтъ на утѣшенія своего друга, но послѣ всего этого происшествія „онъ былъ долго нездоровъ и исхудалъ бѣдняжка".

То же неспокойное состояніе духа, при видимомъ спокойствіи, замѣтно и въ его отношеніяхъ къ княжнѣ Мери; его зарождавшаяся любовь къ ней была однако несравненно слабѣе и разсудочнѣе, чѣмъ любовь къ Бэлѣ. Печоринъ, какъ и самъ авторъ, ощущалъ сильную потребность въ любви. Несмотря на аффектированное равнодушіе къ женскому полу, онъ самъ говоритъ о себѣ по этому поводу: „я ужъ прошелъ тотъ періодъ жизни душевной, когда ищутъ только счастія, когда сердце чувствуетъ необходимость любить сильно и страстно кого-нибудь; теперь я только хочу быть любимымъ и то очень немногими, даже, мнѣ кажется, одной постоянной привязанности мнѣ было бы довольно: жалкая привычка сердца!"

Романтизмъ исчезалъ постепенно и жажда спокойной, ровной жизни сказывалась въ Печоринѣ, какъ и въ самомъ авторѣ, когда онъ писалъ свое стихотвореніе въ альбомъ Карамзиной. Такую ровную и глубокую привязанность Печоринъ нашелъ въ Вѣрѣ, но это однако не помѣшало ему чуть не влюбиться въ княжну Мери. Нѣсколько разъ онъ спрашиваетъ себя: не влюбился ли онъ въ самомъ дѣлѣ въ эту

княжну, которую онъ сначала только сердилъ и интриговалъ: „Неужто я влюбленъ,—спрашивалъ онъ себя,—я такъ глупо созданъ, что этого можно отъ меня ожидать". „Не кстати было бы мнѣ,—замѣчаетъ Печоринъ въ другомъ мѣстѣ,—говорить о нихъ (женщинахъ) съ такою злостью, мнѣ, который, кромѣ ихъ, на свѣтѣ ничего не любитъ, мнѣ, который всегда готовъ былъ имъ жертвовать спокойствіемъ, честолюбіемъ, жизнью. Женщины должны были бы пожелать, чтобы всѣ мужчины ихъ такъ же хорошо знали, какъ я, потому что я люблю ихъ въ сто разъ больше съ тѣхъ поръ, какъ я ихъ не боюсь и постигъ ихъ мелкія слабости".

Печоринъ, дѣйствительно, способенъ къ глубокой любви, несмотря на всѣ свои афоризмы и позы. Примѣръ такой любви—его отношенія къ Вѣрѣ. Въ этой любви, кромѣ сознанія нравственнаго долга, есть очень живое чувство. Воспоминанія прошлаго сохраняютъ обязательную силу надъ сердцемъ героя, но не они одни оттѣсняютъ на задній планъ всѣ его новыя увлеченія. Сила этихъ воспоминаній и сознаніе своей вины передъ этой женщиной подкрѣплены искренней привязанностью и передъ ней умолкаютъ и сарказмъ, и эгоизмъ Печорина. Сдержанный свѣтскій левъ становится, какъ Демонъ, мягкимъ и нѣжнымъ любовникомъ: „Сердце мое болѣзненно сжалось,—говоритъ Печоринъ,—послѣ свиданія съ Вѣрой, какъ послѣ перваго разставанья. О! какъ я обрадовался этому чувству: ужъ не молодость ли съ своими благотворными бурями хочетъ вернуться ко мнѣ опять, или это только ея прощальный взглядъ, послѣдній подарокъ на память?.. А смѣшно подумать,—добавляетъ онъ, какъ бы невольно чувствуя приливъ молодыхъ силъ,—что на видъ я еще мальчикъ: лицо хотя блѣдно, но еще свѣжо; члены гибки и стройны; густыя кудри вьются, глаза горятъ, кровь кипитъ".

Вообще авторъ сказалъ намъ слишкомъ мало объ этихъ отношеніяхъ между героемъ и Вѣрой и, кромѣ того, затемнилъ ихъ различными побочными романами героя; но не подлежитъ сомнѣнію, что это покорное и нѣжное отношеніе къ больной и умирающей женщинѣ говоритъ прямо въ

пользу этого съ виду жестокаго и холоднаго человѣка. Вспомнимъ, напримѣръ, ту сцену, когда Печоринъ, послѣ прощанья съ Вѣрой, плачетъ какъ ребенокъ, почувствовавъ въ себѣ новый, неиспытанный еще приливъ любовнаго опьяненія. Эти слезы вполнѣ искупаютъ и слезы Бэлы, и слезы княжны Мери.

Подъ внѣшнимъ хладнокровіемъ и презрительнымъ отношеніемъ ко всѣмъ и ко всему въ Печоринѣ, кромѣ того, кроется глубокая поэтическая натура. Авторъ удѣлилъ ему, въ этомъ отношеніи, частичку своего собственнаго сердца. Трудно найти человѣка, который былъ бы такъ воспріимчивъ къ красотамъ природы какъ Печоринъ. Созерцаніе природы—для него моментъ духовнаго обновленія. „Весело жить въ такой землѣ,—говоритъ нашъ герой о Кавказѣ.—Какое-то отрадное чувство разлито во всѣхъ моихъ жилахъ. Воздухъ чистъ и свѣжъ, какъ поцѣлуй ребенка; солнце ярко, небо синё,—чего бы, кажется, больше? Зачѣмъ тутъ страсти, желанія, сомнѣнія?“ Слѣдующее мѣсто еще характернѣе: „Я люблю скакать на горячей лошади по высокой травѣ, противъ пустыннаго вѣтра; съ жадностью глотаю я благовонный воздухъ и устремляю взоры въ синюю даль, стараясь уловить туманные очерки предметовъ, которые ежеминутно становятся все яснѣе и яснѣе. Какая бы горесть ни лежала на сердцѣ, какое бы безпокойство ни томило мысль,—все въ минуту разсѣется; на душѣ станетъ легко: усталость тѣла побѣдитъ тревогу ума. Нѣтъ женскаго взора, котораго бы я не забылъ, при видѣ кудрявыхъ горъ, озаренныхъ южнымъ солнцемъ, при видѣ голубого неба или внимая шуму потока, падающаго съ утеса на утесъ“.

Человѣкъ, который способенъ такъ понимать и чувствовать природу, который, кромѣ того, способенъ до самозабвенія погружаться въ нее, — не можетъ назваться сухимъ и черствымъ эгоистомъ. Онъ поэтъ и, какъ таковой, при всѣхъ внѣшнихъ признакахъ эгоизма сохраняетъ способность симпатичнаго и сердечнаго отношенія ко всему окружающему. Печоринъ, безспорно, обладалъ этой способностью, которая проглядываетъ во всѣ тѣ моменты, когда онъ чѣмъ-нибудь взволнованъ. Волненіе постоянно выводитъ

героя изъ того искусственнаго равновѣсія, въ какое онъ себя ставилъ усиліемъ мысли и насиліемъ надъ своей природой.

Дѣйствительно, иногда его внѣшняя холодность является прямымъ результатомъ остроты и силы его ума: „Мы знаемъ заранѣе,—говоритъ Печоринъ,—что о всемъ можно спорить до безконечности, и потому не споримъ; мы знаемъ почти всѣ сокровенныя мысли другъ друга; одно слово —для насъ цѣлая исторія; видимъ зерно каждаго нашего чувства сквозь тайную оболочку. Печальное намъ смѣшно, смѣшное грустно, а вообще, по правдѣ, мы ко всему довольно равнодушны, кромѣ самихъ себя. И такъ размѣна чувствъ и мыслей между нами не можетъ быть". При такомъ ясновидѣніи вѣроятность увлеченій и воодушевленія, естественно, должна уменьшиться. Человѣкъ очень умный и проницательный нерѣдко можетъ показаться холоднымъ, тогда какъ, въ сущности, этотъ холодъ очень далекъ отъ равнодушія и еще дальше отъ неспособности понимать и чувствовать.

Иногда Печоринъ дѣлаетъ настоящее усиліе надъ самимъ собою, чтобы сохранить или поддержать въ себѣ разсудочно холодное отношеніе къ окружающему: „Я сталъ неспособенъ къ благороднымъ порывамъ,—говоритъ онъ,—я боюсь показаться смѣшнымъ самому себѣ". Не этотъ ли страхъ передъ смѣшнымъ заставлялъ иногда Печорина принимать различныя разочарованныя позы, какъ любовь къ эффекту заставляла принимать тѣ же позы Грушницкаго?

Мы замѣтили уже выше, что самъ Печоринъ сознавалъ двойственность своей загадочной природы. Онъ не могъ отрицать въ себѣ добрыхъ альтруистическихъ чувствъ, хотя на каждомъ шагу могъ въ своемъ поведеніи найти проявленіе чувствъ имъ прямо противоположныхъ. Смутное ощущеніе, что онъ, въ сущности, вовсе не эгоистъ и способенъ къ „благороднымъ порывамъ", никогда его не покидало; и, какъ нерѣдко дѣлалъ самъ Лермонтовъ, Печоринъ отнесъ всѣ эти чувства къ періоду дѣтства и обвинилъ окружающихъ людей въ томъ, что они загубили эти добрыя сѣмена въ его сердцѣ. Этотъ способъ оправданія самый легкій, но онъ показываетъ тѣмъ не менѣе, что потребность въ этомъ

самооправданіи существовала въ душѣ Печорина. Мы приведемъ одну изъ такихъ оправдательныхъ рѣчей Печорина, хотя намъ уже раньше пришлось выписать изъ нея нѣсколько строкъ, когда мы говорили о характерѣ Александра Радина:

„Да!—говоритъ Печоринъ—такова была моя участь съ самаго дѣтства! Всѣ читали на моемъ лицѣ признаки дурныхъ свойствъ, которыхъ не было; но ихъ предполагали—и они родились. Я глубоко чувствовалъ добро и зло—никто меня не ласкалъ, всѣ оскорбляли: я сталъ злопамятенъ; я былъ угрюмъ —другія дѣти веселы и болтливы; я чувствовалъ себя выше ихъ—меня ставили ниже ихъ: я сдѣлался завистливъ. Я былъ готовъ любить весь міръ—меня никто не понялъ: и я выучился ненавидѣть. Моя безцвѣтная молодость протекла въ борьбѣ съ собой и свѣтомъ; лучшія мои чувства, боясь насмѣшки, я хоронилъ въ глубинѣ сердца: они тамъ и умерли. Я говорилъ правду—мнѣ не вѣрили: я началъ обманывать; узнавъ хорошо свѣтъ и пружины общества, я сталъ искусенъ въ наукѣ жизни, и видѣлъ, какъ другіе безъ искусства счастливы, пользуясь даромъ тѣми выгодами, которыхъ я такъ неутомимо добивался. И тогда въ груди моей родилось отчаяніе—не то отчаяніе, которое лечатъ дуломъ пистолета, но холодное, безсильное отчаяніе, прикрытое любезностью и добродушной улыбкой. Я сдѣлался нравственнымъ калѣкой: одна половина души моей не существовала, она высохла, испарилась, умерла; я ее отрѣзалъ и бросилъ— тогда какъ другая шевелилась и жила къ услугамъ каждаго, и этого никто не замѣтилъ, потому что никто не зналъ о существованіи погибшей ея половины“.

Быть можетъ, въ этой исповѣди много правды, но она все-таки не оправдываетъ героя; и самъ Печоринъ сознавалъ слабость такой аргументаціи, когда за нѣсколько часовъ до дуэли, готовясь къ смерти, писалъ слѣдующія строки: „Пробѣгаю въ памяти все мое прошедшее и спрашиваю себя невольно: зачѣмъ я жилъ? для какой цѣли я родился? А вѣрно она существовала, *и вѣрно было мнѣ назначеніе высокое, потому что я чувствовалъ въ душѣ моей силы необъятныя*... Но я не угадалъ этого назначенія, я увлекся

приманками страстей, пустыхъ и неблагодарныхъ; изъ горнила ихъ я вышелъ твердъ и холоденъ, какъ желѣзо, но утратилъ навѣки *пылъ благородныхъ стремленій*,—лучшій цвѣтъ жизни... Моя любовь никому не принесла счастья, потому что я ничѣмъ не жертвовалъ для тѣхъ, кого любилъ; я любилъ для себя, для собственнаго удовольствія, я только удовлетворялъ странную потребность сердца, съ жадностью поглощая ихъ чувства, ихъ нѣжность, ихъ радости и страданія, и никогда не могъ насытиться".

Въ этомъ признаніи готовящагося къ смерти человѣка больше искренности, чѣмъ въ предыдущемъ. Здѣсь самъ Печоринъ, не взваливая вину на другихъ, принимаетъ всю отвѣтственность на себя и, не отрицая въ себѣ присутствія благородныхъ стремленій и чувствъ, подчеркиваетъ ихъ безполезность и безсиліе. Загадочный характеръ такого „сильнаго безсилія" и такой „инертной энергіи" Печоринъ объясняетъ пустотой своихъ стремленій и страстностью своихъ чувствъ, направленныхъ въ дурную сторону.

Но, указывая вѣрно причину и источники своей болѣзни, герой не задаетъ себѣ однако вопроса: излечима ли эта болѣзнь или нѣтъ. Онъ какъ будто помирился съ мыслью, что путь его жизни вполнѣ опредѣленъ, что отъ будущаго ему ждать больше нечего, что духовныя силы въ немъ навсегда подавлены и больше не проснутся. Эта увѣренность должна намъ показаться странной, тѣмъ болѣе, что нѣкоторые эпизоды изъ жизни Печорина должны были убѣдить его самого въ обратномъ. Сила любви, гордость и умъ, которые онъ могъ самъ въ себѣ подмѣтить и которые дѣйствительно отмѣчалъ въ своемъ дневникѣ, должны были показать ему, что въ немъ самомъ кроется возможность перестроить свою жизнь на иной ладъ и духовно возродиться. Какъ онъ, умный человѣкъ, съ твердой волей, не увидалъ этой возможности перерожденія, — этого единственнаго исхода изъ тяготившаго его положенія?

VI.

Намъ кажется, что вина, въ данномъ случаѣ, на сторонѣ Лермонтова, а не на сторонѣ Печорина. Лермонтовъ далъ намъ въ Печоринѣ не цѣльный типъ, не живой организмъ, носящій въ своемъ настоящемъ зародыши своего будущаго, а очень реально обставленное отраженіе *одного* лишь момента въ своемъ собственномъ духовномъ развитіи. Утомленный безплодной борьбой съ одними и тѣми же вопросами, которые не поддавались его рѣшенію, Лермонтовъ, въ періодъ созданія „Героя нашего времени", пришелъ къ безотрадному рѣшенію — отбросить всѣ эти вопросы въ сторону, не обуздывать себя ни въ дурныхъ, ни въ хорошихъ своихъ стремленіяхъ и дать полную волю всѣмъ гнѣздившимся въ немъ противорѣчіямъ. Такимъ образомъ изъ судьи онъ сталъ на время объективнымъ созерцателемъ этого страннаго поединка одной половины своего сердца съ другой.

Плодомъ этого наблюденія и явился типъ или, вѣрнѣе, образъ Печорина. Противорѣчія, свойственныя каждому энергическому человѣку, явились соединенными въ одномъ центрѣ, въ одномъ лицѣ, правдиво схваченномъ въ частностяхъ, но въ цѣломъ нѣсколько произвольно скомпонованномъ. Такія противорѣчія, съ какими мы сталкиваемся въ личности Печорина, могли быть уравновѣшены и скрѣплены между собою лишь при одномъ условіи,—при полномъ отсутствіи въ героѣ какихъ бы то ни было сильныхъ волненій, требующихъ внимательнаго нравственнаго надзора надъ самимъ собою, т.-е. при отсутствіи всѣхъ тѣхъ вопросовъ, надъ которыми Лермонтовъ трудился всю жизнь до изнеможенія. Встрѣча съ этими вопросами должна была необходимо поднять въ Печоринѣ цѣлую бурю, привести въ столкновеніе всѣ противорѣчія его природы, и не позволить имъ существовать совмѣстно въ одномъ и томъ же человѣкѣ. Такая встрѣча должна была поднять въ немъ и вопросъ объ излечимости его болѣзни; и на этотъ вопросъ, если судить по намекамъ, разсѣяннымъ въ романѣ, герой далъ бы скорѣе утвердительный, чѣмъ отрицательный отвѣтъ.

Въ самомъ дѣлѣ, что поддерживало и питало въ Печоринѣ его безотрадное состояніе духа?

Его разочарованіе и тоска далеко не такъ сильны, чтобы сдѣлать его совершенно безучастнымъ ко всему окружающему; гордость и самомнѣніе не настолько овладѣли имъ, чтобы поставить его внѣ всякихъ сношеній съ ближними. Его умъ и сердце не настолько сосредоточены на немъ самомъ, чтобы убить въ немъ способность интересоваться людьми и ихъ поступками. У Печорина есть, такимъ образомъ, всѣ данныя, чтобы попытаться стать къ окружающей жизни въ нормальное положеніе, нѣтъ только одного,— нѣтъ *желанія* сдѣлать этой попытки, которая можетъ потребовать отъ него усиленной умственной и нравственной работы. Для Печорина никакихъ вопросовъ жизни не существуетъ: онъ *самовольно* отбросилъ ихъ, не овладѣвъ ими сразу. Упорный трудъ надъ ихъ разрѣшеніемъ, трудъ теоретическій и практическій, утомилъ его, и онъ покончилъ съ задачей, переставъ о ней думать. Онъ послѣдовалъ за теченіемъ жизни, не дѣлая попытки направить ее въ ту или другую сторону; и по мѣрѣ того, какъ сама жизнь наталкивала его на тѣ или другія чувства и мысли, онъ отдавался имъ, и потому всегда самъ себѣ противорѣчилъ. Въ его рѣчахъ и поступкахъ не было никакой философіи.

Въ сущности, для Печорина не существуетъ никакихъ вопросовъ жизни, ни отвлеченныхъ, ни религіозныхъ, ни національныхъ, ни общественныхъ, ни нравственныхъ. Отъ вопросовъ философскихъ и религіозныхъ, когда они ему подвертываются, Печоринъ отдѣлывается двумя-тремя словами самаго общаго характера; онъ бросаетъ какую-нибудь мысль, всего чаще въ видѣ вопроса и не даетъ себѣ труда о ней подумать.

Такимъ образомъ примиренія съ жизнью, на почвѣ умозрѣнія или вѣры, герой достигнуть не пытается. Вопросъ національный и общественный сводится для него къ формализму службы. Онъ носитъ мундиръ и исполняетъ что ему приказано, чѣмъ и исчерпываются его обязанности относительно родины. У него нѣтъ и другихъ какихъ-либо понятій объ общественныхъ обязанностяхъ умнаго и интеллигент-

наго человѣка; такимъ образомъ, и на почвѣ сознательнаго труда онъ не можетъ достигнуть примиренія съ жизнью, и потому пассивно мирится со своимъ положеніемъ. На нравственныхъ вопросахъ нашъ герой также останавливается лишь при случаѣ; и мы видѣли, что его афоризмы о любви, дружбѣ и эгоизмѣ не вполнѣ оправдываются его поведеніемъ. Въ общемъ у Печорина нѣтъ опредѣленной нравственной программы. Всѣ его рѣчи и поступки дѣло случая; и онъ самъ сознавалъ это, когда говорилъ, что „присутствіе энтузіаста обдаетъ его крещенскимъ холодомъ, а частыя сношенія съ вялымъ флегматикомъ сдѣлали бы изъ него страстнаго мечтателя".

Такая безцѣльная и безпринципная жизнь для умнаго человѣка на долгій срокъ немыслима, и самъ Лермонтовъ доказалъ это, принявшись, тотчасъ же послѣ созданія „Героя нашего времени", за пересмотръ всѣхъ тѣхъ вопросовъ, которые отстранилъ отъ себя въ лицѣ Печорина.

Въ предыдущей главѣ мы говорили о послѣднихъ стихотвореніяхъ поэта; и теперь, сравнивая ихъ съ афоризмами Печорина, мы должны снова подчеркнуть ихъ рѣзкое противорѣчіе. Насколько тревожны, сильны по мысли, хотя и безотрадны эти стихи послѣднихъ двухъ лѣтъ, настолько парадоксальны, безплодны и пассивны мысли и чувства „Героя нашего времени". Очевидно, что авторъ, всегда субъективный въ своемъ творчествѣ, могъ остановиться на такихъ чувствахъ и мысляхъ только мимоходомъ. Его энергичная природа, черезъ годъ послѣ выхода книги въ свѣтъ, признала Печорина „порочнымъ" и заслуживающимъ сожалѣнія. Лермонтовъ такъ быстро отошелъ отъ точекъ зрѣнія, на которыхъ стоялъ его герой, что возвратъ къ нему сталъ немыслимъ, и романъ остался неоконченнымъ. Авторъ долженъ былъ, кореннымъ образомъ, видоизмѣнить психическій міръ своего героя, чтобы сдѣлать этого человѣка способнымъ къ какой-нибудь дальнѣйшей сознательной дѣятельности, точно также, какъ онъ долженъ былъ самъ побороть въ себѣ печоринское пассивно-безпринципное настроеніе, чтобы написать произведенія послѣднихъ двухъ лѣтъ своей жизни.

Печоринъ остался, такимъ образомъ, реально-обрисованнымъ олицетвореніемъ одного переходнаго момента въ жизни самого автора, именно того момента, когда борьба враждебныхъ началъ въ его характерѣ, борьба идеаловъ и сомнѣній, была имъ насильственно подавлена полнымъ равнодушіемъ ко всѣмъ вопросамъ высшаго порядка.

VII.

Несмотря на то, что типъ Печорина былъ скорѣе типомъ единичнымъ, чѣмъ собирательнымъ, онъ пришелся по вкусу тогдашняго общества и очень ему понравился. Онъ не былъ „героемъ“ своего времени въ тѣсномъ смыслѣ этого слова; но люди того времени могли иногда принимать его за своего героя, и по весьма понятнымъ причинамъ. Типъ былъ обрисованъ очень заманчиво; умъ и благородство Печорина покоряли воображеніе; его печаль и раздумье трогали читателей, а внутренняя пустота и безпомощность героя передъ вопросами жизни были искусно прикрыты заманчивой внѣшностью. Тѣ изъ читателей, которые были неравнодушны къ одной лишь красивой позѣ, легко могли перенести свои симпатіи съ туманныхъ героевъ Байрона на Печорина, замѣнивъ истрепанный и обветшавшій костюмъ— новымъ.

Люди болѣе серьезные, съ своей стороны, также нашли въ Печоринѣ нѣчто родственное своему сердцу.

Русская жизнь 30-хъ годовъ нынѣшняго столѣтія поставила многихъ умныхъ людей въ одинаковое съ Лермонтовымъ положеніе. Для нихъ была одинаково трудна задача примиренія съ дѣйствительностью, такъ какъ съ каждымъ годомъ общественное сознаніе въ нихъ возрастало. Многіе, какъ и Лермонтовъ, могли утомиться въ этой трудной погонѣ за идеалами, къ достиженію которыхъ путь былъ совершенно не расчищенъ. Отчего не предположить, что имъ могла, хотя на короткій срокъ, быть по сердцу пассивная и безотрадная житейская философія Печорина? Чѣмъ богаче запасъ духовныхъ силъ умнаго человѣка, тѣмъ безотраднѣе моментъ его

душевной усталости, когда онъ въ этихъ силахъ начинаетъ сомнѣваться. Въ 30-хъ годахъ такіе моменты усталости у людей умныхъ и даже болѣе разносторонникъ, чѣмъ Лермонтовъ, были не рѣдкостью. Жизнь стала требовать сознательнаго и строгаго къ себѣ отношенія; ея разрозненныя явленія нуждались въ обобщеніи; нѣкоторыя ея стороны, кромѣ того, налагали на умнаго человѣка нравственныя обязанности, понять которыя и точно разграничить было дѣломъ очень труднымъ. Эпоха была въ полномъ смыслѣ слова переходная: нужно было вырабатывать новое міросозерцаніе и стараться провести его въ жизнь. Человѣкъ либо начиналъ дѣйствовать, не оправдавъ раньше разумомъ своихъ поступковъ, либо съ готовымъ и цѣльнымъ міросозерцаніемъ сидѣлъ безъ дѣла, по причинамъ, отъ него независящимъ. Такое несогласіе между умомъ, сердцемъ и жизнью могло временами приводить людей къ апатіи, въ которой человѣкъ, сохраняя свою гордую и умную внѣшность, переставалъ на время принимать живое участіе въ жизни и предоставлялъ себя въ полное распоряженіе ея случайностей.

Печоринъ былъ, такимъ образомъ, и понятенъ, и симпатиченъ своимъ современникамъ; но онъ все-таки „героемъ“ своего времени назваться не можетъ. Онъ не былъ настоящимъ типомъ или характеромъ: онъ отражалъ лишь одинъ моментъ въ исторіи одного типа, моментъ важный, но не господствующій; онъ не былъ Онѣгинымъ своего времени.

VIII.

Личность Онѣгина почему-то принято связывать съ личностью Печорина. Это сближеніе можетъ быть оправдано развѣ только съ внѣшней стороны; но, по внутреннему своему складу, эти два лица не имѣютъ ничего общаго. Онѣгинъ, прежде всего, вполнѣ сложившееся лицо, съ установившимися взглядами и вкусами; Печоринъ—лицо недоразвившееся, съ возможностью вполнѣ измѣнить и образъ своихъ мыслей и свое поведеніе. Онѣгинъ—выродившійся типъ того самодовольнаго и пустого кружка молодежи Александровской

эпохи, который жилъ въ полномъ согласіи съ своими непровѣренными и сентиментальными идеалами. Печоринъ—страница изъ жизни новой молодежи, не имѣющей пока никакихъ прочныхъ идеаловъ, но лихорадочно работавшей надъ ними. Онѣгинъ—прозаикъ въ полномъ смыслѣ слова, заѣдаемый скукой отъ бездѣлья, вполнѣ необходимаго и естественнаго въ его положеніи; Печоринъ—страстная натура, осудившая себя на бездѣлье произвольно, и потому скучающая до поры до времени, но цѣпляющаяся за каждый случай, чтобы разсѣять эту скуку. Онѣгинъ—книжный моралистъ, читающій проповѣди и ищущій въ книжкахъ подтвержденія и объясненія своимъ чувствамъ. Печоринъ—врагъ всякихъ наставленій и всякой книжки; онъ—живая натура, и всего больше боится быть похожимъ на кого бы то ни было, хотя бы даже на Байрона. Онѣгинъ, при всемъ своемъ внѣшнемъ умѣ, слишкомъ покорный рабъ своей страсти; Печоринъ, при несравненно болѣе страстной природѣ, слишкомъ покорный слуга своего ума, который долженъ держать въ равновѣсіи его пылкое сердце.

Печоринъ вообще относится къ Онѣгину, какъ наростающее молодое поколѣніе, еще не нашедшее идеаловъ, относится къ поколѣнію старшему, идеалы котораго не выдержали провѣрки въ жизни. И тотъ и другой герой упали духомъ: одинъ, уставъ въ борьбѣ, озлобленный и страстный, отдыхаетъ на время въ пассивномъ бездѣйствіи; другой, скучающій и разочарованный, переноситъ себя съ одного мѣста на другое, чтобы хотя съ виду разнообразить свое бездѣйствіе, на которое онъ, безповоротно, осужденъ своимъ міросозерцаніемъ, износившимся и не допускающимъ обновленія. Онѣгинъ никогда не могъ „измѣниться“ и перейти въ Печорина, какъ и Печоринъ никогда не могъ стать Онѣгинымъ. Въ природѣ Онѣгина нѣтъ зародышей для будущаго развитія; въ Печоринѣ ихъ временное отсутствіе зависитъ отъ доброй воли самого героя. Одинъ—есть сложившійся типъ, другой—переходный моментъ развивающагося характера.

XI

ЗНАЧЕНІЕ ЛЕРМОНТОВА ВЪ ИСТОРІИ РУССКОЙ ЖИЗНИ И ЛИТЕРАТУРЫ

I.

Въ предыдущихъ главахъ мы пытались обрисовать отдѣльные періоды въ развитіи таланта Лермонтова, руководясь, главнымъ образомъ, основными типами, выведенными поэтомъ въ крупныхъ его прозведеніяхъ. Эти основные типы, замыкающіе собой отдѣльные періоды въ жизни Лермонтова, являются какъ бы показателями того пути, по какому поэтъ шелъ къ своей цѣли—къ примиренію съ жизнью и къ выработкѣ опредѣленныхъ воззрѣній на міръ и свое собственное назначеніе.

Дѣтскій разладъ мечты и дѣйствительности, противорѣчіе между идеальными требованіями сердца и житейской прозой, ранняя борьба между оптимистическимъ созерцаніемъ жизни и возрастающимъ недовѣрчивымъ и озлобленнымъ отношеніемъ къ ней, отразились въ „Демонѣ“ и юношескихъ драмахъ Лермонтова. По мѣрѣ того, какъ поэтъ расширялъ свой умственный кругозоръ и, расширяя его, выходилъ изъ тѣсныхъ рамокъ семейной и личной жизни, онъ создавалъ образы Измаилъ-Бея, Вадима и Арсенія, въ которыхъ тотъ же вопросъ о разладѣ мечты и жизни былъ дополненъ новыми точками зрѣнія и новыми сочетаніями событій. Въ моменты духовной усталости, неизбѣжной при такомъ пылкомъ и тревожномъ темпераментѣ, какимъ обладалъ Лермонтовъ, поэтъ пытался разрѣшить этотъ же вопросъ кратчайшимъ способомъ: или, поставивъ человѣка въ совершенно отчужденное и временами враждебное отношеніе ко всему окру-

жающему, какъ въ „Маскарадѣ“, или—въ отношеніе вполнѣ индифферентное, какъ въ „Героѣ нашего времени“.

Очевидно, что въ основаніи всѣхъ этихъ типовъ, различныхъ по образу жизни и по костюму, лежитъ одно единственное лицо, одинъ характеръ, одна психологическая задача. Всѣ герои Лермонтова представляютъ лишь различныя рѣшенія одного и того же вопроса.

Несмотря на свою безспорную способность къ объективному творчеству, какую Лермонтовъ доказалъ созданіемъ такихъ типовъ, какъ Максимъ Максимовичъ и купецъ Калашниковъ, нашъ поэтъ, во всей своей поэзіи, былъ субъективнымъ лирикомъ, любившимъ облекать, преимущественно, свои личныя чувства въ символы или реальные образы. Его поэмы и романы ни что иное, какъ мелкія лирическія стихотворенія, вставленныя въ болѣе широкую рамку. Это легко можно провѣрить, сравнивъ по годамъ тѣ и другія. Очевидно, что внутренняя работа надъ самимъ собою была такъ сильна въ Лермонтовѣ и настолько поглощала его силы, что для объективнаго воспроизведенія жизни въ его душѣ не было мѣста, несмотря на богатство и широту его таланта. Внутренній процессъ самовоспитанія не былъ оконченъ, идеалы не установились, и потому всѣ стороны жизни, съ какими Лермонтову приходилось сталкиваться, имѣли для него цѣну только въ отношеніи къ нему самому, насколько они помогали или мѣшали ему въ рѣшеніи занимавшихъ его вопросовъ. Обозрѣвая бѣгло всю литературную дѣятельность Лермонтова, мы въ правѣ сказать, что онъ всю жизнь былъ поэтомъ своихъ личныхъ чувствъ, отражалъ міръ въ самомъ себѣ и занятъ былъ анализомъ этого отраженія больше, чѣмъ предметами, которые его вызывали. Мы говоримъ это не въ упрекъ Лермонтову.

Каждый писатель всегда субъективенъ по своему; но въ крупномъ писателѣ субъективность, даже въ узкомъ смыслѣ, не менѣе цѣнна, чѣмъ способность объективнаго воспроизведенія дѣйствительности. Крупный человѣкъ, а тѣмъ болѣе писатель, вполнѣ можетъ быть названъ фокусомъ, въ которомъ собраны лучи разрозненныхъ чувствъ и понятій, какими живетъ его эпоха. Присмотрѣться ближе къ этому фокусу и

изслѣдовать его подробно такъ же интересно, какъ разсмотрѣть порознь каждый изъ лучей, въ немъ собранныхъ. Лермонтовъ облегчилъ намъ эту работу, чистосердечно раскрывъ передъ нами нѣкоторые тайные уголки своего сердца. Если онъ и не разобрался въ хитрыхъ сплетеніяхъ современной ему жизни, то онъ, своей субъективной лирикой, далъ намъ понять, какъ задачи этой тревожной жизни отражались въ сильномъ и умномъ человѣкѣ того времени. Въ его стихахъ передъ нами правдивый разсказъ современника о пережитыхъ имъ волненіяхъ сердца и сомнѣніяхъ разсудка, о той болѣзни, которой страдалъ не онъ одинъ, но и многіе изъ его сверстниковъ.

Если, такимъ образомъ, стихи Лермонтова получаютъ значеніе историческаго матеріала, то такое же историческое значеніе остается и за ихъ крупнѣйшимъ недостаткомъ.

Съ этимъ недостаткомъ мы давно уже знакомы—въ стихахъ Лермонтова нѣтъ никакого опредѣленнаго міросозерцанія, нѣтъ никакихъ установившихся убѣжденій; мысли и чувства набѣгаютъ на поэта, волнуютъ его до глубины души, вызываютъ въ немъ сильные художественные образы, но тотчасъ же смываются новой волной налетѣвшихъ сомнѣній. Прежніе боги падаютъ, изъ ихъ праха возстаютъ новые, которымъ также суждено стоять на пьедесталѣ недолго.

Намъ нѣтъ необходимости повторять вновь всего сказаннаго въ предыдущихъ главахъ и указывать здѣсь снова на постоянное броженіе въ мысляхъ и чувствахъ Лермонтова, который, съ дѣтскихъ лѣтъ до самой смерти, трудился надъ выработкой идеаловъ, надъ установленіемъ точекъ зрѣнія на міръ и свое призваніе, и не пришелъ въ этой работѣ ни къ какимъ положительнымъ результатамъ. Намъ также нѣтъ нужды подыскивать для этого явленія вновь смягчающихъ или объясняющихъ обстоятельствъ: мы указали на нихъ вездѣ, гдѣ только было возможно.

Но фактъ остается фактомъ; онъ для насъ важенъ теперь, когда мы приступаемъ къ новому вопросу—къ вопросу, гдѣ всякія объясненія и извиненія самого факта не могутъ имѣть для насъ никакого значенія.

Мы желаемъ опредѣлить общественную роль писателя,

его роль не какъ художника, а какъ дѣятеля, участника въ общемъ прогрессивномъ движеніи русской жизни. Для этой цѣли намъ не нужно знать, на какомъ году умеръ Лермонтовъ, какъ онъ жилъ въ тѣсномъ кругу личной и семейной жизни, какія препятствія встрѣчалъ онъ въ своемъ воспитаніи и развитіи. Для насъ важны, исключительно, его произведенія. Пусть недостатки ихъ обусловлены эпохой и самъ поэтъ въ нихъ не виновенъ; намъ нужно взглянуть на эти произведенія и на личность поэта, какъ на орудія и на дѣятеля, которыми эпоха, въ свою очередь, могла воспользоваться для дальнѣйшей работы надъ занимавшими ее вопросами.

II.

Что могла дать обществу поэзія Лермонтова, иногда совсѣмъ оторванная отъ дѣйствительности, въ большинствѣ случаевъ узко субъективная, оцѣнившая явленія жизни лишь въ ихъ отношеніи къ одной данной личности, и, вдобавокъ, неустановившаяся и противорѣчивая въ своихъ конечныхъ выводахъ?

Съ перваго взгляда можетъ показаться, что въ поэзіи Лермонтова совсѣмъ не было прогрессивнаго элемента. Въ ней не было ни постановки новыхъ важныхъ вопросовъ, ни оригинальной перестановки старыхъ, не говоря уже о какомъ-нибудь удовлетворительномъ рѣшеніи. Если въ нѣкоторыхъ вопросахъ, какъ напримѣръ, въ вопросѣ о роли поэта въ обществѣ, Лермонтовъ и пошелъ дальше своихъ предшественниковъ, то онъ все-таки не пришелъ ни къ какому окончательному выводу и выразилъ въ стихахъ одну только неудовлетворенность прежними рѣшеніями.

Бѣлинскій утверждалъ, что поэзія Лермонтова была „умнѣе“ поэзіи Пушкина; но она была не „умнѣе“, а только „тревожнѣе“. Тревожное настроеніе Лермонтова было пережито Пушкинымъ значительно раньше. Это же настроеніе было перечувствовано и современниками Лермонтова, и почти у всѣхъ, какъ мы сейчасъ увидимъ, разрѣшилось въ иныя настроенія, которыя больше, чѣмъ лермонтовское, имѣютъ

право назваться прогрессивными. Въ техникѣ стиха Лермонтовъ также едва ли пошелъ дальше Пушкина.

И такъ, въ чемъ же могла заключаться прогрессивная роль Лермонтова, если идеи, какими онъ жилъ, чувства и внѣшняя оболочка ихъ не представляли, повидимому, ничего особенно новаго?

Прогрессивная роль Лермонтова тѣмъ не менѣе не подлежитъ никакому сомнѣнію. Она была угадана Бѣлинскимъ еще при жизни автора, хотя критикъ не далъ ея подробнаго и полнаго опредѣленія; очевидно, ему самому была не вполнѣ ясна дѣятельность Лермонтова, какъ ясна была для него напримѣръ дѣятельность Гоголя. Бѣлинскій, въ порывѣ своихъ увлеченій нѣмецкой философіей и эстетикой, отнесся несимпатично къ тревожному настроенію поэта и такимъ образомъ чуть-чуть не просмотрѣлъ въ немъ самую прогрессивную его сторону. Бѣлинскій остановился главнымъ образомъ на художественной сторонѣ произведеній Лермонтова и разсматривалъ его настроеніе преимущественно съ этой точки зрѣнія. Тѣмъ не менѣе Бѣлинскій чуялъ, что въ поэзіи Лермонтова, кромѣ художественной, была еще и другая сторона, и на нее-то онъ намекалъ, когда говорилъ, что эта поэзія была „умнѣе“ поэзіи Пушкина, что Лермонтовъ „удовлетворялъ вкусамъ болѣе развитого общества“, что „онъ шелъ впередъ въ исторіи русскаго творчества“.

Съ мнѣніемъ Бѣлинскаго согласилось и потомство. Хотя Лермонтовъ прямыхъ подражаній и не вызвалъ, но писатели позднѣйшихъ поколѣній, въ большинствѣ случаевъ, отнеслись къ нему очень симпатично. Особенно симпатично относилась къ нему молодежь, которая въ наше время стала усиленно имъ интересоваться. Все это показываетъ намъ ясно, что въ поэзіи Лермонтова было нѣчто такое, что приковывало къ себѣ сердца читателей, и не только современныхъ, но и позднѣйшихъ. Въ этой поэзіи было нѣчто „общее“, всѣмъ родное, „общечеловѣческое“—и гуманное.

III.

Мы не будемъ подробно развивать той общепризнанной мысли, что искусство имѣетъ облагораживающее вліяніе на среду, куда оно занесено или гдѣ оно нарождается. Такъ и поэзія Лермонтова, какъ „художественное“ творчество, имѣла свое благотворное вліяніе на читателей, тѣмъ болѣе, что общество, въ которомъ она развилась, стояло въ исключительныхъ условіяхъ.

Несмотря на успѣхи образованности, какіе сдѣлало русское общество въ 30-хъ и 40-хъ годахъ нынѣшняго столѣтія, сѣрая, необразованная и неразвитая масса превышала громаднымъ большинствомъ то немногое количество лицъ интеллигентныхъ, которыя являлись носителями просвѣщенія. Для этой сѣрой массы поэзія Лермонтова была безспорно воспитательнымъ чтеніемъ: она знакомила ее съ цѣлой массой вопросовъ, которые вѣроятно на долгое время оставались бы для этой массы недоступными. Блестящая форма и художественные образы служили лучшимъ проводникомъ этихъ идей среди публики, которая требовала извѣстной приманки, чтобы заставить себя интересоваться чѣмъ-либо. Пусть самые вопросы жизни, затронутые Лермонтовымъ, остались нерѣшенными и только намѣченными, одинъ тотъ фактъ, что они были пущены имъ въ оборотъ, сохранитъ навсегда за его поэзіей важное культурное значеніе, по крайней мѣрѣ, для насъ русскихъ.

Говоря однако о прогрессивномъ значеніи поэзіи Лермонтова, мы не имѣли въ виду ни ея обще-художественной цѣнности, ни того условнаго значенія, какое ей придалъ скудный умственный уровень русской читающей публики того времени. Подъ словомъ „прогрессивное значеніе“ писателя мы имѣли въ виду его роль, какъ выяснителя, истолкователя общественныхъ нуждъ его времени, какъ человѣка, въ которомъ отразилась и осмыслилась извѣстная эпоха развитія, переживаемая цѣлымъ обществомъ.

IV.

Каждый великій писатель—сынъ своего поколѣнія, и чѣмъ глубже его талантъ, чѣмъ онъ шире, тѣмъ больше откликовъ находитъ современность въ его сердцѣ, такъ какъ естественный и единственный живой родникъ поэзіи есть современность. Порвать съ нею связь можетъ только талантъ, либо ограниченный, либо совершившій полный кругъ своего развитія и остановившійся въ своемъ движеніи. Дѣйствительно, геній поэта, за немногими исключеніями, одаренъ опредѣленной, ограниченной способностью къ развитію; его очень рѣдко хватаетъ на два поколѣнія. Въ большинствѣ случаевъ талантъ, выросшій съ однимъ поколѣніемъ и отразившій его во всѣхъ его частностяхъ и въ общемъ, становится мало воспріимчивъ къ идеямъ и чувствамъ послѣдующаго поколѣнія. Въ такихъ случаяхъ поэтъ перестаетъ быть понимаемъ своей средой и отходитъ въ прошедшее. Такъ случилось съ Жуковскимъ и Пушкинымъ, Гёте и Шиллеромъ въ послѣдніе годы ихъ дѣятельности. Охлажденіе публики, какое имъ пришлось испытать, нельзя объяснять исключительно невѣжествомъ общества и его неспособностью возвыситься до тѣхъ высокихъ степеней творчества, на которыхъ стали великіе поэты. Публика перестала ихъ понимать, потому что ее стали интересовать новые вопросы, на которые она у старыхъ писателей не находила отвѣта. Ей нужны были новыя художественныя произведенія, въ которыхъ она могла увидать собственное свое отраженіе, на которыя бы она могла опереться въ своихъ мысляхъ и поступкахъ, которыя она могла бы примѣнить къ собственному положенію.

Естественно, что при такой зародившейся новой потребности прогрессивная роль произведеній старшаго поколѣнія должна значительно съузиться, пока теченіе жизни не заставитъ общество вновь вернуться къ пересмотру старыхъ вопросовъ. Этотъ возвратъ къ старому—естественное и необходимое явленіе въ жизни каждаго общества, и оно ничуть не должно колебать вѣры въ непрерывность человѣческаго прогресса.

Одно поколѣніе не можетъ всецѣло исчерпать всѣхъ чувствъ и мыслей, какими оно живетъ, и не можетъ сказать о нихъ послѣдняго слова. Эти чувства должны вернуться и подвергнуться пересмотру, пройдя черезъ цѣлый рядъ противорѣчій и видоизмѣненій.

Два смежныхъ поколѣнія обыкновенно враждуютъ между собой въ силу этой постоянной смѣны настроеній и мыслей. Быстрота и нервность въ движеніи жизни мѣшаютъ имъ отнестись другъ къ другу трезво и объективно. Примиреніе ихъ противорѣчій совершается обыкновенно по прошествіи извѣстнаго времени, уже въ иную эпоху и инымъ поколѣніемъ.

Въ исторіи развитія русской жизни вражда поколѣній выступаетъ очень рельефно, въ виду той лихорадочной поспѣшности, съ какою мы усвоивали результаты чужой цивилизаціи.

Въ 20-хъ годахъ у насъ царило и въ литературѣ, и въ обществѣ оптимистически-сентиментальное направленіе, которое чередовалось иногда съ анакреонтическимъ веселіемъ и элегическою грустью.

Затѣмъ, эта гармонія, это спокойное настроеніе духа было нарушено романтической бурей, которая убила навсегда мечтательную сентиментальность и веселье, а грусть довела или до озлобленнаго титанизма, или до настоящей меланхоліи, переходившей иногда въ болѣзненную ипохондрію.

Когда же отъ романтической бури не осталось почти ни одного облачка, когда реальное направленіе въ литературѣ успѣло окрѣпнуть, умы и сердца пришли вновь въ извѣстное спокойное состояніе. Эстетическій оптимизмъ 20-хъ годовъ возродился въ видѣ оптимизма философскаго, который, однако, тоже не могъ надолго ужиться съ дѣйствительностью. Философское спокойствіе къ половинѣ 40-хъ годовъ исчезаетъ и въ литературѣ, и въ обществѣ, смѣнившись новой душевной тревогой, которая была вызвана въ людяхъ желаніемъ осуществить на дѣлѣ и провести въ жизнь хоть частичку своихъ заманчивыхъ идеаловъ. Все десятилѣтіе, отъ половины 40-хъ до половины 50-хъ годовъ,

потрачено обществомъ на подготовленіе къ этой работѣ, которая въ 60-хъ годахъ занимаетъ умы и фантазію почти всего интеллигентнаго круга. Реализмъ и натурализмъ становятся настоящими хозяевами въ литературѣ, и въ сердцахъ писателей снова царствуетъ спокойная гармонія, созданная стойкостью въ убѣжденіяхъ и цѣльностью міросозерцанія. Наше поколѣніе вернулось снова къ темамъ Лермонтова, такъ какъ, подобно ему, столкнулось съ сложной житейской задачей, рѣшить которую оно пока не въ силахъ. Современный писатель чувствуетъ не хуже писателя 30-хъ годовъ, что нуженъ какой-нибудь исходъ изъ того инертнаго и пассивнаго состоянія, въ какомъ погрязло общество, что необходимы идеалы, которые согласовались бы съ новѣйшими результатами науки и общественной жизни.

Присматриваясь къ этой смѣнѣ настроеній и мыслей въ разные періоды жизни нашего общества, мы можемъ замѣтить, что въ основаніи этихъ колебаній лежитъ чередованіе собственно двухъ основныхъ душевныхъ состояній: тревожной растерянности духа въ виду отсутствія идеаловъ и временнаго успокоенія человѣка въ кругѣ воззрѣній, признанныхъ удовлетворяющими потребностямъ ума и сердца. Общество, какъ и отдѣльная личность, въ своемъ прогрессивномъ движеніи отъ вражды съ жизнью переходило къ примиренію съ ней, и это чередованіе общественныхъ настроеній находило себѣ въ литературѣ самое вѣрное отраженіе.

Въ русскомъ обществѣ двадцатые, сороковые и шестидесятые годы были періодами, когда настроеніе умовъ въ обществѣ развитомъ и мыслящемъ было наиболѣе „примирено“ съ жизнью, сначала на почвѣ чисто эстетическихъ и сентиментально-оптимистическихъ воззрѣній затѣмъ на почвѣ умозрительной и, наконецъ, на почвѣ активной борьбы, активнаго проведенія въ жизнь извѣстныхъ укоренившихся идеаловъ. Несмотря на поразительную разницу убѣжденій, какая существуетъ между двадцатыми и шестидесятыми годами, разницу, которая на первый разъ представляется полнымъ противорѣчіемъ, все-таки между этими эпохами въ исторіи русской мысли есть коренное психологическое сходство въ настроеніи. Люди этихъ

поколѣній имѣли установившіеся идеалы,—стремились найти имъ оправданіе въ окружающей ихъ жизни, и пытались обновлять ими устарѣвшія формы своей жизни. Въ этихъ людяхъ душа не двоилась, въ нихъ не было сомнѣній, парализирующихъ энергію и силу воли, не было той растерянности передъ міровыми и житейскими задачами, которая могла озлобить ихъ противъ другихъ и самихъ себя, заставить ихъ глубоко и долго страдать и умереть, не испытавъ, ни на единый мигъ, душевнаго удовлетворенія.

Лермонтовъ воплотилъ въ себѣ какъ разъ діаметрально противоположный моментъ въ развитіи нашего общества, —моментъ душевнаго разлада, лихорадочной погони за новыми идеалами, неудовлетворенности и отчаянія передъ трудной задачей примиренія съ жизнью. Онъ—*романтикъ* въ широкомъ смыслѣ этого слова, неутомимый искатель обѣтованной земли, которому судьбой суждено было умереть, завидѣвъ ее издали, но не перейдя за ея границу.

Лермонтовъ—типичный представитель русской жизни 30-хъ годовъ, несмотря на исключительность и единичность своего положенія въ литературѣ и въ обществѣ. Его душевное настроеніе переживалось многими изъ его современниковъ; но современники—какъ сейчасъ увидимъ—отдѣлались отъ этого настроенія очень скоро и разрѣшили его диссонансы, тогда какъ Лермонтовъ не успѣлъ побороть въ себѣ своего „демона“.

Тридцатымъ годамъ, въ исторіи нашей жизни, должно быть отведено очень важное мѣсто. Старый сентиментально-утопическій взглядъ на жизнь пересталъ удовлетворять общественное сознаніе, отвлеченно-эстетическіе взгляды также перестали удовлетворять литераторовъ. Событія внѣшнія возбудили въ умахъ цѣлый рядъ новыхъ вопросовъ, и русское общество стало интересоваться ими, несмотря на свое изолированное положеніе. Вездѣ сказывалась потребность понять жизнь въ болѣе широкомъ смыслѣ, чѣмъ она до тѣхъ поръ понималась, расширить кругозоръ ума на многія стороны жизни, отъ которыхъ отвертывались до этого времени, наконецъ, привести всѣ эти новые взгляды въ новую систему и осмыслить заново свое существованіе.

Показной и внѣшній романтизмъ французской школы и узко понятый байронизмъ продолжали въ 30-хъ годахъ интересовать общество и поддерживали въ немъ энергическіе, хотя и уродливые порывы къ чему-то лучшему и высшему.

Противъ этого уродства возставали эстетическія теоріи Надеждина и Бѣлинскаго, которыя, сохраняя за собой всю энергію и удаль романтизма, стремились тѣмъ не менѣе опровергнуть его во имя требованій истинной философски-понимаемой художественности.

Философское міросозерцаніе, начавшееся съ эстетическихъ теорій, мало-по-малу охватило всѣ области жизни. Оно усиленно работало надъ примиреніемъ людей съ жизнью, иногда примиряя ихъ дѣйствительно „разумно“, иногда же отрывая ихъ всецѣло отъ жизни и погружая въ бездну тонкихъ и мудреныхъ отвлеченій.

Такимъ образомъ сентиментальный оптимизмъ прежнихъ идеаловъ замѣнялся новымъ философскимъ квіэтизмомъ, который грозилъ въ своихъ крайностяхъ отвлечь многія свѣжія силы отъ дѣятельнаго участія въ жизни, отъ вопросовъ, какіе вызваны были потребностями настоящей минуты.

Среди этихъ постоянныхъ столкновеній отжившихъ оптимистическихъ идеаловъ съ туманными и неустановившимися идеалами романтическими и съ новыми философскими тенденціями, въ литературѣ тѣхъ же 30-хъ годовъ стала пробиваться новая струя, новая школа, которую принято называть натуральной. Въ лицѣ Гоголя, ея представителя, литература 30-хъ годовъ обогатилась новой силой, новымъ направленіемъ въ искусствѣ, совершенно самобытнымъ, не имѣющимъ ничего общаго съ существовавшими до этого времени литературными теченіями.

Такимъ образомъ въ тридцатыхъ годахъ въ русской литературѣ живутъ и дѣйствуютъ четыре основныхъ литературныхъ направленія:

1) Старое литературное направленіе Александровскаго времени, съ Жуковскимъ и Пушкинымъ во главѣ.

2) Направленіе романтическое, во главѣ котораго стояли Полевой и Марлинскій.

3) Гоголь и натуральная школа.

4) Кругъ философовъ, раздѣленный на отдѣльные кружки, очень типичные по лицамъ, вокругъ которыхъ они группировались.

V.

Если мы желаемъ опредѣлить, въ чемъ заключалась прогрессивная роль поэзіи Лермонтова, то намъ необходимо выяснить отношеніе, въ какомъ стоялъ Лермонтовъ ко всѣмъ только-что перечисленнымъ литературнымъ группамъ и лицамъ. Онъ жилъ и дѣйствовалъ среди нихъ, высказывалъ свои мнѣнія одновременно съ ними, и потому сравненіе его міросозерцанія съ ихъ идеалами должно показать намъ, въ чемъ онъ опередилъ предыдущее поколѣніе, въ чемъ шелъ наравнѣ съ своимъ вѣкомъ и въ чемъ отставалъ отъ своихъ современниковъ.

Такое сравненіе выяснитъ намъ общественную роль одного изъ нашихъ крупнѣйшихъ поэтовъ въ одну изъ самыхъ тревожныхъ эпохъ русской умственной жизни.

Тридцатые годы — эпоха переходная и бурная, эпоха романтичная въ широкомъ смыслѣ слова, эпоха богатая стремленіями и порывами, но съ неустановившимися идеалами. Въ тридцатыхъ годахъ весь матеріалъ, изъ котораго потомъ были выкованы устои дальнѣйшей русской жизни, находился еще въ расплавленномъ видѣ.

VI.

Старое поколѣніе литераторовъ, выросшее на почвѣ идеаловъ Александровскаго времени, группировалось, какъ мы уже сказывали, вокругъ Пушкина и Жуковскаго. Изъ ихъ друзей въ 1841 году, когда умеръ Лермонтовъ, многихъ не было въ живыхъ; оставались — Вяземскій, Языковъ и Баратынскій.

Дѣятельность Вяземскаго была преимущественно направлена на критику, въ исторіи которой онъ и занялъ почетное мѣсто. Его поэзія, слишкомъ разсудочная и холодная,

а главное, слишкомъ случайная, имѣла свою цѣну въ 20-хъ годахъ, но въ 30-хъ почти совсѣмъ замолкла. Молодому поколѣнію того времени о старомъ напоминали иногда Баратынскій и Языковъ, рѣже Жуковскій и всего живѣе Пушкинъ, послѣ смерти котораго интересъ къ его поэзіи, какъ извѣстно, очень усилился.

Здѣсь, само собою, является вопросъ, насколько соотвѣтствовало міросозерцаніе этого старшаго поколѣнія потребностямъ поколѣнія молодого и былъ ли необходимъ и желателенъ какой-либо поворотъ въ литературныхъ вкусахъ этого молодого поколѣнія? Сама жизнь отвѣтила на этотъ вопросъ, смѣнивъ старые идеалы новыми. Очевидно, что рамка, въ какую старое поколѣніе втѣснило разрозненные факты жизни, оказалась мала и неудобна для жизни, осложнившейся и для умовъ, взглянувшихъ на эту жизнь съ иныхъ точекъ зрѣнія.

На какихъ же условіяхъ и съ какими уступками мирились тогда старики съ жизнью?

Для пушкинскаго кружка, къ которому мы причисляемъ и Жуковскаго, примиреніе съ жизнью заключалось въ извѣстномъ отчужденіи своей личности отъ дѣйствительности, въ спокойномъ настроеніи сердца, согрѣтаго идеаломъ религіознымъ, нравственнымъ или эстетическимъ. Старики были счастливы, имѣя твердую вѣру въ существованіе такихъ идеаловъ, гдѣ разрѣшались всѣ мелкіе диссонансы жизни. Эта вѣра далась имъ сравнительно очень легко. Если мы вспомнимъ, съ какимъ трудомъ младшее поколѣніе, въ лицѣ Бѣлинскаго, Станкевича, Герцена и другихъ, доходило до этого примиренія съ жизнью на почвѣ философскихъ и эстетическихъ идеаловъ, то мы можемъ позавидовать Жуковскому и Пушкину. Имъ обоимъ этотъ душевный покой дался какъ-то непосредственно, почти безъ борьбы между ихъ личнымъ темпераментомъ и требованіями ихъ разсудка. Эпоха, въ какую сложились ихъ взгляды на міръ, была эпохой сентиментально-оптимистической, и эта случайность много помогла имъ въ жизни. Установившіяся склонности сердца и укоренившіяся убѣжденія не позволили ни одному бѣсу надолго вселиться въ ихъ сердце.

Жуковскій въ 1841 году женился и зажилъ новой жизнью. Шестидесятилѣтній старецъ, онъ не отступилъ отъ идеаловъ своей молодости и остался тѣмъ же религіознымъ и сентиментальнымъ романтикомъ, какимъ былъ въ началѣ царствованія Александра. Молодость его души уберегла его въ новой обстановкѣ отъ тѣхъ несчастій, которыя въ его положеніи угрожали всякому другому.

Такъ, въ 30-хъ годахъ патріархъ русской поэзіи, устранившись отъ всякаго вмѣшательства въ жизнь общественную, замыкался въ тѣсномъ кругѣ семейной, новой для него жизни. Впрочемъ Жуковскій и прежде, въ юности и въ зрѣломъ возрастѣ, рѣдко задавался вопросами современности, за исключеніемъ вопросовъ военно-патріотическихъ, въ которыхъ самъ былъ участникомъ.

Въ силу нравственныхъ правилъ, которыя онъ усвоилъ еще въ прошломъ столѣтіи, онъ ревниво сторонился отъ всякаго зла, гдѣ только могъ заподозрить его присутствіе. Сентиментально-піэтистическое ученіе моралистовъ прошлаго вѣка подъ „зломъ“ вообще разумѣло всякое душевное волненіе, всякую тревогу, мѣшавшую людямъ отдаваться спокойно нравственному усовершенствованію, смиренію и подавленію въ себѣ эгоизма. Естественно, что всѣ тревоги обыденной жизни, всѣ вопросы дня, поднятые законнымъ эгоизмомъ человѣка, теряли для такого философа всякую цѣну. Онъ стремился стать выше этихъ мелочей и жилъ надеждами на міръ болѣе совершенный. У Жуковскаго, кромѣ того, по природѣ всегда было больше чувства, чѣмъ наблюдательности и связанной съ нею способности къ строгому мышленію. Явленія обыденной жизни ускользали отъ него и замѣнялись видѣніями.

Жуковскій, собственно говоря, жилъ въ совершенно своеобразномъ мірѣ. Изъ міра дѣйствительнаго онъ взялъ всѣ нѣжныя чувства, всѣ чувства высшаго порядка, и изъ этого матеріала построилъ свой воздушный замокъ. Любовь, дружба, культъ добродѣтели, преклоненіе передъ искусствомъ и вѣра, теплая христіанская вѣра нашли въ Жуковскомъ ревностнаго жреца и искренняго вдохновеннаго поэта. Онъ всю жизнь служилъ одному божеству и даже не пытался

присматриваться къ идоламъ своихъ современниковъ, но не изъ боязни соблазна, а скорѣе изъ чувства душевной опрятности. Вдохновеніе поэта, въ его глазахъ, было откровеніемъ, поэзія—высочайшимъ призваніемъ человѣка, поэтъ—символомъ и сосудомъ непорочности, красота—прямой эманаціей Бога, художникъ—своего рода апостоломъ, авторство—чистой и непорочной службой обществу. Поэзія, понятая въ такомъ смыслѣ, естественно должна была сторониться отъ всего несовершеннаго, нечистаго, плотскаго, соблазнительнаго и тревожнаго, т.-е. отъ всей обыденной жизни и витать въ области идеальнаго и желаемаго. Поэзія Жуковскаго дѣйствительно витала въ этихъ двухъ сферахъ, если не считать стихотвореній, написанныхъ имъ на торжественные случаи. Поэтъ жилъ или въ идеализированномъ мірѣ, гдѣ лица, взятыя изъ дѣйствительности, превращались въ сказочные образы, или жилъ въ мірѣ желаемомъ—въ мірѣ загробномъ, который онъ населялъ образами, взятыми изъ собственныхъ воспоминаній.

Жуковскій, конечно, не могъ вполнѣ остаться чуждымъ современности и совсѣмъ не думать о ней, хотя бы въ силу своего общественнаго положенія и въ силу своего патріотизма. Онъ вращался въ высшихъ кругахъ общества и судьбы его народа вершились у него передъ глазами. Онъ былъ живымъ свидѣтелемъ многихъ крупныхъ событій въ исторіи нашей жизни и не могъ пройти мимо, не осмысливъ ихъ и не приведя въ связь съ своимъ основнымъ міросозерцаніемъ.

Но свои общественные взгляды Жуковскій вывелъ изъ того же оптимизма, который легъ вообще въ основаніе всей его философіи. Онъ былъ однимъ изъ первыхъ нашихъ славянофиловъ, былъ твердо убѣжденъ въ возможности самобытной русской цивилизаціи, мечталъ о великой миссіи Россіи, проповѣдывалъ даже крестовый походъ противъ турокъ и всю свою вѣру въ лучшее будущее возложилъ на православіе и самодержавіе, которымъ служилъ искренно, отъ всего своего сердца.

Изъ оптимизма вытекло и его основное, историко-философское правило, которое избавляло его отъ всѣхъ тревож-

ныхъ сомнѣній насчетъ его собственной дѣятельности. Это правило — идти вровень съ своимъ вѣкомъ, но отнюдь не перегонять его — плѣнило Жуковскаго своей ясностью и краткостью; оно совпадало съ его глубокой вѣрой въ Провидѣніе.

Такимъ образомъ въ 30-хъ годахъ, уже въ преклонномъ возрастѣ, Жуковскій стоялъ одиноко среди новыхъ поколѣній. Изъ его товарищей и сверстниковъ почти никого въ живыхъ не осталось; его ученики, съ Пушкинымъ во главѣ, отошли также отъ нѣкоторыхъ точекъ зрѣнія, на которыхъ стоялъ учитель. Положеніе Жуковскаго въ литературѣ было почетное, но онъ пересталъ быть въ ней живой силой и живымъ двигателемъ. Оптимизмъ и тихое мечтательное настроеніе, примирявшее поэта съ жизнью, не могли наполнить всей жизни молодого поколѣнія, какъ они наполнили жизнь самого Жуковскаго. Многіе вопросы, отъ которыхъ Жуковскій сторонился какъ отъ зла, стали настойчиво требовать рѣшенія и не могли быть устранены такъ просто, какъ устранялись въ періодъ сентиментальнаго оптимизма и тѣмъ менѣе могли быть обойдены въ искусствѣ. Поэзію Байрона и Лермонтова Жуковскій имѣлъ право недолюбливать и называть „оргіей самолюбія“ и „духовнымъ пьянствомъ“, но права была и молодежь, которая, охваченная байроническимъ настроеніемъ, рѣдко брала въ руки сочиненія Жуковскаго.

Для Пушкина, какъ мы неоднократно уже замѣчали, поэтическое творчество было также своеобразнымъ міромъ, куда онъ уходилъ отъ разныхъ тревожившихъ его вопросовъ. Житейскій диссонансъ, становясь пѣснью, терялъ для него свой острый характеръ. Пушкинъ былъ преимущественно эстетикъ, дитя Александровской эпохи, веселой по своему образу жизни и оптимистической по своему настроенію.

Но къ концу своей жизни Пушкинъ сталъ ощущать какое-то безпокойство. Подросло новое поколѣніе, новые вкусы стали сказываться въ литературѣ и преимущественно въ критикѣ. Старый парнасскій богъ сталъ чувствовать свое одиночество; по мѣрѣ того, какъ онъ въ своемъ творчествѣ становился все выше и выше въ художествен-

номъ отношеніи, его переставали понимать молодые современники. Въ своихъ нападкахъ, иногда очень задорныхъ, они были, конечно, неправы, такъ какъ не умѣли отрѣшиться достаточно отъ своего собственнаго „я“, отъ своихъ личныхъ вкусовъ, но молодость ихъ извиняла эту нетерпимость и она являлась необходимымъ слѣдствіемъ развивавшагося новаго общественнаго сознанія. Пушкина эти нападки очень сердили; онъ вспоминалъ свою молодость, время, когда онъ увлекался Байрономъ, и ему казалось теперь, что молодежь начинаетъ повторять зады и кланяется кумирамъ, которые для самого Пушкина давно потеряли свое значеніе. Пушкинъ съ своей стороны былъ не правъ, увидавъ въ тогдашнихъ романтическихъ увлеченіяхъ молодежи одно лишь паденіе литературныхъ вкусовъ. Онъ не хотѣлъ признать того факта, что съ новымъ временемъ народились и новыя потребности, которыя не нашли еще для себя ясной формулы и вызывали въ людяхъ неопредѣленное, экзальтированное и недовольное настроеніе, которое съ перваго взгляда легко можно было принять лишь за пустое и внѣшнее подражаніе западнымъ образцамъ.

Въ концѣ 30-хъ годовъ, помимо разныхъ личныхъ и домашнихъ заботъ, Пушкинъ переживалъ очень тревожное состояніе духа. Оно отразилось въ его письмахъ и его публицистическихъ статьяхъ; но стихи поэта остались невозмутимы по своему спокойствію, и объективно-возвышенная художественная нота стала звучать въ нихъ еще сильнѣе, чѣмъ прежде. Высокая идея о своемъ призваніи, которая попадается въ самыхъ раннихъ стихотвореніяхъ поэта, выступила впередъ съ особой силой подъ конецъ его жизни. Поэтъ искалъ въ ней разрѣшенія тревожившихъ его литературныхъ вопросовъ и въ ней находилъ успокоеніе и утѣшеніе въ своемъ одиночествѣ. Старая фраза о презрѣніи къ черни, которую Пушкинъ вычиталъ еще въ молодые годы у Горація, попадается снова въ его послѣднихъ стихотвореніяхъ, и теперь, съ его точки зрѣнія, имѣетъ еще больше основанія, чѣмъ имѣла прежде, такъ какъ, по его мнѣнію, художественное чутье у публики совершенно исказилось и притупилось, и прежній богъ незаслуженно отверг-

нутъ. Пушкинъ подъ конецъ жизни начинаетъ усиленно молиться красотѣ, любви и дружбѣ, которымъ онъ былъ такъ преданъ въ свои молодые годы; онъ рѣже говоритъ о событіяхъ дня и его поэзія какъ будто совсѣмъ порываетъ связь съ современностью. Какъ Жуковскій примирился съ жизнью на почвѣ религіозныхъ и нравственныхъ идеаловъ, такъ Пушкинъ, повидимому, мирится съ ней на почвѣ идеаловъ эстетическихъ.

Однако, если въ своихъ стихотвореніяхъ за послѣдній періодъ жизни Пушкинъ все больше и больше сторонился отъ современности, то онъ стремился слѣдить за ней и даже управлять ею какъ публицистъ и издатель журнала. Въ тридцатыхъ годахъ онъ задумалъ изданіе политической газеты, но это изданіе не состоялось. Со стороны Пушкина такая попытка была очень знаменательнымъ явленіемъ. Живая натура человѣка не могла помириться съ жизнью исключительно на почвѣ эстетики, не могла и не хотѣла ограничиться ролью простого художественнаго „отраженія“ или „преображенія“ дѣйствительности и требовала активнаго вмѣшательства въ вопросы жизни. Политическіе идеалы Пушкина дошли до насъ въ отрывкахъ, въ нѣсколькихъ написанныхъ имъ статьяхъ и замѣткахъ.

Несмотря на отрывочность этихъ источниковъ, мы можемъ себѣ составить довольно ясное понятіе объ этой политической программѣ. Съ одной стороны, она была отраженіемъ раннихъ славянофильскихъ взглядовъ Александровской эпохи, а другими своими мыслями примыкала къ теоріи Монтескьё, къ тѣмъ главамъ его „Духа законовъ“, гдѣ говорилось о либеральной роли дворянства. Пушкинъ въ своихъ взглядахъ на дворянство былъ сектантъ съ оптимистическимъ оттѣнкомъ, и этимъ объясняется тотъ фактъ, что онъ, человѣкъ безспорно очень умный, не видѣлъ или не хотѣлъ видѣть непригодности своей политической программы къ современному ему строю русской жизни. Однако, фактъ остается фактомъ: Пушкинъ подъ конецъ жизни ударился въ политику и не только пытался привести въ систему свои политическіе взгляды, какъ это для домашняго обихода иногда дѣлалъ Жуковскій, но имѣлъ въ виду проводить ихъ въ

общество и публично за нихъ бороться. Эстетическій квіэтизмъ переставалъ удовлетворять умнаго человѣка, кругозоръ поэта расширялся, старый „демонъ", отъ котораго онъ, повидимому, давно отдѣлался, сталъ вновь его тревожить, но теперь для Пушкина этотъ демонъ не былъ простою тѣнью героевъ Байрона, которые смущали его воображеніе въ юношескіе годы, а былъ неотвязнымъ призракомъ, который заставлялъ его отъ публицистической статьи бросаться къ стихамъ и среди стихотворной дѣятельности сочинять передовыя статьи и политическіе памфлеты. Если стихи поэта были невозмутимо спокойны по своему настроенію и по своей художественной пластикѣ, то душевное настроеніе автора тѣмъ не менѣе было очень тревожно.

Смерть Пушкина покончила съ трудной задачей его жизни и не дала намъ возможности увидать, какое направленіе принялъ бы талантъ этого великаго художника; если ужъ высказывать гадательныя предположенія,—то есть данныя, по которымъ можно заключить, что изъ Пушкина современемъ могъ выработаться чистокровный славянофилъ по убѣжденіямъ, но только безъ строгой философской подкладки. На склонѣ лѣтъ онъ сошелся бы съ Жуковскимъ въ своихъ историко-философскихъ взглядахъ, какъ въ молодости онъ сходился съ нимъ въ романтико-мечтательномъ настроеніи.

Пушкинъ былъ, однако, большой и разносторонній умъ; и если мы хотимъ убѣдиться, что эстетическій квіэтизмъ не гармонировалъ съ общественнымъ настроеніемъ конца 30-хъ годовъ, то мы должны обратиться не столько къ самому Пушкину, сколько къ его школѣ. Учитель былъ слишкомъ разностороненъ и слишкомъ большой художникъ, чтобы наглядно отразить въ своихъ произведеніяхъ тотъ душевный разладъ, отъ котораго должны были страдать поэты, кумиры которыхъ начинали колебаться или оказывались безпомощными въ рѣшеніи вопросовъ, какіе жизнь начинала ставить обществу.

Пушкина окружала довольно тѣсная толпа учениковъ, и многіе изъ нихъ были ему ровесники. Нѣтъ нужды пересчитывать ихъ всѣхъ по порядку; мы можемъ ограничиться указаніемъ на Баратынскаго и Языкова, какъ на двухъ, без-

спорно самыхъ талантливыхъ и любимыхъ учениковъ и товарищей Пушкина. Ихъ поэзія конца 30-хъ годовъ можетъ наглядно показать намъ, какое тяжелое настроеніе духа переживали эти эпигоны старой поэтической школы среди новаго поколѣнія. Тотъ душевный разладъ, который заставилъ Пушкина бросаться въ политику, а въ стихахъ совершенно устраняться отъ современности—сказался у Баратынскаго и Языкова исключительно на ихъ поэтическомъ творчествѣ, такъ какъ къ другимъ областямъ дѣйствія и другимъ родамъ творчества они были неспособны.

Въ Баратынскомъ меланхолія была врожденной склонностью сердца и не нашла отпора въ жизни. Жизнь, напротивъ того, развивала ее, и въ концѣ 30-хъ годовъ его лира не имѣла уже другихъ пѣсенъ, кромѣ унылыхъ и скорбныхъ. Къ концу его жизни къ этой врожденной меланхоліи присоединилось еще одно новое чувство, которое можно подмѣтить во всѣхъ его послѣднихъ стихотвореніяхъ. Это чувство было—тягостное сознаніе своего одиночества среди кипѣвшей вокругъ него новой жизни. Въ молодости, когда стихи Баратынскаго охотно читались и находили себѣ поддержку и похвалу въ литературныхъ кружкахъ, его меланхолическія элегіи были для него убѣжищемъ, святымъ служеньемъ истинѣ и красотѣ, и давали ему полное самоудовлетвореніе, такъ какъ удовлетворяли не только его, но и другихъ. Теперь онъ сознавалъ ясно, что его поэзія для молодежи потеряла и смыслъ и цѣну. Баратынскій нерѣдко жалуется, что его поэтическое творчество слабѣетъ, что его поэтическій жаръ остываетъ, что его не понимаютъ, и что не понимаетъ его не „безумная толпа“, а „молодое поколѣніе“. Онъ, конечно, не могъ понять, чего это молодое поколѣніе отъ него могло требовать. Но еслибы онъ даже и понялъ это требованіе, онъ все-таки былъ бы не въ силахъ удовлетворить ему. Еще въ свои молодые годы онъ говорилъ, что „счастіе человѣка заключается въ отсутствіи сознанія“, разумѣя подъ этой формулой, конечно, не нирвану, а тотъ поэтическій квіэтизмъ, тотъ самообманъ, который предпочитаетъ художественное воспроизведеніе жизни всѣмъ непосредственнымъ съ ней столкновеніямъ. Баратынскій

боялся всякаго „отрезвленія“, которое могло разрушить его поэтическія иллюзіи, его поэтическое міровоззрѣніе, созданное на основаніи прошедшаго житейскаго „опыта“ и уже неспособное воспринять въ себя новые элементы. Онъ началъ непріязненно смотрѣть на развитіе науки, которая упраздняла нѣкоторые поэтическіе обманы, и Бѣлинскій по этому случаю съ нимъ разсорился. Молодое поколѣніе, жившее въ то время въ круговоротѣ новыхъ вопросовъ жизни и науки, естественно не могло любить этого поэта, въ которомъ однако, при всѣхъ его недостаткахъ, было очень много гуманнаго чувства и много ума. Убѣгать отъ современности и притомъ не въ область „объясняющаго и систематизирующаго“ умозрѣнія, а въ область „успокоивающаго“ поэтическаго настроенія для молодежи было немыслимо.

Тѣ же жалобы на одиночество та же грусть и печаль, тотъ же душевный разладъ сказался и въ Языковѣ, — въ этомъ Вакхѣ русской поэзіи. Въ молодости Языковъ славился своей разгульной жизнью и своими удалыми стихами; и вотъ къ концу 30-хъ годовъ этотъ весельчакъ, остроумецъ и жрецъ Киприды и Діониса, превращается въ святошу и ноющаго славянофила.

Языковъ, какъ и вся пушкинская плеяда, былъ очень высокаго мнѣнія о поэзіи. Она была для него божествомъ и другихъ боговъ въ своемъ храмѣ не терпѣла. Служеніе этому богу было высшимъ призваніемъ на землѣ, и жрецъ стоялъ выше всѣхъ житейскихъ мелочей, почему и могъ вести себя такъ вольно и разнузданно, какъ ни одинъ изъ простыхъ смертныхъ. Языковъ превзошелъ всѣхъ своихъ современниковъ въ осуществленіи этой „поэтической“ свободы; онъ разгульничалъ и въ жизни, и въ стихахъ. Если часто не было здраваго смысла въ его жизни, то и въ стихахъ его иногда было трудно добраться до какой-либо мысли. Языковъ былъ воплощеніемъ лирическаго безпорядка.

Къ концу своей жизни поэтъ, однако, почувствовалъ пустоту и безцѣльность такой поэзіи. Его душа начинала тяготиться бездѣльемъ и онъ въ перепискѣ съ друзьями, въ особенности съ Гоголемъ, часто жалуется на то, что никакъ не можетъ найти себѣ подходящаго дѣла. Въ его стихахъ начи-

наетъ громко звучать та же жалоба. Обѣщаніе остепениться, взяться за работу, намѣреніе совершить какое-то великое дѣло —вотъ темы, съ которыми мы всего чаще встрѣчаемся въ его послѣднихъ стихотвореніяхъ. Всѣ эти добрыя намѣренія кончились, однако, тѣмъ, что поэтъ, связанный узами родства съ славянофильскимъ кружкомъ, примкнулъ къ его взглядамъ и вмѣсто веселыхъ пѣсенъ сталъ пѣть покаянные псалмы и славословить величіе и великое призваніе своей родины. Въ покаяніи и славянофильствѣ для Языкова открылся новый міръ, въ которомъ онъ могъ найти для своей поэзіи и мѣсто и дѣло. Покаяніе было для него дѣломъ личнымъ, а патріотическое славословіе—дѣломъ общественнымъ. Удовлетворило ли Языкова вполнѣ это новое направленіе его творчества — сказать трудно: поэтъ ясно не высказывался; но можно съ увѣренностью сказать, что русской молодежи 30-хъ годовъ стихи Языкова совершенно не удовлетворили. Языкова —Вакха иногда еще вспоминали, но Языкова—кающагося грѣшника забыли совершенно. У молодежи дѣйствительно было грѣховъ еще слишкомъ мало, чтобы начать каяться, а вопросъ о патріотизмѣ интересовалъ юношество не съ лирической, а съ исторической и философской точки зрѣнія.

Сопоставляя теперь поэзію старшаго поколѣнія съ поэзіей Лермонтова, мы можемъ съ достаточной ясностью опредѣлить прогрессивное значеніе этой новой литературной силы въ отношеніи къ современнымъ ей старымъ силамъ. Пусть многое въ поэзіи Лермонтова повторяло или развивало то, что уже давно было сказано Пушкинымъ, въ періодъ его увлеченія Байрономъ; пусть эта поэзія была менѣе пластична и менѣе объективно-спокойна, чѣмъ поэзія Пушкина, менѣе нравственна [если вообще можно говорить о прописной „нравственности“ въ искусствѣ], чѣмъ поэзія Жуковскаго, менѣе глубока по мыслямъ, чѣмъ поэзія Баратынскаго, и менѣе жизнерадостна, чѣмъ муза Языкова; пусть она была туманна по настроенію, безпринципна въ окончательныхъ своихъ выводахъ, иногда безъ причины задорна—все-таки поэзія Лермонтова для молодого поколѣнія того времени носила въ себѣ больше элементовъ жизни, больше побужденій

къ дѣятельности, къ движенію впередъ, чѣмъ поэзія старшаго поколѣнія.

Въ ней прежде всего былъ юношескій пылъ, живая, впередъ стремящаяся сила, которой у стариковъ не было. Романтическое недовольство современностью, поиски идеаловъ, увѣренность въ высокомъ призваніи, жажда великаго дѣла, тяжелая внутренняя борьба въ виду массы вновь возникшихъ вопросовъ, нравственныхъ, религіозныхъ и политическихъ, всѣ эти тревоги и надежды молодого сердца были въ поэзіи Лермонтова живой дѣйствительностью, а въ стихахъ старшаго поколѣнія лишь воспоминаніемъ. Такимъ образомъ поэзія Лермонтова, помимо своей умственной цѣнности, была для молодежи прежде всего „живая сила“, а не „книжное наставленіе“. Что же касается ея содержанія, то общественное его значеніе для того времени опредѣляется тѣми его качествами, которые съ другихъ точекъ зрѣнія должны быть признаны за недостатки и отъ которыхъ Лермонтовъ, останься онъ живъ, современемъ конечно бы избавился. Мы говоримъ о тревожномъ неустановившемся настроеніи поэта, о поспѣшности, съ какой онъ набрасывался на всѣ вопросы жизни, о его привычкѣ рѣшать эти вопросы съ плеча и затѣмъ сердиться на себя и на міръ за свое же собственное, слишкомъ поверхностное отношеніе къ задачамъ, требовавшимъ терпѣнія и подробнаго изученія. Эта нетерпѣливая, а потому противорѣчивая и тревожная разносторонность поэзіи Лермонтова служила хорошимъ противовѣсомъ поэтическому квіэтизму старой школы и носила въ себѣ зерно для будущаго развитія русской мысли. Поэзія Пушкина и его товарищей давно помирилась съ жизнью на почвѣ чистой эстетики; отъ современнаго она уходила въ прошедшее. Чтобы привести поэзію въ болѣе тѣсную связь съ новой дѣйствительностью, необходимо было нарушить ея спокойствіе, воскресить въ ней прежнюю лихорадочную нервную дѣятельность, пересадить ее изъ кабинета вновь на площадь и на время избавить ее отъ строгаго надзора слишкомъ требовательной художественности.

Когда поэзія обогащается новымъ матеріаломъ, то нельзя отъ нея требовать, чтобы она во всемъ соблюдала мѣру и

нашла сразу подходящую форму этому новому содержанію. Поиски этой формы и поспѣшность, въ какою новый матеріалъ усвоялся, отразились ясно на содержаніи и на настроеніи стиховъ Лермонтова, и стали залогомъ дальнѣйшаго развитія русской поэзіи. Некрасовъ могъ явиться только послѣ Лермонтова, но бурное и неопредѣленное настроеніе Лермонтова у Некрасова уже исчезло и новая жизнь подъ его перомъ начинала облекаться въ новыя пластическія формы, нерѣдко глубоко-правдивыя и художественныя.

VII.

Хотя Лермонтовъ и занималъ по своимъ стихамъ въ русской литературѣ совершенно обособленное, одинокое мѣсто, тѣмъ не менѣе по своему душевному настроенію онъ стоялъ не одиноко. Онъ находилъ себѣ поддержку, какъ увидимъ ниже, почти у всѣхъ молодыхъ писателей того времени. Но и среди старшаго поколѣнія были люди, творчество которыхъ, по настроенію своему, имѣло нѣкоторое сходство съ творчествомъ Лермонтова. Мы говоримъ о Марлинскомъ и Полевомъ. Оба они были значительно старше Лермонтова. Произведенія ихъ, несмотря на старость авторовъ, не устарѣли и читались съ большой охотой въ концѣ 30-хъ годовъ, не взирая на уничтожающую критику Бѣлинскаго.

Полевой и Марлинскій, по своимъ литературнымъ тенденціямъ, принадлежали къ первой эпохѣ русскаго байронизма 20-хъ годовъ. Марлинскій въ тѣ времена писалъ свои повѣсти изъ кавказскаго быта и разсказы изъ древне-русской жизни, писалъ также критическія статьи въ „Телеграфѣ“, гдѣ сокрушалъ съ неистовствомъ старые авторитеты классической школы. Полевой въ то время ратовалъ за нарождавшуюся романтическую поэзію Пушкина и зорко слѣдилъ за романтическимъ движеніемъ на западѣ. Въ 20-хъ годахъ дѣятельность того и другого писателя имѣла большое значеніе для русской литературы; въ 30-хъ годахъ это значеніе естественно не могло имѣть прежней силы и прежняго объема. Тѣмъ не менѣе Марлинскій и Полевой продолжали

писать все въ томъ же духѣ, не мѣняя своихъ литературныхъ взглядовъ. Позднѣйшая литературная дѣятельность Пушкина была совсѣмъ не понята Полевымъ и онъ вообще отворачивался отъ всякаго литературнаго движенія, въ которомъ не было понятнаго и родного ему романтическаго настроенія первой формаціи. Это настроеніе, которымъ пропитаны всѣ романы и разсказы Марлинскаго и повѣсти и драмы Полевого, не поддается точному опредѣленію. Любовь ко всему эксцентричному, необыкновенному, величественному и фантастическому руководила авторами въ выборѣ сюжетовъ. Неспокойное настроеніе духа, героическій подъемъ духа, свобода чувства и оппозиція чисто внѣшнимъ стѣснительнымъ условіямъ прозаической и въ предразсудкахъ погрязшей жизни—были отличительными чертами ихъ излюбленныхъ героевъ; печаль и меланхолія—иногда очень любимымъ фономъ ихъ картинъ.

Такимъ образомъ между этими запоздалыми и во многихъ другихъ вопросахъ отставшими романтиками и между Лермонтовымъ была несомнѣнная связь по настроенію. Они сходились въ общей имъ симпатіи къ новизнѣ, къ необузданному стремленію куда-то впередъ, къ свободѣ въ творчествѣ и въ симпатіи къ напряженному, нервному состоянію духа, которое, по ихъ мнѣнію, было источникомъ всѣхъ великихъ мыслей и дѣлъ. Молодежь конца 30-хъ годовъ, въ особенности женская ея половина, если не упивалась произведеніями Полевого и Марлинскаго, то все-таки читала ихъ охотно. На нихъ косились только философы московскихъ кружковъ, которые въ то время, какъ мы сейчасъ увидимъ, умѣли выработать себѣ совершенно своеобразное философски-спокойное міросозерцаніе, въ которомъ никакому романтизму не было мѣста. Прогрессивное значеніе Лермонтова въ отношеніи къ этимъ остаткамъ стараго романтическаго теченія 20-хъ годовъ опредѣлить не трудно.

Лермонтовъ былъ умнѣе и образованнѣе Марлинскаго и Полевого; къ тому же онъ былъ геніальный художникъ, а они ремесленники литературы. Все, что въ ихъ стремленіяхъ было лучшаго, мы находимъ у Лермонтова въ болѣе чистомъ и продуманномъ видѣ, въ болѣе сжатой и пла-

стичной формѣ. Лермонтовъ свободенъ отъ шаблонности и вычурности, за которыя Бѣлинскій такъ негодовалъ на Марлинскаго и Полевого, и потому его романтизмъ, воспитывая умы и дѣйствуя на сердце, въ тоже время не портилъ у публики вкуса, не пріучалъ ее любить одни только внѣшніе эффекты и признавать ихъ за единственную художественность въ искусствѣ.

VIII.

Несмотря на всю свою силу и красоту, поэзія Лермонтова въ 30-хъ годахъ далеко не пользовалась той славой, какой она пользуется теперь. Все вниманіе литературныхъ кружковъ и общества было обращено въ то время не на Лермонтова, а на Гоголя; онъ являлся прямымъ наслѣдникомъ славы Пушкина.

Несмотря на эту славу, Гоголь у современнаго ему молодого поколѣнія не имѣлъ, однако, настоящаго успѣха. За исключеніемъ кружка товарищей и московской молодежи съ философскими тенденціями, общество въ тѣ годы не понимало Гоголя, хотя постоянно о немъ кричало; и критикѣ стоило большого труда выяснить публикѣ его значеніе. Гоголь, дѣйствительно, былъ совершеннно самобытнымъ явленіемъ въ русской литературѣ.

Съ идеалами пушкинскаго кружка, въ которомъ Гоголь выросъ и съ которымъ всю жизнь былъ друженъ, онъ имѣетъ много общаго, но онъ все-таки не могъ успокоиться на чисто-эстетическомъ міросозерцаніи друзей Пушкина и сталъ искать примиренія съ жизнью въ идеалѣ нравственномъ и религіозномъ; изъ поэта эстетика онъ хотѣлъ сдѣлаться художникомъ-пророкомъ и борьба за этотъ идеалъ, какъ извѣстно, свела его въ могилу. Съ кружкомъ романтиковъ Гоголь враждовалъ во имя своихъ эстетическихъ и нравственныхъ убѣжденій. Съ философами-теоретиками, которые его такъ любили, онъ не сходился, въ виду своего незнакомства съ теоретическими вопросами и также въ виду своей художественной натуры, для которой будничная конкретная жизнь

со всѣми ея мелочами была главнымъ источникомъ вдохновенія и вообще всей умственной дѣятельности. Гоголь до ясныхъ приступовъ своей душевной болѣзни былъ исключительно живописецъ съ натуры, геніальный художникъ, въ которомъ дѣйствительность, реальная повседневная жизнь нашла свое отраженіе. Онъ былъ первый писатель, который заставилъ публику оцѣнить поэзію этой будничной жизни и понять, сколько истинной художественности кроется въ мелочахъ обыденной обстановки, въ какой живутъ обыденные люди. Русскому самосознанію Гоголь оказалъ громадную услугу, показавъ во всей наготѣ русскаго человѣка, котораго до Гоголя одѣвали въ фантастическіе костюмы, красили бѣлилами и румянами и заставляли ходить на ходуляхъ.

Это новое реальное или натуральное направленіе въ литературѣ было настоящимъ откровеніемъ для русскаго читателя, который до Гоголя не встрѣчалъ ни у одного писателя столь широкаго, правдиваго и художественнаго отраженія русской жизни. Въ этомъ отношеніи роль Гоголя въ исторіи русскаго просвѣщенія несомнѣнно важнѣе и плодотворнѣе роли Лермонтова. Безъ преувеличенія можно сказать, что въ жанровыхъ картинахъ Гоголя русское общество себя сознало, что эти картины многимъ открыли глаза на ту массу пошлости и грязи, которыя ихъ окружали, и тѣмъ самымъ прямо повліяли на воспитаніе общества.

Несмотря, однако, на всю свою объективность и спокойствіе, какими Гоголь отличается въ своемъ творчествѣ отъ современныхъ ему писателей, онъ самъ былъ совершенно неустановившейся и романтической натурой. У него, какъ и у Лермонтова къ концу 30-хъ годовъ — еще не было никакихъ установившихся взглядовъ на жизнь, никакого міровоззрѣнія. Какъ художникъ, онъ творилъ почти безсознательно; между тѣмъ желаніе отдать себѣ отчетъ въ собственной дѣятельности, осмыслить свое собственное существованіе и найти ясный идеалъ въ жизни было въ немъ не менѣе сильно, чѣмъ въ Лермонтовѣ. Гоголь въ тиши, тайкомъ отъ друзей,

принялся за свое духовное перевоспитаніе и многіе годы прошли для него въ этой скрытой отъ всѣхъ изнурительной и трудной работѣ. Къ умственному труду, въ началѣ 40-хъ годовъ, присоединилась физическая немощь и угрызенія слишкомъ чуткой и болѣзненной совѣсти. Результатомъ всѣхъ этихъ душевныхъ и физическихъ немощей великаго писателя была знаменитая „Переписка съ друзьями“, въ которой Гоголь подѣлился, наконецъ, съ публикой своимъ міросозерцаніемъ. Отъ него онъ ожидалъ спасенія не только самому себѣ, но и всему русскому обществу. Это міровоззрѣніе, сущность котораго мы отмѣтимъ въ самыхъ общихъ чертахъ, было лишь своеобразнымъ видоизмѣненіемъ политическихъ, религіозныхъ и нравственныхъ убѣжденій Жуковскаго и Пушкина.

Понимая жизнь какъ разладъ мечты и дѣйствительности, Гоголь видѣлъ въ искусствѣ единственное убѣжище человѣческаго духа отъ мучительнаго разъединенія съ самимъ собой. Это искусство онъ понималъ, однако, нѣсколько иначе, чѣмъ Пушкинъ, который тоже искалъ въ искусствѣ спасенія отъ житейскихъ волненій. Если у Пушкина взглядъ на искусство былъ чисто-эстетическій, то у Гоголя онъ былъ мистическій и нравственно-религіозный. Человѣкъ отъ ужасовъ современности долженъ былъ „уходить внутрь себя“, долженъ былъ „познать весь міръ внутри себя“, „сказнить міровой грѣхъ въ собственномъ сердцѣ“ — и тогда войти въ міръ какъ художникъ. Христіанское смиреніе являлось такимъ образомъ подготовительной стадіей къ художественному творчеству, и Гоголь вполнѣ соглашался съ Жуковскимъ, что поэзія должна воспитываться на христіанствѣ; но если у Жуковскаго это убѣжденіе было простымъ требованіемъ нравственной чистоты отъ поэта, то у Гоголя къ нему присоединился новый оттѣнокъ — мистическій. Гоголь былъ убѣжденъ, что путемъ этого смиренія можно было дойти до ясновидѣнія, до пророческой прозорливости. Такимъ образомъ, думая быть смиреннымъ христіаниномъ, онъ на дѣлѣ сталъ самымъ гордымъ романтикомъ въ стилѣ нѣмецкаго романтизма, и искусство вмѣсто того, чтобы

примирить его съ жизнью—его на каждомъ шагу съ ней ссорило.

Изъ ошибочно понятаго религіознаго смиренія вытекаютъ у Гоголя, какъ слѣдствія, и остальные его взгляды на міръ, самого себя и свою родину. Въ этомъ смиреніи коренится, напримѣръ, ненависть Гоголя ко всякому быстрому активному вмѣшательству въ вопросы жизни—что заставляло его въ особенности не любить французовъ; коренится и его презрѣніе къ наукѣ, которая своимъ анализомъ и своей строгостью разрушала нѣкоторые, дорогіе сердцу, поэтическіе самообманы; его патріотизмъ, въ которомъ смиреніе передъ Богомъ и Предопредѣленіемъ выродилось въ гордыя и не мотивированныя пророчества о будущемъ величіи Россіи, внѣшнемъ и внутреннемъ; его крѣпостничество, вытекшее изъ неправильнаго понятія о власти, данной людямъ отъ Бога; наконецъ, его отрицаніе своей собственной прежней литературной дѣятельности. Всѣ эти мудрствованія растерявшагося и малообразованнаго человѣка, къ счастію, не имѣли послѣдователей и были забыты. Въ памяти у всѣхъ осталась одна литературная дѣятельность Гоголя, и школа, которую она создала, оказала русскому самосознанію громаднѣйшую услугу.

Отдавая Гоголю предпочтеніе передъ Лермонтовымъ, мы имѣли въ виду исключительно содержаніе произведеній того и другого писателя. Если мы теперь пожелаемъ сравнить этихъ двухъ писателей, какъ два характера, какъ двѣ сильныхъ натуры, стремящіяся къ одной цѣли—къ выработкѣ опредѣленнаго міровоззрѣнія, то наши симпатіи будутъ скорѣе на сторонѣ Лермонтова, чѣмъ на сторонѣ Гоголя. Неустановившаяся и противорѣчивая житейская философія Лермонтова заключаетъ въ себѣ все-таки болѣе задатковъ къ жизни, къ дальнѣйшему движенію впередъ, чѣмъ связная философія Гоголя, въ которой религіозно-патріотическая утопія какимъ-то страннымъ образомъ сочеталась съ отжившими предразсудками и устарѣвшимъ общественнымъ зломъ. Романтизмъ Лермонтова былъ движеніемъ; философія Гоголя—застоемъ.

IX.

Конецъ 30-хъ годовъ былъ также тревожнымъ періодомъ упорнаго умственнаго труда и сердечныхъ сомнѣній въ жизни московской молодежи, лучшій цвѣтъ которой группировался тогда вокругъ двухъ молодыхъ студентовъ — Станкевича и Герцена. Въ обоихъ кружкахъ молодые люди ревностно занимались изученіемъ философскихъ системъ запада, надѣясь найти въ этихъ системахъ ключъ къ страшной задачѣ, которая всѣхъ ихъ одинаково мучила. Ихъ мучило тоже отсутствіе опредѣленнаго міросозерцанія, которое, какъ мы видѣли, было источникомъ душевныхъ страданій Лермонтова.

Московская молодежь, широко образованная и много читавшая, не оставалась, однако, такъ долго въ неопредѣленномъ томленіи по идеаламъ, какъ остался Лермонтовъ; не пыталась также самостоятельно взяться за трудное рѣшеніе міровыхъ задачъ, какъ это сдѣлалъ Гоголь, который безъ всякой умственной подготовки принялся перекраивать на свой ладъ неполныя и односторонніе міровоззрѣнія Пушкина и Жуковскаго; московская молодежь примкнула прямо къ западнымъ ученіямъ и старалась всецѣло усвоить себѣ философскія системы Германіи и общественныя ученія Франціи. Намъ нѣтъ нужды говорить, какъ искренно и упорно трудилась московская молодежь надъ этой задачей. Однако самый фактъ процвѣтанія философскихъ системъ у насъ въ 30-хъ годахъ заслуживаетъ глубокаго вниманія.

На первый взглядъ этотъ успѣхъ отвлеченныхъ и трудноусвояемыхъ философскихъ системъ представляется мало понятнымъ явленіемъ. Русскій умъ до того времени не проявлялъ особой склонности къ теоретическому мышленію, хотя на каѳедрахъ, академическихъ и университетскихъ, философія имѣла своихъ представителей. Въ 20-хъ годахъ философія стала робко проникать въ литературу, а къ концу 30-хъ годовъ критика находилась уже всецѣло подъ ея вліяніемъ.

Такое быстрое и упорное увлеченіе метафизическими системами становится понятно, если принять во вниманіе,

что какъ на западѣ, такъ и у насъ онѣ однѣ могли успокоить романтически-настроенное сердце человѣка и дать полное самоудовлетвореніе человѣческому уму, который пытливо старался проникнуть во всѣ вопросы жизни и не удовлетворялся какимъ-нибудь одностороннимъ рѣшеніемъ. Широкія, всеобъемлющія философскія системы Германіи отвѣчали, кромѣ того, другой—самой важной—потребности новаго времени, а именно—его чувству общественности, тому обновившемуся гуманному чувству, которое, начиная съ середины прошлаго вѣка, побуждало людей отказываться отъ предразсудковъ соціальныхъ, національныхъ, религіозныхъ и эстетическихъ во имя одной великой идеи равноправнаго участія всѣхъ людей въ пользованіи благами цивилизаціи.

Дѣйствительно, высокій гуманный идеалъ, объединявшій собою все человѣчество и признававшій равенство каждаго человѣка передъ великимъ историческимъ закономъ прогрессивнаго развитія, былъ созданъ и формулированъ еще въ XVIII-мъ вѣкѣ совмѣстнымъ трудомъ французскихъ, англійскихъ и затѣмъ нѣмецкихъ публицистовъ. Но въ XVIII-мъ вѣкѣ этотъ идеалъ оставался теоретически поставленной проблемой; ему недоставало практическаго осуществленія и провѣрки на дѣлѣ. Это осуществленіе началось, какъ извѣстно, въ концѣ XVIII-го вѣка.

Столкновеніе гуманныхъ идеалистовъ съ жесткой и неуступчивой дѣйствительностью заставило ихъ всѣхъ усумниться въ возможности достиженія своего идеала. Недовольство людьми за низость ихъ стремленій и недовольство самимъ собою въ виду собственнаго безсилія помочь горю были прямыми слѣдствіями этихъ сомнѣній, возникшихъ въ сердцѣ обманувшихся идеалистовъ. Міровая скорбь, меланхолія и пессимизмъ заполонили собою всю литературу конца прошлаго и начала нынѣшняго вѣка. Неизвѣстно, къ какимъ плачевнымъ результатамъ пришло бы общество, къ какому бы извращенному идеалу оно возвратилось, еслибы на порогѣ новаго времени не встали великія умозрительныя системы, которыя положили конецъ томительно-неопредѣленнымъ стремленіямъ къ неотысканнымъ идеаламъ и своимъ идеализмомъ затор-

мозили все болѣе и болѣе развивавшуюся меланхолію и скептицизмъ. Сравнительно съ умозрительными системами прошлыхъ вѣковъ, эти новыя системы XIX-го вѣка не были, конечно, вполнѣ новинкой; во многихъ своихъ частяхъ онѣ повторяли старое и исходили изъ давно извѣстныхъ точекъ зрѣнія, но въ нихъ было и новое—дорогое для людей того времени.

„Человѣку", въ широкомъ смыслѣ этого слова, въ этихъ системахъ было отведено гораздо больше мѣста, чѣмъ въ тѣхъ философскихъ ученіяхъ, изъ которыхъ эти новыя системы вытекли. Эти системы отличались своимъ энциклопедическимъ характеромъ. Человѣкъ разсматривался ими во всѣхъ проявленіяхъ его духа, какъ существо мыслящее, чувствующее, вѣрующее, нравственно-свободное, гражданское, какъ соціальная единица и какъ единица въ природѣ. При такомъ широкомъ кругозорѣ, прежнія рѣшенія мірового вопроса съ какой-нибудь исключительной одной точки зрѣнія, какъ мы уже имѣли случай замѣтить, стали немыслимы. Гуманный идеалъ, который легъ въ основаніе всѣхъ этихъ системъ, потребовалъ, чтобы человѣкъ былъ свободенъ въ удовлетвореніи всѣхъ своихъ духовныхъ потребностей, чтобы онъ не казнилъ въ себѣ одной стороны своего духа ради мнимаго совершенства другой, а жилъ и дѣйствовалъ всѣми своими способностями и склонностями, направляя ихъ къ двумъ высшимъ цѣлямъ—къ познанію истины и къ общему счастію и благу.

Идеалистическій и гуманный выводъ, какой можно было сдѣлать каждому человѣку изъ общей сущности великихъ философскихъ системъ Германіи, объясняетъ тотъ повсемѣстный успѣхъ, который онѣ имѣли въ Европѣ и у насъ. Когда развившееся чувство общественности поставило людямъ широкую задачу — сдѣлать все человѣчество участникомъ и двигателемъ прогресса; когда люди въ XIX-мъ вѣкѣ отъ теоретическихъ построеній общественныхъ идеаловъ и отъ поспѣшнаго осуществленія всѣхъ своихъ утопій пожелали перейти вновь къ частичному ихъ осуществленію на практикѣ—они необходимо должны были объединить отдѣльныя свои программы въ

одномъ общемъ міровоззрѣніи, найти въ природѣ цѣль своего собственнаго существованія, а въ прошломъ своей жизни— подтвержденіе и оправданіе своимъ новымъ общественнымъ идеаламъ, на которые они, конечно, смотрѣли не какъ на минутный капризъ своего сердца, а какъ на постулатъ своего разума. Философскія системы Германіи были образчиками такого связнаго міросозерцанія. Философія Канта поставила ясныя границы познавательной способности человѣка и тѣмъ самымъ освободила людей отъ прежнихъ догматико-метафизическихъ точекъ зрѣнія, которыя искажали въ людяхъ правильность взглядовъ на міръ и человѣка и заставляли ихъ забывать „человѣка“ за массой отвлеченностей мнимаго „высшаго“ порядка. Философія Фихте—была самымъ рѣзкимъ провозглашеніемъ человѣческаго индивидуализма, апоѳеозомъ человѣческой личности, ея творческой силы, ея всемогущества, ея неподчиненности кому или чему бы то ни было. Натурфилософія Шеллинга пыталась связать человѣка самымъ тѣснымъ образомъ съ природой, а философія Гегеля—наиболѣе популярная философія того времени—давала человѣку отвѣты на всѣ вопросы и прошедшаго, и настоящаго. Она въ одной общей системѣ объединяла всѣ явленія жизни, всѣ отрасли наукъ и искусствъ, и человѣкъ, который съ ней освоился, могъ отдать себѣ отчетъ въ любомъ изъ моментовъ жизни какъ всего человѣчества, такъ и своей собственной.

Обладать этой истиной, открывающей человѣку глаза на его прошлое и настоящее, пріобрѣсти эту увѣренность въ силѣ своей личности и въ непогрѣшимости своего разума, значило доработаться до той степени душевнаго покоя, какой былъ необходимъ людямъ того тревожнаго времени, чтобы, не боясь разочарованій и сомнѣній, приняться за великое дѣло обновленія общества во имя новыхъ гуманныхъ идеаловъ. Весь XIX-ый вѣкъ занятъ частичнымъ проведеніемъ въ жизнь этихъ гуманныхъ принциповъ, выработанныхъ теоретически еще въ XVIII-мъ вѣкѣ, и почти всѣ видные общественные дѣятели XIX-го вѣка прошли строгую философскую школу. Она поселила въ нихъ надежду на цѣлесообразность ихъ жизни, на правоту ихъ воззрѣній, она дала

имъ вѣру въ возможность осуществленія своихъ идеаловъ. Философская отвлеченная мысль стала для общественныхъ дѣятелей XIX-го вѣка источникомъ активнаго вмѣшательства въ теченіе событій.

Итакъ, прежде чѣмъ дойти до этого „примиренія“ съ жизнью на почвѣ активнаго труда во имя извѣстнаго количества опредѣленныхъ общественныхъ идеаловъ, люди „примирялись“ съ дѣйствительностью на почвѣ умозрѣнія. Это примиреніе въ философскомъ идеалѣ давало людямъ и бодрость и силу, необходимыя для успѣшной уже практической работы.

Въ философскомъ примиреніи съ жизнью не обошлось, однако, безъ крайностей. На людей духовно-слабыхъ, въ которыхъ мечта или сердечное настроеніе преобладали надъ разсудкомъ, которые не обладали достаточной силой характера, чтобы подвергнуть строгому анализу свои собственныя личныя симпатіи и антипатіи, на такихъ лицъ широкія философскія системы имѣли вліяніе совсѣмъ обратное. Онѣ не только не сдѣлали этихъ людей участниками новаго зарождавшагося общественнаго движенія, а напротивъ того, заставили ихъ отвернуться отъ событій кипѣвшей вокругъ нихъ жизни и искать идеаловъ не въ будущемъ, а въ прошедшемъ. Прошедшее, дѣйствительно, укладывалось въ систему легче, чѣмъ настоящее, и люди, увлеченные этой призрачной гармоніей своего разума съ давно отжившими формами прошедшей жизни, стали стараться ограничивать и тормозить постепенный ходъ человѣческаго прогресса во имя мнимыхъ требованій этого мнимаго разума, на дѣлѣ же во имя просто личныхъ сердечныхъ симпатій и самообмана, которому они подпали по духовной своей слабости. Въ Германіи такое пагубное вліяніе отвлеченной философіи сказалось на „романтической“ школѣ, а у насъ—школѣ славянофильской.

Эти крайности и уродливыя порожденія философской мысли не могутъ, однако, служить осужденіемъ тѣхъ симпатій къ отвлеченному мышленію, какія сказались въ 30-хъ годахъ въ нашемъ обществѣ.

Намъ нѣтъ необходимости излагать міросозерцаніе каждаго отдѣльнаго члена этой довольно многочисленной философской семьи; въ эпоху, о которой мы говоримъ, большинство нашихъ молодыхъ философовъ не высказывалось въ печати опредѣленно и ясно, работало въ кабинетахъ надъ своимъ міровоззрѣніемъ и русскому читателю съ этой домашней работой считаться не приходилось. Герценъ въ 30-хъ годахъ писалъ отрывочно и мало, также какъ и его „философскій другъ", какъ и Аксаковъ и Станкевичъ. Кирѣевскій послѣ своей статьи о девятнадцатомъ вѣкѣ замолчалъ совсѣмъ и надолго, точно также, какъ Чаадаевъ послѣ своего философскаго письма. Изъ всѣхъ „философовъ" одинъ Бѣлинскій въ полномъ смыслѣ слова „боролся" за свои идеалы и проводилъ ихъ въ жизнь. На немъ должно быть сосредоточено и наше вниманіе, такъ какъ онъ одинъ былъ въ то время представителемъ философскихъ кружковъ, представителемъ, который имѣлъ на общество вліяніе, человѣкомъ, который входилъ тогда въ русскую жизнь „активной" силой. Герценъ и славянофилы стали оказывать свое вліяніе на русскихъ читателей значительно позднѣе и потому въ кругъ нашего обзора не входятъ.

X.

Бѣлинскій былъ типичнымъ представителемъ философской молодежи 30-хъ годовъ и, говоря о благотворномъ вліяніи нѣмецкой философіи на русскіе умы, мы должны выдвигать впередъ именно его личность.

Съ нимъ мы должны сопоставить и Лермонтова, если захотимъ безпристрастно указать мѣсто, которое Лермонтовъ занимаетъ въ исторіи своего времени.

Литературная критика Бѣлинскаго была новой эрой въ исторіи русской мысли. Имъ впервые былъ поднятъ и блистательно разработанъ вопросъ объ общественномъ значеніи литературныхъ произведеній. Можно сказать, что онъ первый помирилъ поэзію съ жизнью, т.-е. указалъ литературѣ

на ея мѣсто среди другихъ факторовъ прогресса. Къ этому широкому взгляду на художественное творчество, взгляду, въ которомъ чисто эстетическіе принципы согласовались съ принципами гуманными и чувство художественности съ чувствомъ общественности, Бѣлинскій пришелъ не сразу. И ему пришлось пережить періодъ романтизма, мучительный періодъ неустановившихся взглядовъ на міръ, человѣка и искусство. По темпераменту своему Бѣлинскій былъ наиболѣе страстной натурой изъ всей тогдашней русской молодежи. Стоитъ прочитать его письма, чтобы увидать, какъ этотъ человѣкъ былъ чутокъ ко всему окружающему, какъ каждая новая мысль его интересовала, какъ малѣйшее сомнѣніе въ правотѣ своихъ взглядовъ и поступковъ тревожило и разъѣдало его душу.

Въ чуткости и воспріимчивости онъ могъ поспорить съ Лермонтовымъ. А между тѣмъ какая разная судьба была предназначена этимъ двумъ лицамъ! И въ Бѣлинскомъ, и въ Лермонтовѣ жажда дѣятельности, желаніе вставить свое слово въ современные имъ споры было главнымъ стимуломъ жизни; и тотъ и другой хотѣли „управлять“ людьми въ благородномъ смыслѣ этого слова, совершить что-то „великое“ вовсе не ради тщеславія, а изъ глубокой потребности примѣнить къ жизни богатый запасъ энергіи и силъ, который они сами въ себѣ сознавали. Бѣлинскому, дѣйствительно, удалось наложить свою печать на цѣлое поколѣніе, воспитать цѣлый рядъ писателей и помочь массѣ читателей привести въ ясность свои смутные и безотчетные взгляды на художественное творчество и на многіе другіе вопросы жизни. Лермонтовъ никого никуда не направилъ, никому не облегчилъ трудной задачи примиренія съ жизнью, такъ какъ самъ онъ ни въ одномъ вопросѣ не успѣлъ разобраться. Между тѣмъ его образованіе и средства къ пріобрѣтенію знанія ставили его въ положеніе болѣе выгодное, чѣмъ то, въ какомъ стоялъ Бѣлинскій.

Бѣлинскій имѣлъ такое громадное вліяніе на окружающихъ въ силу своей искренней, любящей души, въ силу своего гуманнаго, вполнѣ „общественнаго“ отношенія къ людямъ.

Онъ, дѣйствительно, жертвовалъ собой ради блага ближнихъ, не щадилъ ни своей гордости, ни своего здоровья ради истины.

Бѣлинскій былъ той идеалистической закваской, которая была безусловно необходима тревожному, энергическому, но неустановившемуся въ своихъ взглядахъ поколѣнію 30-хъ годовъ. Это поколѣніе чувствовало, что новыя времена наступили и понимало, что новая задача поставлена обществу, что сосѣди надъ этой задачей давно уже трудятся съ успѣхомъ, и что эта общественная задача обязываетъ и насъ посвятить ей свои мысли и руки, если только мы хотимъ сохранить за собой названіе человѣка. Сохранить и оправдать это имя гуманнаго человѣка можно было только при одномъ условіи—при высокомъ понятіи о человѣкѣ, какъ личности нравственной, разумной, призванной въ міръ для достиженія опредѣленной цѣли; личности, живущей общественною жизнью и въ силу своей природы обязанной жить такою же жизнью и впредь; личности, вѣчно стремящейся впередъ и потому необходимо борющейся, и среди обмановъ и разочарованій не теряющей надежды на конечное осуществленіе своихъ идеаловъ; наконецъ, личности любящей и свободной, т.-е. не приносящей ни одной изъ своихъ духовныхъ сторонъ въ жертву устарѣвшимъ авторитетамъ и укоренившимся предразсудкамъ. Такое высокое понятіе о личности человѣка имѣлъ Бѣлинскій, и онъ никогда не упускалъ случая напоминать читателю объ этомъ идеалѣ. Самъ Бѣлинскій дошелъ до этого понятія, конечно, не самостоятельно; оно въ немъ сложилось и окрѣпло главнымъ образомъ подъ вліяніемъ его философскихъ занятій, подъ вліяніемъ его знакомства какъ съ умозрительными теоріями Германіи, такъ и съ общественными ученіями Франціи.

Такимъ образомъ цѣлый періодъ европейской умственной жизни былъ охваченъ, усвоенъ и переданъ въ популярной формѣ русскому читателю. Бѣлинскій былъ этимъ передаточнымъ пунктомъ и въ своихъ бесѣдахъ, и въ печати. Онъ—человѣкъ, имѣвшій наименѣе средствъ къ образованію, поставленный въ самыя тяжелыя житейскія условія, подвелъ

итогъ философско-критической мысли своихъ учителей, взялъ изъ ихъ ученія самое главное, самое гуманное и привилъ этотъ идеализмъ молодому подроставшему поколѣнію.

Что касается Лермонтова, то о немъ иногда приходится слышать, что онъ вообще никого не любилъ, кромѣ самого себя, о благѣ ближняго не думалъ и „рисовался", а не говорилъ отъ чистаго сердца. Это не вѣрно. Лермонтовъ былъ временами холоденъ и эгоистиченъ, занятъ собой и съ виду безучастенъ къ людямъ лишь потому, что не былъ носителемъ никакой истины. Обладай онъ ею, какъ обладалъ Бѣлинскій, будь онъ убѣжденъ въ чемъ-либо непоколебимо, какъ былъ убѣжденъ Бѣлинскій—и теплота, искренность и сердечность явились бы сами собою; по крайней мѣрѣ для всѣхъ этихъ качествъ въ поэзіи Лермонтова есть богатые задатки. Мы видѣли, какъ онъ откликался на всѣ вопросы современности, —откликался, правда, инстинктивно и противорѣчиво; мы знаемъ, какъ онъ страдалъ отъ собственной растерянности; мы видѣли, что онъ никогда не могъ удовлетвориться отрицательнымъ и скептическимъ рѣшеніемъ міровой загадки, не могъ окончательно помириться съ своими разочарованными и одиноко стоящими героями и нѣсколько разъ съизнова принимался за пересмотръ тѣхъ вопросовъ жизни, поспѣшное рѣшеніе которыхъ онъ воплощалъ въ этихъ разочарованныхъ, съ виду холодныхъ и несимпатичныхъ личностяхъ. Бѣлинскій имѣлъ, дѣйствительно, громадное преимущество надъ Лермонтовымъ именно въ силу своей убѣжденности, своихъ установившихся, хотя бы на время, идеаловъ, въ силу того, что онъ былъ глашатаемъ извѣстныхъ ученій и проводникомъ ихъ. Бѣлинскій отъ примиренія съ жизнью въ отвлеченномъ идеалѣ очень скоро перешелъ къ примиренію съ ней на почвѣ активной борьбы за извѣстную сумму своихъ убѣжденій, и въ немъ мышленіе и дѣятельность гармонически сочетались. Лермонтовъ, самой природой предназначенный быть борцомъ, натура кипучая, не признававшая никакого покоя, ни пассивнаго, ни отвлеченнаго, никакъ не могъ достигнуть той степени устойчивости во взглядахъ, какая необходима, чтобы дѣятельность человѣка

не была ежеминутно парализована сомнѣніемъ и нерѣшительностью.

Сравнивая такимъ образомъ одиноко стоящаго Лермонтова съ молодой фалангой философской молодежи его времени, нельзя не пожалѣть, что нашъ поэтъ такъ невнимательно отнесся къ цѣлому литературному кружку, съ которымъ изрѣдка сталкивался, но уроками котораго не воспользовался. Кто знаетъ, какую духовную помощь могли бы ему оказать такіе люди, какъ Бѣлинскій, которые выводили на ясную дорогу много молодыхъ силъ, запутавшихся въ противорѣчіяхъ русской жизни. Съ Бѣлинскимъ тѣсно связано литературное поколѣніе сороковыхъ годовъ; онъ выяснилъ ему историческую стоимость и значеніе прежнихъ авторитетовъ русской литературы, онъ раскрылъ передъ нимъ внутренній общественный смыслъ произведеній литературы современной; онъ же предначерталъ русской литературѣ путь, по которому она пошла сначала нерѣшительно въ 40-хъ годахъ, а затѣмъ самоувѣренно и плодотворно въ 60-хъ.

Поставленный рядомъ съ Бѣлинскимъ, Лермонтовъ, конечно, отступаетъ на задній планъ и какъ общественный дѣятель, и какъ личность. Его роль уже и чувство общественности не нашло себѣ въ немъ такого плодотворнаго выразителя, какъ въ Бѣлинскомъ. Но не забудемъ, что Бѣлинскій жилъ десятью годами больше Лермонтова.

Были, однако, и въ жизни Бѣлинскаго моменты, когда его умственная дѣятельность, на время плодотворная для его сердца, грозила стать безплодной и даже вредной для того высокаго идеала, который онъ преслѣдовалъ какъ конечную цѣль въ своей жизни. Мы намекаемъ на конецъ 30-хъ годовъ, когда Бѣлинскій, переходившій отъ Шеллинга и Фихте къ подробному ознакомленію съ Гегелемъ, въ разгарѣ своего увлеченія новымъ умственнымъ кругозоромъ, забылъ всѣ тревоги жизни за отвлеченностями и умственнымъ созерцательнымъ покоемъ. Примиреніе съ жизнью на почвѣ активнаго вмѣшательства въ ея событія было на время оттѣснено въ душѣ Бѣлинскаго примиреніемъ въ чисто-отвлеченномъ идеалѣ. Онъ, въ ущербъ многимъ гуманнымъ сторонамъ

своей природы, сталъ недовѣрчиво смотрѣть на всякую попытку людей нарушить произвольно-установленную гармонію между его разумомъ и окружавшей его дѣйствительностью. Этотъ періодъ философскаго квіэтизма, грозившій обратить въ Бѣлинскомъ его гуманный идеализмъ въ неподвижное, безучастное къ жизни настроеніе духа, прошелъ очень скоро, такъ какъ Бѣлинскій по природѣ своей былъ натурой активной и могъ мириться съ жизнью въ концѣ концовъ только на почвѣ борьбы, а никакъ не на почвѣ спокойнаго созерцанія.

Бѣлинскій самъ созналъ свою ошибку, а друзья помогли ему въ ея исправленіи. Но помимо друзей былъ и въ русской литературѣ одинъ писатель, дѣятельность котораго была прямымъ протестомъ противъ всякаго квіэтизма, безпорядочной, несистематичной, но упорной борьбой за высокіе идеалы, раздраженной и ѣдкой сатирой на общество и призывомъ къ какому-то „великому“ дѣлу, хотя бы совершенно неопредѣленному. Этотъ писатель былъ Лермонтовъ.

Бѣлинскій никогда не упускалъ изъ виду литературной дѣятельности Лермонтова. Поэзія Лермонтова сначала тревожила Бѣлинскаго больше, чѣмъ восхищала. Онъ сталъ наслаждаться ею позднѣе, когда отказался отъ слишкомъ строгаго и произвольнаго примиренія съ жизнью на чисто-отвлеченной почвѣ, когда, сдѣлавъ необходимую уступку современности, сталъ считать вмѣшательство въ событія жизни за нравственную обязанность каждаго „примирившагося“ человѣка. Въ періодъ своего крайняго увлеченія гегеліанствомъ Бѣлинскій не могъ оцѣнить поэзіи Лермонтова по достоинству и долженъ былъ отвергнуть ее, какъ отвергалъ поэзію Шиллера и французскихъ романтиковъ. Но Бѣлинскій всегда былъ человѣкомъ, любившимъ самое дѣло больше своей личности, и потому, не соглашаясь съ людьми, всегда относился внимательно къ ихъ взглядамъ. Такъ внимательно отнесся онъ и къ Лермонтову въ концѣ 30-хъ годовъ, когда былъ совсѣмъ не согласенъ съ его взглядами, и мы въ правѣ предположить, что поэзія Лермонтова оказала свое благотворное вліяніе на нашего критика. Въ ряду другихъ событій жизни Бѣлин-

скаго она напоминала ему своимъ тревожнымъ настроеніемъ о „законности“ такого настроенія въ жизни, о „разумности“ его и тѣмъ косвенно подрывала въ Бѣлинскомъ вѣру въ непогрѣшимость его философскаго квіэтизма.

Такимъ образомъ уступая во многомъ Бѣлинскому, и какъ общественному дѣятелю, и какъ человѣку, Лермонтовъ оказалъ и ему извѣстную помощь, которую Бѣлинскій могъ, конечно, окупить тройной цѣною, еслибы Лермонтовъ пожелалъ или могъ съ нимъ сблизиться.

XI.

Какъ поэтъ въ тѣсномъ смыслѣ этого слова, Лермонтовъ не имѣлъ себѣ равнаго въ концѣ 30-хъ годовъ. Пушкинская школа доживала свой вѣкъ и родникъ ея вдохновенія изсякъ давно, еще при жизни самого Пушкина. Мы видѣли выше, какъ старики-поэты искренно признались въ своемъ безсиліи понять потребности новой жизни и выяснить ихъ обществу такъ, какъ они это дѣлали прежде, въ свое блаженное старое время.

Къ школѣ Пушкина примыкаетъ своей творческой дѣятельностью и Козловъ, котораго друзья считали чуть ли не преемникомъ Байрона. Козловъ былъ безспорно поэтомъ и въ нѣкоторыхъ лирическихъ стихахъ — поэтомъ очень искреннимъ; онъ былъ къ тому же удачный переводчикъ. Но Козловъ — романтикъ не въ смыслѣ Байрона, а въ стилѣ Жуковскаго; онъ принадлежалъ не новому поколѣнію, а старому. Байрона онъ переводилъ удачно, но въ немъ самомъ не было и тѣни байроническаго настроенія; человѣкъ чрезвычайно нѣжный по своему характеру, глубокій христіанинъ, ищущій въ поэзіи утѣшенія отъ душевныхъ и главнымъ образомъ физическихъ недуговъ, семьянинъ и идилликъ—оно не имѣлъ и капли байронической желчи и титаническое стремленіе впередъ было ему также чуждо, какъ тотъ угрюмый и отчужденный образъ

жизни, какой ведутъ его герои, подражавшіе Байрону лишь во внѣшней позѣ.

Если Лермонтова можно съ кѣмъ сравнить по настроенію, то развѣ только съ Полежаевымъ. Условія жизни не позволили Полежаеву проявить своего таланта во всей его силѣ, но то, что онъ успѣлъ сдѣлать, показываетъ намъ, что мы имѣемъ дѣло съ человѣкомъ новаго поколѣнія и новаго направленія. Лермонтова роднитъ съ Полежаевымъ прежде всего неустойчивость взглядовъ того и другого на ихъ призваніе, на ихъ творческую дѣятельность. Полежаевъ и Лермонтовъ одинаково сознавали, что ихъ „даръ“ былъ не напрасный и не случайный, что онъ налагалъ на нихъ извѣстную отвѣтственность передъ обществомъ; они сознавали также, что все, что они успѣвали создавать, не отвѣчало и совсѣмъ не соотвѣтствовало ихъ высокимъ понятіямъ о поэтѣ; неусыпная совѣсть упрекала ихъ въ напрасной тратѣ времени и таланта. Полежаевъ, какъ и Лермонтовъ, старался ввести въ кругъ своего поэтическаго міросозерцанія всѣ доступныя ему стороны жизни; съ лихорадочной поспѣшностью набрасывался на всѣ новыя мысли и явленія, съ какими ему приходилось встрѣчаться, не могъ въ нихъ разобраться и умеръ, какъ Лермонтовъ, не нашедши Аріадниной нити, которая указала бы ему выходъ изъ житейскаго лабиринта противорѣчивыхъ настроеній и мыслей. Тревожное состояніе духа, не примиреннаго съ жизнью и отрицаніе всякаго произвольнаго и односторонняго примиренія,—вотъ что дѣлаетъ Полежаева похожимъ на Лермонтова, но на этомъ сходство ихъ кончается. У Полежаева не было той силы художественнаго таланта, какою располагалъ Лермонтовъ, не было ни того образованія, ни того ума. Къ тому же сама жизнь поставила Полежаева въ условія, которыя скорѣе могли угасить въ немъ всякую искру поэзіи, чѣмъ способствовать ея развитію. Полежаевъ интересенъ, какъ симптомъ новаго времени, какъ личность, но не какъ художникъ. Его поэзія можетъ служить доказательствомъ, что тревожное настроеніе духа, геніальнымъ представителемъ котораго является Лермонтовъ, было въ то время настроеніемъ не одному Лермонтову свойственнымъ. Полежаевъ писалъ независимо и

раньше Лермонтова и совпаденіе ихъ настроеній объясняется общимъ духомъ времени, а не подражаніемъ.

Въ 30-хъ годахъ писалъ и Кольцовъ—этотъ самородокъ русской поэзіи. Человѣкъ изъ народа, почти безъ всякаго образованія, но съ громаднымъ поэтическимъ талантомъ, Кольцовъ занимаетъ въ исторіи русской поэзіи совершенно обособленное мѣсто. Его происхожденіе и образованіе не позволили ему принять участія въ умственной жизни русскаго интеллигентнаго общества. Принятый очень сердечно этимъ интеллигентнымъ кругомъ, Кольцовъ, несмотря на свой природный сильный умъ, не могъ услѣдить за идеями, какими жилъ этотъ кругъ, и всегда держался отъ него въ сторонѣ. Изъ своихъ сношеній съ кружкомъ Станкевича и Бѣлинскаго Кольцовъ вынесъ, помимо дружескихъ отношеній, развѣ только свою любовь къ отвлеченнымъ темамъ, которыя потомъ сталъ развивать въ своихъ думахъ. Этотъ навѣянный вкусъ къ отвлеченному сказался вредно на его поэзіи и его творчество послѣднихъ лѣтъ было слабѣе его первыхъ опытовъ. Кольцовъ, въ сущности, не принадлежалъ ни къ какому періоду русской литературы. Онъ одинаково могъ родиться и въ Александровскую эпоху, и въ періодъ романтизма, и въ наше время. Его поэзія—народная поэзія природы; онъ самъ—натура простонародная, цѣльная, сложившаяся внѣ всякаго вліянія умственныхъ движеній въ русскомъ обществѣ. Но, живя вдали отъ литературныхъ центровъ и выступая рѣдко съ своимъ словомъ, Кольцовъ тѣмъ не менѣе имѣлъ большое вліяніе на зарождавшійся въ русскомъ обществѣ вкусъ къ народности. Его поэзія была живымъ укоромъ всѣмъ тѣмъ писателямъ, которые думали схватить сущность русской простонародной жизни, гоняясь въ своихъ произведеніяхъ за одной внѣшностью въ описаніяхъ костюма и быта и за такой же внѣшностью въ простонародныхъ выраженіяхъ.

Какъ двѣ натуры, Кольцовъ и Лермонтовъ до того между собой несходны, что, конечно, не допускаютъ никакого сравненія.

Имена Полежаева и Кольцова навсегда останутся на страницахъ исторіи русскаго самосознанія, но едва ли со-

хранитъ эта исторія имена Подолинскаго и Бенедиктова. Ихъ стихи въ свое время пользовались немалымъ успѣхомъ; стихи Бенедиктова въ особенности. Нѣкоторые критики ставили Бенедиктова даже выше Лермонтова, находя въ его стихахъ избытокъ „мысли“.

Именно этой „мысли“ и недоставало Подолинскому и Бенедиктову; одинъ былъ посредственный подражатель романтическихъ балладъ Пушкина и Жуковскаго; другой — искусный стихотворецъ-пиротехникъ, который цѣнилъ въ стихѣ исключительно внѣшній блескъ риѳмъ и размѣра. Въ погонѣ за этимъ блескомъ, Бенедиктовъ на свой страхъ создавалъ новыя слова и новые обороты рѣчи, и та искра поэзіи, которая въ немъ горѣла, погасла подъ этимъ риторическимъ хламомъ невѣроятныхъ сравненій и еще болѣе невѣроятныхъ словъ. Но и Подолинскій, и Бенедиктовъ отразили на себѣ косвенно тревожное настроеніе современнаго имъ поколѣнія. У одного духъ времени сказался на выборѣ фантастически-сказочныхъ или уродливо-страшныхъ темъ, у другого на неустановившихся правилахъ стилистики и грамматики. Одинъ былъ необузданный романтикъ въ сюжетахъ, а другой въ языкѣ и метафорахъ.

XII.

Теперь, когда мы бѣгло ознакомились съ общественными и литературными взглядами наиболѣе выдающихся русскихъ писателей 30-хъ годовъ нашего столѣтія, намъ будетъ легко опредѣлить въ цѣломъ прогрессивное значеніе поэзіи Лермонтова въ современномъ ему обществѣ.

Первое, что мы должны отмѣтить, говоря о 30-хъ годахъ русской жизни, это—разнообразіе и противорѣчивость во вкусахъ и взглядахъ общества. Никогда, быть можетъ, въ русскомъ обществѣ не было такой черезполосицы мнѣній, такого сплетенія самыхъ разнообразныхъ убѣжденій и стремленій. Сравнивая 30-ые годы съ 20-ми и затѣмъ съ 40-ми, мы замѣчаемъ, что они въ полномъ смыслѣ слова— эпоха переходная, не имѣющая какого-либо господствующаго

„направленія“ въ своихъ мысляхъ и поступкахъ. Двадцатые годы, равно какъ и сороковые, имѣли извѣстную опредѣленную литературную и общественную программу, извѣстный запасъ установившихся взглядовъ на вопросы высшаго порядка. Сентиментально-оптимистическое міровоззрѣніе 20-хъ годовъ и философское, общественно-гуманное 40-хъ были настоящими „теченіями“ мысли, охватившими въ названные годы широкіе круги общества. Въ 30-хъ годахъ мы съ такими теченіями не встрѣчаемся.

Передъ нами отдѣльные, очень замкнутые кружки, иногда отдѣльныя личности, каждый съ своими собственными взглядами и вкусами, въ большинствѣ случаевъ неустановившимися. Все показываетъ намъ, что какъ мысли, такъ и чувства общества находятся пока еще въ броженіи, что старые идеалы, какими жило общество, перестали соотвѣтствовать его новымъ потребностямъ, а эти новыя потребности еще недостаточно ясны, чтобы воспитать въ обществѣ новые опредѣленные идеалы. Все общество настроено „романтически“, т.-е. не удовлетворено настоящимъ и не имѣетъ пока еще ясныхъ видовъ на будущее. Стремленіе выбраться изъ этого тревожнаго и малоотраднаго настроенія сказывается очень ясно во всѣхъ передовыхъ людяхъ. Старики, чувствуя неприложимость своего прежняго міровоззрѣнія къ новому времени, либо съ старческимъ упорствомъ отстаиваютъ свои старые взгляды и вкусы, какъ поступаютъ напримѣръ классики и сентименталисты, либо совсѣмъ перестаютъ думать о настоящемъ, готовясь къ достойной жизни въ будущемъ, какъ напримѣръ, Жуковскій; люди помоложе пытаются найти новую формулу житейской философіи, которая осмыслила бы ихъ существованіе и указала бы имъ новую дорогу, но они либо впадаютъ въ противорѣчіе, какъ Пушкинъ, либо въ корнѣ подрываютъ свою собственную творческую силу, какъ Гоголь, либо, наконецъ, отдаются пассивной грусти, какъ Языковъ и Баратынскій. Есть и такіе, которые, какъ напримѣръ Чаадаевъ, со злобнымъ скептицизмомъ смотря на настоящее, мечтаютъ все-таки о великомъ духовномъ призваніи своей родины въ далекомъ будущемъ, молчатъ и ничего не дѣлаютъ. Другіе, какъ

Иванъ Кирѣевскій, молчатъ въ силу того тяжелаго душевнаго кризиса, той ломки во вкусахъ и убѣжденіяхъ, какая въ нихъ происходитъ. Сильнѣе всѣхъ суетится молодежь, не имѣющая никакихъ предразсудковъ, но зато не имѣющая и установившихся убѣжденій.

Эта молодежь жадно набрасывается на всѣ мысли, въ которыхъ подмѣчаетъ для себя что-либо новое, присматривается къ событіямъ и прислушивается къ рѣчамъ на западѣ, пытается усвоить себѣ эти мысли, но въ большинствѣ случаевъ ловитъ ихъ на-лету и не имѣетъ ни достаточной подготовки, ни времени овладѣть ими во всей ихъ широтѣ и самостоятельно развить ихъ дальше.

Такимъ образомъ, пытливая, тревожная и неудовлетворенная, одна часть молодежи на время отказывается отъ всякой обыденной и правильной служебной работы и не хочетъ выступить дѣятелемъ, пока не выработаетъ въ себѣ опредѣленнаго міровоззрѣнія, систематичность котораго помогла бы ей осмыслить ея активную дѣятельность. Она дѣйствительно находитъ спасительную пристань въ отвлеченныхъ системахъ запада, которыя поддерживаютъ въ ней ея идеализмъ, успокоиваютъ ее, даютъ оптимистическое направленіе ея настроенію и, въ концѣ концовъ, приводятъ ее къ примиренію съ жизнью на почвѣ активной борьбы за извѣстное количество установившихся идеаловъ.

Въ жизни каждаго народа были такія эпохи броженія, и будутъ. Онѣ необходимы въ исторіи человѣческаго прогресса, такъ какъ отражаютъ одинъ изъ самыхъ существенныхъ моментовъ общественнаго движенія—моментъ сознанія своихъ недостатковъ, моментъ недовольства обветшавшими принципами жизни и моментъ энергическаго требованія принциповъ новыхъ. При каждомъ неминуемомъ столкновеніи старшихъ поколѣній съ младшими такія тревожныя романтическія эпохи будутъ всегда повторяться съ легкими измѣненіями. Онѣ—показатели успѣховъ, какіе въ человѣчествѣ дѣлаетъ чувство „общественности“, т.-е. чувство гуманной любви къ ближнему, альтруизма, проснувшейся и требовательной совѣсти, наконецъ, чувство справедливости, которое жертвуетъ своимъ

личнымъ покоемъ и счастіемъ ради достиженія все болѣе и болѣе широкаго идеала общаго блага и общей свободы.

Легко убѣдиться въ томъ, что романтическое настроеніе русскаго общества въ 30-хъ годахъ было явленіемъ, стоящимъ въ прямой связи съ условіями нашей тогдашней жизни. Ими объясняется этотъ удивительно пестрый характеръ нашего романтизма, это странное смѣшеніе противорѣчивыхъ взглядовъ и діаметрально-противоположныхъ настроеній, въ основаніи которыхъ, при всемъ ихъ разнообразіи, лежало одно общее желаніе, одна общая потребность—умиротворить свою пробудившуюся совѣсть новымъ нравственнымъ кодексомъ и ободрить свою проснувшуюся жажду дѣятельности указаніемъ новыхъ цѣлей.

Русское общество, начиная съ эпохи великихъ реформъ, слѣдило очень внимательно за тѣмъ, что дѣлалось и говорилось на западѣ. Въ этой постоянной погонѣ за чужой наукой и чужой цивилизаціей наше молодое и неопытное общество естественно не могло идти вровень съ своими учителями; оно, нагоняя мало-по-малу западную цивилизацію, все-таки всегда отъ нея отставало. Переломъ въ жизни или мысляхъ на западѣ отзывался у насъ на Руси лишь спустя нѣсколько десятилѣтій. Въ этомъ не трудно убѣдиться, если сопоставить нѣсколько хронологическихъ данныхъ изъ сравнительной исторіи литературы. Сентиментализмъ процвѣталъ на западѣ около половины прошлаго столѣтія, у насъ—въ концѣ. Шиллеръ и Гёте стали пользоваться у насъ славой лишь въ 20-хъ годахъ нашего столѣтія; нѣмецкій романтизмъ имѣлъ наибольшихъ приверженцевъ въ 30-хъ; Байронъ былъ уже въ гробу, когда Россія начала имъ увлекаться. По мѣрѣ того, какъ жилъ и развивался въ русскомъ обществѣ этотъ интересъ къ жизни сосѣдей, возростала и поспѣшность, съ какой наиболѣе развитые люди стали знакомиться съ успѣхами наукъ и искусствъ на западѣ. Если передовые русскіе люди отъ конца прошлаго вѣка до 30-хъ годовъ нашего столѣтія постоянно отставали отъ господствующихъ теченій мысли на западѣ, какъ отставалъ, напр., Карамзинъ, Жуковскій, Пушкинъ и Полевой, то, начиная съ 40-хъ годовъ, всѣ выдающіеся

русскіе писатели—люди, прежде всего „современные“, всѣ—знакомые съ послѣдними словами общеевропейской науки и послѣдними памятниками общеевропейскаго искусства.

Тридцатые годы нашего столѣтія были такимъ образомъ однимъ изъ важнѣйшихъ моментовъ въ исторіи умственнаго общенія Россіи съ западомъ. Въ эту романтическую эпоху наисильнѣйшимъ образомъ сказалась въ русскомъ обществѣ потребность войти подробнѣе въ кругъ умственныхъ и иныхъ интересовъ нашихъ сосѣдей. Національное самомнѣніе и гордость, охватившія русскіе умы и сердца непосредственно послѣ войнъ съ Наполеономъ, утратили свое обаяніе и свою свѣжесть: люди пришли къ сознанію, что они во всемъ пока еще ученики, хотя, сравнительно съ учителями—съ бо́льшимъ запасомъ пушекъ и съ болѣе развитыми мускулами. Оглядываясь на прошлое и настоящее своей родной литературы, молодое поколѣніе увидало, что богатство этой литературы призрачное, что, сравнительно съ западомъ, мы и въ литературѣ не болѣе какъ подростки и подражатели, и притомъ не новыхъ, а давно уже умершихъ и развѣнчанныхъ писателей.

Сознаніе, что старые авторитеты совсѣмъ не удовлетворяютъ новымъ потребностямъ, заставило молодыхъ людей 30-хъ годовъ поспѣшно приняться за ознакомленіе съ послѣдними выводами общечеловѣческой науки и искусства—и, начиная съ этого времени, интересующаяся молодежь уже не переставала гоняться за всякой зарождавшейся на западѣ новой мыслью; изъ боязни отстать, она, быть можетъ, иногда слишкомъ торопилась.

Она имѣла причину торопиться, такъ какъ на западѣ въ 30-хъ годахъ работа мысли шла гигантскими шагами; быстрота, съ какой смѣнялись тамъ теченія мыслей и событій, была очень заманчива для русскаго глаза и сердца.

Итакъ, нѣтъ ничего удивительнаго въ томъ явленіи, что мы въ 30-хъ годахъ встрѣчаемся въ русскомъ обществѣ съ пестрымъ разнообразіемъ мыслей и вкусовъ. Такая пестрота и такія противорѣчія объясняются прежде всего неизбѣжнымъ столкновеніемъ двухъ поколѣній, стараго и молодого, столкновеніемъ, случившимся притомъ въ эпоху очень бур-

ную для всей европейской жизни. Старшее поколѣніе было поставлено въ необходимость приноровлять свои взгляды къ новому времени и въ этой попыткѣ приноровленія либо противорѣчило себѣ, либо доводило свое прежнее міросозерцаніе до крайностей, либо впадало въ апатію и меланхолію. Молодежь, съ своей стороны, опрометью пустилась на розыски новой истины, стала знакомиться съ послѣдними выводами западной мудрости и такъ какъ эти выводы были также не лишены пестроты и противорѣчій, то повтореніе ихъ у насъ естественно вышло еще болѣе пестро и еще болѣе противорѣчиво. Желаніе стать какъ можно ближе къ общечеловѣческой работѣ надъ міровыми вопросами побуждало русскую молодежь спѣшить безъ оглядки и эта поспѣшность, пройдя черезъ многія испытанія, принесла въ концѣ концовъ свою безспорную пользу.

Было, кромѣ того, еще одно обстоятельство, которое усилило и поддержало въ обществѣ этотъ разбродъ, это броженіе въ мысляхъ и чувствахъ.

Мы говоримъ о правительственной опекѣ того времени. Правительство, неправильно истолковывая цѣли и намѣренія молодого поколѣнія, очень ревниво слѣдило за малѣйшимъ проявленіемъ самостоятельной мысли въ обществѣ. Въ тогдашней тревогѣ молодого ума и сердца оно хотѣло видѣть совсѣмъ не то, что было на самомъ дѣлѣ, и преувеличенныя опасенія и вызванныя имъ мѣропріятія, вмѣсто того, чтобы успокоить умы, еще больше усилили въ людяхъ общее тревожное состояніе духа. Общество не имѣло возможности подвергнуть новые вопросы открытому обсужденію, и тѣмъ самымъ была устранена для него возможность согласить противорѣчія и ускорить обмѣнъ мыслей. Люди не договаривали своихъ словъ, маскировали ихъ и тѣмъ естественно затрудняли ихъ обращеніе въ обществѣ. Читатель часто не понималъ рѣчи писателя именно въ виду такихъ умолчаній или иносказательнаго способа выраженія. Съ другой стороны, и писатель, черпавшій свои идеи изъ первыхъ рукъ, не имѣлъ возможности ознакомиться съ своимъ источникомъ подробно и хладнокровно. Онъ самъ находился подъ страхомъ, и боязнь быть уличеннымъ въ противозаконномъ занятіи за-

ставляла его торопиться съ своей работой, скрывать ее отъ другихъ, поспѣшно усвоивать конечные выводы, не имѣя возможности провѣрить ихъ на практикѣ или обсудить публично. Слѣдствіемъ такого стѣсненнаго положенія для писателя было усиленіе въ немъ и безъ того неспокойнаго и неудовлетвореннаго настроенія духа. Помимо того, что выработка міровоззрѣнія на новыхъ началахъ была для него дѣломъ очень труднымъ, изнурительной борьбой для его ума и сердца, эта борьба была затруднена еще чисто-внѣшними ограниченіями и, что̀ хуже всего, недовѣріемъ. Высокій идеалъ, въ который вѣрили передовые люди общества, въ глазахъ другихъ людей былъ безумствомъ, а не то преступленіемъ.

Такимъ образомъ ко всѣмъ причинамъ, которыя, какъ мы замѣтили выше, обусловливали въ 30-хъ годахъ отмѣченное нами броженіе мыслей и вкусовъ, присоединилось новое условіе, затруднявшее людямъ и безъ того трудныя попытки примиренія съ жизнью; условіе очень важное, если принять во вниманіе тогдашній уровень нашей цивилизаціи, который былъ такъ невысокъ, что умный и интеллигентный человѣкъ не могъ разсчитывать ни на какую солидарность, ни на какую общественную поддержку.

Поэзія Лермонтова была самымъ яркимъ отраженіемъ этого тревожнаго времени въ русской жизни и она съ особенной силой выразила этотъ переходный моментъ въ развитіи русской мысли. Недовольство старымъ, сознаніе грѣховъ современныхъ, искреннее, но туманное стремленіе къ лучшему будущему, растерянность передъ массой противорѣчивыхъ взглядовъ, непоколебимая увѣренность въ необходимости найти исходъ изъ этихъ противорѣчій, сознаніе своей слабости передъ этой высокой задачей, часто повторяющійся упадокъ духа и, наконецъ, гнѣвъ на внѣшнія условія, стѣснявшія и безъ того стѣсненную мысль—вотъ циклъ идей и чувствъ, какими жило молодое поколѣніе 30-хъ годовъ и которыя наглядно отразились въ поэзіи Лермонтова. Эта солидарность Лермонтова съ современнымъ ему поколѣніемъ придала общественно-прогрессивному значенію его творчества особенную силу.

XIII.

Говоря о жизни Лермонтова въ Москвѣ и Петербургѣ, мы имѣли уже случай указать на одинокое и отчужденное положеніе, какое занималъ нашъ поэтъ среди подроставшаго литературнаго поколѣнія. Онъ прошелъ мимо него и былъ лишь поверхностно знакомъ съ нимъ. Онъ жилъ въ своемъ свѣтскомъ кругѣ. Тѣмъ не менѣе, независимо отъ самого Лермонтова, между нимъ и этимъ почти незнакомымъ ему кругомъ Бѣлинскаго существовала тѣсная связь по настроенію. Они одно время сошлись въ томительно безпокойномъ, высоко настроенномъ и неудовлетворенно-разочарованномъ состояніи духа. Это невольное совпаденіе въ настроеніи лицъ, совсѣмъ по характеру не сходныхъ, показываетъ намъ, что Лермонтовъ, стоя одиноко какъ личность, стоялъ вовсе не одиноко какъ выразитель извѣстнаго общественнаго настроенія.

Мы знаемъ, что и старики, почувствовавъ неприложимость своихъ старыхъ идеаловъ къ новому времени, говорили иногда совсѣмъ въ лермонтовскомъ духѣ—припомнимъ послѣднія элегіи Языкова, гдѣ онъ казнитъ себя за безпринципность и духовное ничтожество; вспомнимъ философскіе стихи Баратынскаго, гдѣ поэтъ касается вопроса о разладѣ мечты и дѣйствительности. Пусть настроеніе Языкова и Баратынскаго проистекало изъ иного источника, чѣмъ настроеніе Лермонтова, но временное сходство ихъ — фактъ знаменательный.

У молодежи такое сходство въ настроеніи съ Лермонтовымъ сказывается, конечно, сильнѣе и рельефнѣе. Полежаевъ, какъ мы видѣли, во многомъ напоминаетъ Лермонтова; напоминаетъ и подражаетъ ему также Подолинскій, несмотря на свои зрѣлые годы. Въ письмахъ Станкевича и въ особенности въ его отрывкахъ изъ біографіи графа Z* есть мысли и чувства, поразительно сходныя по настроенію со стихами Лермонтова. Тоже сходство попадается и у Бѣлинскаго въ его раннихъ письмахъ до того времени, когда онъ сталъ послѣдователемъ Гегеля. Извѣстная юношеская драма Бѣлинскаго можетъ представить много любопытныхъ аналогій,

если ее сравнить съ юношескими драмами Лермонтова. Наконецъ, у Герцена въ вятскій и владимірскій періодъ его жизни можно встрѣтиться съ тѣмъ же настроеніемъ.

Все это показываетъ намъ, что молодежь 30-хъ годовъ, идя по различнымъ дорогамъ къ одной цѣли — къ выработкѣ приложимыхъ къ жизни идеаловъ и къ проведенію ихъ въ жизнь, проходила на этомъ пути черезъ одну общую всѣмъ полосу настроенія, которое всего рельефнѣе и художественнѣе отразилось на поэзіи Лермонтова. Конечно, эта молодежь не *подражала* Лермонтову и не находилась подъ его *вліяніемъ*, а только *соглашалась* съ нимъ и *совпадала* съ нимъ въ настроеніи, которое и у Лермонтова, и у его сверстниковъ вытекало изъ однихъ и тѣхъ же условій личной и общественной жизни, изъ наблюденія надъ одними и тѣми же событіями дня, а также изъ одного книжнаго источника.

Однако никто изъ писателей 30-хъ годовъ не останавливался такъ долго на этой переходной ступени развитія, какъ Лермонтовъ. Большинство, худо-ли, хорошо-ли — но отдѣлилось отъ этого мучительнаго состоянія духа; одинъ Лермонтовъ продолжалъ пребывать въ немъ, и смерть невзначай разрѣшила за него всѣ вопросы.

По волѣ случая поэзія Лермонтова осталась, такимъ образомъ, вѣрна себѣ во весь недолгій срокъ своего развитія. Поэтъ умеръ на порогѣ къ новой жизни, гдѣ, быть можетъ, его ожидалъ и сердечный покой, и примиренное настроеніе духа и свѣтлое міросозерцаніе, но гдѣ онъ пересталъ бы быть тѣмъ, чѣмъ онъ навсегда для насъ остался — писателемъ, исключительно, вѣрно и глубоко отразившимъ въ своей поэзіи важный „романтическій“ моментъ въ исторіи русской жизни.

Лермонтовъ, — самый видный и самый глубокій изъ русскихъ романтиковъ, конечно, не въ стилѣ сентиментально-элегическаго романтизма Жуковскаго, даже не въ стилѣ Пушкина, который въ своей классической поэзіи любилъ иногда пошалить съ романтизмомъ; Лермонтовъ — романтикъ въ самомъ глубокомъ и широкомъ смыслѣ этого слова. Часть той міровой тревожной души, стремящейся къ великому идеалу,

вѣчно борющейся и очень „совѣстливой“, которая жила въ Шиллерѣ, молодомъ Гёте, Байронѣ и французскихъ романтикахъ 30-хъ годовъ, нашла для себя свой русскій сосудъ въ сердцѣ Лермонтова. Лермонтовъ былъ достоинъ вмѣстить въ себѣ эту безпокойную, безсмертную душу, которая въ человѣкѣ — главный рычагъ его дѣятельности, первое побужденіе къ движенію впередъ, грозный голосъ совѣсти, неусыпно ему твердящій, что минута душевнаго покоя дана человѣку лишь для того, чтобы ободрить его на дальнѣйшую тревогу ради личнаго счастія и счастія его ближнихъ.

Поэзія Лермонтова, въ которой всѣ основные элементы романтизма нашли яркое и правдивое выраженіе, была такимъ образомъ безспорно настоящей „прогрессивной“ силой въ русскомъ обществѣ. Она *отвергала безотчетное поклоненіе старому, не позволяла людямъ засыпать въ довольствѣ настоящимъ, толкала ихъ впередъ, учила ихъ строгому суду надъ самимъ собою, и была въ ихъ глазахъ художественно воплощеннымъ принципомъ вѣчнаго „стремленія“*, т.-е. пророческимъ голосомъ, раздававшимся тогда среди, въ большинствѣ случаевъ, инертной, слабовольной и неразвитой массы.

Это отрицаніе всякаго душевнаго покоя во имя вѣчнаго движенія впередъ и есть тотъ общечеловѣческій элементъ, который навсегда спасетъ поэзію Лермонтова отъ забвенія, несмотря на ея безспорную односторонность.

Отрицать застой не значитъ еще указать путь, по которому человѣкъ долженъ двигаться. Настоящая роль вождя не можетъ ограничиться однимъ увѣщеваніемъ и побужденіемъ къ работѣ; она должна намѣтить направленіе и по нему вести людей за собою. Вождемъ Лермонтовъ никогда не былъ, и въ этомъ смыслѣ его московскіе современники сдѣлали для Россіи несравненно больше. Бѣлинскій и его кругъ работали надъ положительной стороной общественнаго обновленія, Лермонтовъ—исключительно надъ отрицательной; они были проповѣдниками извѣстныхъ истинъ; онъ—отрицаніемъ безвѣрія; они—убѣжденными идеалистами; онъ—идеалистомъ разочарованнымъ и ищущимъ убѣжденій; они—сѣятелями новыхъ ученій; онъ—жесткимъ орудіемъ, подготовившимъ ниву для посѣва.

XIV.

Такой отрицательный характеръ поэзіи Лермонтова напередъ обусловилъ и ея вліяніе на русскіе умы въ послѣдующія десятилѣтія.

Всякій разъ, когда въ обществѣ устанавливался какой-нибудь опредѣленный идеалъ и люди съ ревностью принимались проводить его въ жизнь — интересъ къ поэзіи Лермонтова ослабѣвалъ; онъ возрождался, когда установившіеся идеалы переставали соотвѣтствовать новымъ общественнымъ потребностямъ, когда неудовлетворенные умы принимались снова за пересмотръ старыхъ вопросовъ съ новыхъ точекъ зрѣнія.

Мы знаемъ, что въ концѣ 30-хъ годовъ Бѣлинскій, примиренный съ жизнью на почвѣ отвлеченнаго умозрѣнія, не могъ понять и не оцѣнилъ Лермонтова; въ началѣ 40-хъ—въ періодъ сомнѣній въ правотѣ своихъ слишкомъ строгихъ отвлеченныхъ идеаловъ—онъ Лермонтовымъ не нахвалится. Товарищи Бѣлинскаго — славянофилы, застывшіе въ своихъ національно-религіозныхъ мечтаніяхъ, никогда не признавали Лермонтова, — ихъ кумиромъ былъ Пушкинъ и криво истолкованный Гоголь. Въ серединѣ 50-хъ годовъ, наканунѣ великой эры 60-хъ, интересъ къ Лермонтову оживился; его поэзія нашла себѣ даже подражателя въ лицѣ Григорьева.

Наступили 60-ые годы—эпоха практическаго проведенія гуманныхъ идеаловъ въ жизнь, эпоха труда, а не сомнѣній, эпоха ясно поставленныхъ вопросовъ и „убѣжденнаго“ къ нимъ отношенія. Нѣкоторые, слишкомъ горячіе адепты новаго направленія посмотрѣли на Лермонтова злостно и свысока; другіе обошли его молчаніемъ, третьи похвалили изъ его поэзіи на выборъ нѣсколько стиховъ, но отбросили бо́льшую ихъ половину, въ которой эти имъ понравившіеся стихи опровергались. Лермонтовъ въ 60-хъ годахъ уступилъ свое мѣсто Некрасову. Все, что̀ въ Лермонтовѣ было симпатичнаго для дѣятелей 60-хъ годовъ, нашлось и въ Некрасовѣ, но у Некрасова, кромѣ того, была своя опре-

дѣленная, общественная программа, которая осмысливала и оправдывала въ глазахъ общества его желчныя сатирическія выходки въ стилѣ Лермонтова.

Поколѣніе 60-хъ годовъ начинаетъ теперь сходить со сцены. Его мѣсто занимаютъ новые люди, воспитанные въ иныхъ, менѣе благопріятныхъ условіяхъ. Отцы какъ будто не оставили дѣтямъ въ наслѣдство ни своего ума, ни таланта. Жизнь становится все сложнѣе и сложнѣе—потребность систематизировать ея явленія, необходимость расширить и дополнить старые взгляды чувствуется нами очень живо, но вмѣстѣ съ тѣмъ чувствуется и наше безсиліе передъ этой задачей. Поэзія Лермонтова начинаетъ съ новой силой говорить нашему сердцу. У молодыхъ поэтовъ новѣйшаго времени нерѣдко попадаются отзвуки мотивовъ Лермонтова.

Намъ остается пожелать, чтобы этотъ возвратъ къ Лермонтову не былъ простымъ подражаніемъ или дѣломъ случая, данью, какую мы платимъ его памяти въ виду наступившаго печальнаго юбилея. Было бы желательно, чтобы это повтореніе лермонтовскихъ темъ у современныхъ поэтовъ имѣло за собой то же глубокое основаніе, какое эти темы имѣли въ душѣ самого поэта; чтобы онѣ были вызваны въ сердцѣ новаго поколѣнія тѣмъ же неудержимымъ стремленіемъ къ высокому идеалу, той же строгой провѣркой всѣхъ своихъ чувствъ и поступковъ, тою же недремлющей совѣстью и тѣмъ же чувствомъ „общественности“,—которое было главнымъ источникомъ всѣхъ душевныхъ страданій Лермонтова.

XII

ЗАКЛЮЧЕНІЕ

I.

Мы сдѣлали попытку оцѣнить творчество Лермонтова съ историко-литературной точки зрѣнія и указали на ту прогрессивную роль, какую оно играло въ исторіи русской жизни и литературы. Намъ остается сказать нѣсколько словъ о самой личности поэта.

Читатель могъ себѣ составить извѣстное понятіе о личности Лермонтова изъ разбора его произведеній. Лермонтовъ былъ почти исключительно пѣвцомъ своихъ личныхъ чувствъ и его стихи въ большинствѣ случаевъ—исповѣдь. Намъ кажется не лишнимъ собрать отдѣльныя черты его характера въ одной связной характеристикѣ, тѣмъ болѣе, что мы до сихъ поръ еще не отвѣтили подробно на одинъ очень важный вопросъ, слегка затронутый нами въ введеніи къ настоящему очерку, а именно на вопросъ о *первоисточникѣ* душевныхъ страданій нашего поэта. Мы сказали выше, что родникомъ печали и душевныхъ тревогъ Лермонтова было развившееся въ поэтѣ чувство „общественности“. Намъ необходимо подробнѣе остановиться на опредѣленіи этого чувства.

Попытаемся сначала дать краткую характеристику самого поэта.

Лермонтовъ былъ прежде всего человѣкъ съ природнымъ *меланхолическимъ* темпераментомъ. Откуда взялась эта меланхолія — вопросъ едва ли разрѣшимый; для насъ важенъ фактъ, что съ дѣтскихъ лѣтъ и до зрѣлаго возраста поэтъ предпочиталъ грустные мотивы веселымъ и съ любовью останавливался на чувствахъ мечтательнаго и печальнаго харак-

тера. Эта склонность была подкрѣплена въ поэтѣ чтеніемъ и условіями замкнутой юношеской жизни. Такимъ образомъ, когда поэтъ сознательно начиналъ вглядываться въ жизнь, онъ отнесся къ этой новинкѣ не съ дѣтской легкостью и довѣрчивостью, а съ извѣстнымъ недовѣріемъ и страхомъ, такъ какъ въ силу врожденной ему меланхоліи предугадывалъ и предвосхищалъ печальныя и безотрадныя стороны человѣческой жизни. Онъ именно предугадывалъ ихъ, такъ какъ въ его личной жизни было очень мало и лишеній и печали.

Второй врожденной способностью въ Лермонтовѣ была *необузданность его фантазіи*. Эта живость мечты находилась въ прямой связи съ его меланхолическимъ темпераментомъ и его замкнутой жизнью. Они парализовали въ Лермонтовѣ однѣ стороны его натуры, и энергичность этой натуры, стѣсненная въ жизни, вознаграждала себя въ мечтѣ. Съ грандіозностью и энергичностью мечты Лермонтова мы достаточно знакомы по его произведеніямъ. Жажда дѣятельности, великихъ подвиговъ, жажда свободы и славы — вотъ основные мотивы его стихотвореній, и всѣ пессимистическіе его стихи ничто иное, какъ иронія или плачъ надъ неосуществимостью этихъ фантастическихъ замысловъ. Живая фантазія Лермонтова, какъ мы видѣли, нашла себѣ богатую пищу въ его чтеніи. Крупнѣйшія произведенія западной литературы горячили ее, и тамъ, гдѣ настроеніе книги совпадало съ настроеніемъ нашего поэта, онъ ассимилировалъ свои чувства съ чувствами вычитанными и заимствовалъ у излюбленныхъ авторовъ внѣшнія краски. Въ такомъ отношеніи стоитъ напримѣръ поэзія Лермонтова къ поэзіи Байрона.

Третьей характерной чертой Лермонтова, третьимъ даромъ природы былъ его острый *умъ*, безпощадно критиковавшій и анализировавшій всѣ ощущенія и чувства поэта. Лермонтовъ, если судить по его стихамъ, въ одно и то же время и чувствовалъ, и разсуждалъ; по крайней мѣрѣ въ его стихахъ рѣдко можно встрѣтить то, что мы называемъ свободнымъ порывомъ чувствъ. За чувствомъ слѣдомъ идетъ рефлексія и не даетъ поэту покоя до тѣхъ поръ, пока обаяніе чувства не уничтожено, пока поэтъ не убѣдился въ

томъ, что онъ самовольно разукрасилъ воспринятое впечатлѣніе, и что на дѣлѣ не существуетъ ничего столь обманчиваго, какъ тѣ розовыя и пріятныя краски, въ какихъ человѣкъ рисуетъ себѣ и людей, и свою собственную личность.

Природа какъ будто сама позаботилась создать себѣ непримиримаго врага въ лицѣ Лермонтова. Требуя отъ людей, чтобы они мирились съ жизнью, если хотятъ принять въ ней дѣятельное участіе, природа одарила Лермонтова такими способностями и склонностями, которыя, повидимому, заранѣе исключаютъ всякое примиреніе. Въ самомъ дѣлѣ, меланхолія поэта дѣлала его болѣе воспріимчивымъ къ мрачнымъ сторонамъ жизни, чѣмъ къ веселымъ, и потому заставляла его не цѣнить тѣ, хотя мелкія и скоропреходящія удовольствія и наслажденія, какія на землѣ дано испытать человѣку. Необузданность и сила фантазіи, съ своей стороны разукрашая мечту насчетъ дѣйствительности, уносила поэта въ заоблачный міръ видѣній, которыя должны были разлетаться какъ туманы при первомъ столкновеніи съ дѣйствительностью и потому оставляли въ душѣ поэта одинъ лишь горькій осадокъ и ненависть къ мелочной и блѣдно-прозаической жизни. Чего не успѣвала отравить меланхолія и чего не успѣвала исказить произвольная мечта, то добивалъ разсудокъ поэта своимъ безпощаднымъ анализомъ. Вся радость жизни, вся способность увлекаться безотчетно и находить въ этомъ увлеченіи силу для работы и жизни—пропадали и погибали въ душѣ поэта среди этой постоянной борьбы, какую вели его меланхолія, мечта и разсудокъ съ окружавшей его обстановкой.

Мы уже сказали, что вся дѣятельность Лермонтова есть исповѣдь энергической души, ищущей примиренія съ жизнью, борьба мечты и дѣйствительности, борьба лихорадочная, изнурительная. Казалось бы, что человѣку съ такой организаціей, какъ Лермонтовъ, и бороться было безполезно; примиреніе, повидимому, было невозможно. Всякій другой человѣкъ съ менѣе развитымъ чувствомъ общественности при такихъ природныхъ задаткахъ, дѣлающихъ всякое соглашеніе съ жизнью немыслимымъ, или совсѣмъ отвернулся бы отъ нея, или сталъ бы прямо враждовать съ нею. Лермонтовъ не сдѣлалъ ни

того, ни другого. Онъ не замыкался въ узкомъ кругѣ мечтаній, не улеталъ отъ земли въ область видѣній, куда безспорно могъ улетѣть въ силу своей очень живой фантазіи, онъ не навязывалъ себѣ насильно какого-нибудь успокоивающаго міросозерцанія, ни узко-національнаго, ни узко-религіознаго; онъ также не отвертывался отъ жизни со злобой, не враждовалъ съ ней какъ таковой, т.-е. не былъ мизантропомъ и пессимистомъ въ строгомъ смыслѣ этого слова. Вражда Лермонтова съ жизнью была враждой не принципіальной, а только временнымъ раздраженіемъ вслѣдствіе неудачныхъ и неудовлетворявшихъ его попытокъ примиренія съ нею. Онъ всю жизнь боролся, выясняя себѣ всевозможные вопросы жизни, желая проникнуть въ ихъ глубину, связать ихъ вмѣстѣ и согласовать ихъ съ своими слишкомъ требовательными и высокими идеалами. Несмотря на то, что природныя его склонности, какъ мы уже замѣтили, постоянно ссорили его съ жизнью, Лермонтовъ тѣмъ не менѣе не переставалъ любить людей, и за все короткое время своей жизни пытался стать къ нимъ въ нормальное и сознательное отношеніе. Ему, какъ мы знаемъ, не удалось найти ключа къ этой трудной задачѣ и онъ умеръ, не имѣя ни на одинъ вопросъ жизни яснаго отвѣта. Одно, въ чемъ онъ былъ безспорно убѣжденъ, это — въ необходимости такого яснаго взгляда на жизнь, на достиженіе котораго онъ потратилъ столько умственнаго труда и душевныхъ силъ.

Напомнимъ теперь читателю вкратцѣ о тѣхъ различныхъ положеніяхъ, въ какія Лермонтовъ становился къ людямъ и къ жизни за все время этого упорнаго труда надъ мучившими его вопросами. Душевныя настроенія, какія поэту пришлось пережить за это тревожное время, заставятъ насъ снисходительно посмотрѣть и на нѣкоторыя стороны въ характерѣ Лермонтова, которыя, на первый взглядъ, кажутся очень несимпатичными.

II.

Мы знаемъ, что въ юношескихъ стихахъ Лермонтова сохранились слабые намеки на его прежніе, *оптимистическіе*

взгляды на міръ и человѣка. Этотъ дѣтскій оптимизмъ былъ оптимизмомъ меланхолическимъ, а не жизнерадостнымъ. Поэтъ высказывалъ только вѣру въ лучшую будущность и въ возможность нравственнаго перерожденія человѣка, но эта вѣра не заставляла его смотрѣть на настоящее довѣрчиво и весело. *Недовѣріе* къ людямъ очень рано сказалось въ Лермонтовѣ, быть можетъ, вслѣдствіе его не вполнѣ нормальнаго положенія въ семьѣ; что же касается грусти, то она была врожденной чертой его характера. Ранняя *разочарованность*, которую мы также встрѣчаемъ въ его юношескихъ произведеніяхъ, была, конечно, чувствомъ преувеличеннымъ, но присутствіе ея въ настроеніи Лермонтова вполнѣ понятно; она явилась слѣдствіемъ ранней способности поэта расчленять разумомъ всѣ чувства, и дѣйствительно испытанныя, и вычитанныя изъ книжекъ. Ранній умъ отнималъ у каждаго чувства половину его прелести и свѣжести.

Къ этимъ душевнымъ склонностямъ для полноты характеристики Лермонтова-ребенка должно добавить еще *чувство одиночества*, *увѣренность въ великомъ своемъ призваніи* и частые наплывы *пессимизма*, не систематизированнаго, не продуманнаго, но временами достаточно сильнаго.

Въ какое положеніе къ жизни могъ стать ребенокъ, одаренный такими способностями и склонностями? Очевидно—въ положеніе *отчужденное*. Въ такомъ отчужденномъ отношеніи къ жизни и къ людямъ стоитъ Демонъ. Лермонтовъ, создавая этотъ символъ, желалъ объединить свое міросозерцаніе въ одномъ образѣ и выразить въ связной картинѣ тотъ выводъ, къ какому онъ пришелъ въ своихъ наблюденіяхъ надъ жизнью. Этотъ выводъ, какъ и всѣ позднѣйшіе, былъ одностороненъ и поспѣшенъ. Въ лицѣ Демона авторъ становился въ отчужденное, хотя и не вполнѣ индифферентное отношеніе ко всему свѣту.

Прошли года и житейскій опытъ Лермонтова увеличился; двѣ основныхъ черты его характера—его умъ и меланхолія—въ немъ обострились; его фантазія нѣсколько успокоилась; жизнь текла по прежнему однообразно, и у мальчика было много времени и случаевъ упорно думать надъ вопросами жизни, которая теперь начинала передъ нимъ развер-

тываться. Коснувшись семейныхъ вопросовъ въ своихъ юношескихъ драмахъ, вопроса національнаго въ „Измаилъ-Бѣ“ и соціальнаго въ Исторической Повѣсти, Лермонтовъ пожелалъ снова выразить свою житейскую философію въ одномъ типѣ — и Александръ Радинъ, герой драмы „Два брата“, явился прямымъ наслѣдникомъ Демона. Къ людямъ и жизни вообще Радинъ сталъ въ прежнее отчужденное положеніе, но не въ такое рѣзкое, какъ Демонъ. Онъ прежде всего человѣкъ, а не духъ, но зато въ этомъ человѣкѣ съ особой силой выступила одна черта характера, которая въ Демонѣ была только намѣчена. Радинъ — принципіальный эгоистъ. Ознакомившись съ обманами жизни, съ необходимостью разочарованій, онъ пришелъ къ выводу, что человѣкъ долженъ прежде всего позаботиться о себѣ самомъ и оградить себя отъ всѣхъ волненій и страданій, чтобы имѣть извѣстный запасъ силъ для борьбы съ жизнью и быть счастливымъ. Такимъ образомъ подводя второй разъ итогъ пережитому и перечувствованному, Лермонтовъ призналъ *эгоистическое* отношеніе къ жизни за самое разумное.

Такой печальный выводъ, конечно, не могъ удовлетворить Лермонтова, тѣмъ болѣе, что, покинувъ Москву и переѣхавъ въ Петербургъ, поэтъ попалъ въ новую обстановку, веселую и жизнерадостную. Мы знаемъ, что Лермонтовъ на первое время отдался всей душой этимъ новымъ впечатлѣніямъ. Но увлеченіе продолжалось не долго. Типъ Арбенина въ „Маскарадѣ“ показываетъ намъ, что въ вопросѣ о примиреніи съ жизнью поэтъ въ это время сталъ еще бо́льшимъ пессимистомъ, чѣмъ былъ раньше. Въ лицѣ Арбенина Лермонтовъ становится къ людямъ въ положеніе не только отчужденное, но и *враждебное*. Его герой не удовлетворяется невниманіемъ и презрѣніемъ къ людямъ, онъ мститъ имъ, открыто съ ними враждуетъ и губитъ ихъ. Арбенинъ—самый несимпатичный изъ всѣхъ типовъ Лермонтова. Очевидно, поэтъ, увлекшись на время новизной своей петербургской жизни, испытавъ вновь цѣлый рядъ разочарованій и убѣдясь еще разъ въ полной дисгармоніи своихъ идеаловъ съ дѣйствительностью, отомстилъ и жизни, и людямъ, признавъ враждебное къ нимъ отношеніе за желаемое и необходимое.

Съ Арбенинымъ Лермонтовъ могъ примириться еще менѣе, чѣмъ съ Александромъ Радинымъ. Онъ призналъ необходимымъ видоизмѣнить поспѣшно сдѣланный выводъ и въ типѣ Печорина дѣйствительно видоизмѣнилъ его. Отъ враждебнаго отношенія къ людямъ онъ перешелъ къ отношенію *индифферентному*, безплодному отношенію, но все-таки болѣе симпатичному. Мы знаемъ, что Лермонтовъ очень скоро отошелъ и отъ этой точки зрѣнія на міръ. Его энергическая натура не могла помириться съ типомъ, проповѣдывавшимъ равнодушіе и насильственное подавленіе въ себѣ всякаго симпатичнаго отношенія къ жизни.

Въ послѣдніе годы своей жизни Лермонтовъ принялся вновь за пересмотръ всѣхъ тѣхъ вопросовъ, которые онъ отстранилъ отъ себя въ лицѣ Печорина. Мы видѣли выше, что въ этихъ послѣднихъ стихахъ Лермонтова не было никакихъ установившихся взглядовъ; однако во многихъ изъ нихъ, въ особенности въ „Пѣснѣ о купцѣ Калашниковѣ“ и въ „Мцыри“, начинаетъ проглядывать новое отношеніе, въ какое поэтъ становится къ жизни. Это отношеніе мы могли бы назвать отношеніемъ *грустно-смиреннымъ*, слегка *религіознымъ*. Очевидно, душевныя бури истомили поэта—онъ сталъ стремиться къ покою и потребность примиренія начинала пересиливать въ немъ титаническіе порывы его сердца. Смерть поспѣшила развязкой и Лермонтовъ не успѣлъ объединить въ одномъ цѣльномъ типѣ того новаго вывода, къ которому онъ приходилъ за послѣдніе годы своей жизни. Можно, однако, съ увѣренностью сказать, что на религіозномъ примиреніи съ жизнью поэтъ бы не остановился: въ его природѣ было для такого религіознаго мира слишкомъ мало задатковъ и религія во всю его жизнь была для него скорѣе поэтическимъ настроеніемъ, чѣмъ убѣжденіемъ и вѣрой.

Итакъ, вся жизнь Лермонтова, начиная съ дѣтскаго возраста, была постоянной тревожной борьбой ума и сердца, идеаловъ и дѣйствительности, поэзіи души и прозы жизни. Поэтъ все время зорко слѣдилъ за собой и стремился стать къ людямъ въ положеніе, которое было бы оправдано его разсудкомъ и его сердцемъ. Природныя склонности его характера дѣлали такія попытки мучительными

и напрасными. Разочарованный, озлобленный и грустный, поэтъ торопился съ своими приговорами; онъ говорилъ объ отчужденности, эгоизмѣ, враждѣ и индифферентизмѣ, какъ о самомъ вѣрномъ щитѣ, которымъ человѣкъ можетъ оградиться въ борьбѣ съ жизнью. Всѣ эти образчики житейской философіи, преподанные намъ мало-опытнымъ и нервнымъ человѣкомъ, мы должны признать совершенно негодными для жизни и безплодными для человѣческаго прогресса. Самъ Лермонтовъ призналъ ихъ негодность, такъ какъ ни на одномъ изъ нихъ долго не остановился и отъ каждаго самъ скоро отвернулся. Мы сдѣлаемъ поэтому крупную ошибку, если отождествимъ Лермонтова съ кѣмъ-либо изъ выведенныхъ имъ героевъ. Они—продуктъ его нервной фантазіи и его поспѣшныхъ обобщеній. Ихъ философія относится къ міровоззрѣнію самого автора, какъ наскоро данный парадоксальный отвѣтъ къ долгому, пытливому обдумыванью предмета, съ которымъ человѣкъ еще не совладалъ и не свыкся. Въ самомъ дѣлѣ, кто можетъ сказать, какія мысли бродили въ головѣ Лермонтова, прежде чѣмъ онъ далъ на нихъ спѣшный отвѣтъ устами Демона, Радина, Арбенина или Печорина?

Судя по послѣднимъ стихамъ поэта, которые прямо противорѣчатъ индифферентизму Печорина, мы можемъ предположить, что такое же противорѣчіе существовало между авторомъ и всѣми его героями. Какъ бы то ни было, но эти герои не могутъ быть отождествлены съ самимъ поэтомъ. Физіономія поэта отразилась въ нихъ какъ въ выпукломъ зеркалѣ—она была искажена.

III.

Можно осудить типъ, выведенный поэтомъ, но едва ли въ данномъ случаѣ можно осудить поэта за то, что онъ именно такой типъ вывелъ. Изъ предыдущаго разбора произведеній Лермонтова читатель могъ видѣть, что всѣ эти поспѣшные житейскіе выводы, эти одностороннія обобщенія и несимпатичные типы являлись необходимымъ результатомъ

природной организаціи поэта. Человѣкъ, всею жизнью котораго управляли меланхолія, экзальтированная фантазія и безпощадный умъ, не могъ не устать и не озлобиться. Нервность поэта должна была временами искажать въ немъ правильный и хладнокровный взглядъ на вещи, должна была побуждать его торопиться своими выводами, такъ какъ всякій разъ, когда поэту удавалось бросить такой поспѣшный выводъ на бумагу въ лицѣ того или другого героя, ему самому становилось легче — онъ на нѣкоторое время успокоивался, изливши свою желчь, свое негодованіе или высказавши свое презрѣніе.

Если несимпатичность нѣкоторыхъ героевъ Лермонтова находитъ себѣ объясненіе и отчасти оправданіе въ природной организаціи поэта, то такое же объясненіе найдутъ себѣ и нѣкоторыя несимпатичныя стороны его характера. Всѣ эти природныя склонности, привычки и позы тѣсно связаны съ его духовнымъ міромъ и, любя и удивляясь этому духовному міру, мы должны снисходительно взглянуть на нѣкоторыя некрасивыя внѣшнія проявленія этого сильнаго духа. Природа, надѣляя человѣка особенно чуткой нервной воспріимчивостью и слишкомъ острымъ умомъ, отнимаетъ у него иногда взамѣнъ нѣкоторыя мягкія стороны характера, какъ бы боясь, чтобы эта мягкость не парализовала главной духовной силы этого человѣка — его строгости къ себѣ и къ другимъ, его вѣчной неудовлетворенности, его стремленія къ чему-то лучшему.

Лермонтовъ не былъ мягкой натурой—онъ, какъ Байронъ, принадлежалъ къ числу натуръ строгихъ, иногда суровыхъ и съ виду даже жесткихъ.

Лермонтовъ, говорятъ намъ, иногда былъ не въ мѣру самолюбивъ, любилъ играть роль, былъ скрытенъ, злостенъ, рѣзокъ въ обращеніи съ людьми, насмѣшливъ, любилъ интриги, а главное, былъ человѣкомъ, не любившимъ людей искренно. На всѣ эти обвиненія можно отвѣтить прежде всего однимъ замѣчаніемъ, что свѣдѣнія о характерѣ Лермонтова и объ его личности очень скудны и отрывочны; онѣ не опредѣляютъ намъ, въ какой степени Лермонтовъ былъ зараженъ всѣми этими недостатками, и дѣлаютъ потому всѣ наши разсужденія по этому

поводу праздными. Если предположить даже, что, за исключеніемъ послѣдняго недостатка, а именно нелюбви поэта къ людямъ, всѣ остальные недостатки дѣйствительно ярко выступали въ характерѣ и въ поведеніи Лермонтова, то мы все-таки должны извинить ихъ. Они неизмѣнные спутники всякой рѣзко выдающейся личности, личности геніальной, сознающей свое преимущество надъ другими и—главное—поставленной среди массы, которая этого преимущества ни понять, ни признать не хочетъ. Многіе изъ недостатковъ Лермонтова вытекали прямо изъ его характера, другіе же безспорно были привиты ему и развиты въ немъ той свѣтской средой, которая была большой приманкой для глаза поэта, но мало соотвѣтствовала его уму и сердцу.

Что же касается нелюбви поэта къ людямъ, то это взводимое на него обвиненіе кажется намъ совсѣмъ неосновательнымъ.

Мы имѣли уже случай замѣтить, что Лермонтовъ никогда не былъ проповѣдникомъ какой-либо положительной истины, глашатаемъ какихъ-либо ясныхъ и установившихся убѣжденій, такъ какъ самъ не имѣлъ ихъ. Естественно, что у него не было и того восторженнаго и увѣреннаго тона, какимъ всегда отличается рѣчь убѣжденнаго человѣка. Онъ не распинался передъ людьми за свои мысли, не растолковывалъ ихъ подробно людямъ, не вербовалъ никого въ пользу какого-нибудь ученія, даже не говорилъ съ людьми довѣрчиво, отъ чистаго сердца, такъ какъ не было еще истины, за которую онъ могъ бы пожертвовать жизнью, не было предмета, о которомъ онъ могъ бы довѣрчиво и открыто бесѣдовать. Единственнымъ предметомъ его бесѣдъ съ другими былъ его собственный душевный разладъ и надобно было имѣть много смиренія и много любви къ людямъ, чтобы на ихъ глазахъ такъ безпощадно казнить собственное сердце, какъ это дѣлалъ Лермонтовъ. Субъективизмъ Лермонтова въ его поэзіи, постоянный возвратъ къ своему собственному „я“ признается иногда за краснорѣчивое доказательство его гордости и эгоизма. Но не есть ли эта строгая и правдивая исповѣдь поэта—прямое доказательство обратнаго—его любви къ людямъ? И не потому ли мы такъ любимъ Лермонтова, что видимъ въ немъ человѣка, который

въ себѣ самомъ казнилъ наши грѣхи и недостатки и призвалъ насъ всѣхъ быть свидѣтелями этой казни?

IV.

Въ самомъ дѣлѣ, какъ бы строго мы ни отнеслись къ Лермонтову, какъ къ человѣку, но мы всегда должны будемъ признать за нимъ одну заслугу, одну очень важную добродѣтель. Онъ можетъ служить образцомъ *совѣстливаго и строгаго надзора человѣка надъ самимъ собою.*

Не можетъ быть сомнѣнія въ томъ, что стихи Лермонтова были правдивымъ отголоскомъ истинныхъ и глубокихъ душевныхъ страданій; какъ крупные литературные типы, созданные поэтомъ, такъ и его мелкіе лирическіе стихи—отзвуки страданія. Вездѣ, и въ поэмахъ, и въ романахъ, и въ стихахъ слышится нота грусти и отчаянія, покрываемая иногда лишь пѣснью гнѣва. Ни радости, ни восторга не встрѣтимъ мы въ поэзіи Лермонтова — и это исключительное господство печальныхъ мотивовъ объясняется, помимо врожденныхъ склонностей поэта, главнымъ образомъ тяжелой душевной тревогой, какую онъ испытывалъ всю жизнь, такъ какъ совѣсть его не была ни на одно мгновеніе спокойна. Мы знаемъ, что Лермонтовъ никогда собой доволенъ не былъ, что ему всегда казалось, что вся его жизнь—неосмысленное и безцѣльное явленіе, стоящее въ прямомъ противорѣчіи съ тѣми высокими мечтами о ней, какія очень рано сложились въ его умѣ и сердцѣ. На свою литературную дѣятельность Лермонтовъ смотрѣлъ также скептически.

Мы давно уже знакомы съ наиболѣе видимымъ источникомъ такого недовольства и самимъ собою, и своей дѣятельностью; Лермонтовъ не имѣлъ опредѣленнаго міросозерцанія, а потому не могъ найти цѣли и назначенія ни своей жизни, ни своему творчеству. Но есть еще и другая причина такого мучительнаго, неудовлетвореннаго состоянія духа, самая главная, самая важная причина, побудившая Лермонтова доискиваться опредѣленныхъ воззрѣній на міръ и человѣка, не позволившая ему остановиться ни на одномъ какомъ-нибудь произволь-

номъ рѣшеніи тревожившихъ его вопросовъ и заставлявшая его постоянно думать надъ задачей своей жизни, надъ своимъ великимъ призваніемъ, надъ необходимостью примирить себя съ жизнью, чтобы найти себѣ въ ней и мѣсто, и дѣло. Этотъ первоисточникъ душевныхъ страданій поэта—его чуткая совѣсть, чувство отвѣтственности передъ людьми за свои поступки и за свои мысли. А что такое это чувство отвѣтственности, какъ не чувство любви, какъ не чувство общественности въ широкомъ смыслѣ этого слова?

V.

Критики, говорившіе объ источникахъ загадочнаго настроенія Лермонтова, его злобныхъ выходокъ, его пессимизма и неудовлетвореннаго состоянія сердца, высказывали самые различные взгляды. Въ общемъ эти взгляды могутъ быть сведены къ двумъ основнымъ.

По мнѣнію однихъ, Лермонтовъ ссорился съ жизнью потому, что его симпатіи влекли его къ небу, „къ звѣздамъ“. Онъ былъ недоволенъ и печаленъ, потому что желалъ обмѣнять, какъ можно скорѣе, земное существованіе на небесную жизнь. Его прельщала гармонія небесъ, ихъ миръ и спокойствіе, ихъ совершенство, и онъ отворачивался съ негодованіемъ отъ земли, гдѣ все было такъ противорѣчиво, несовершенно, тревожно и низменно.

По мнѣнію другихъ, Лермонтовъ былъ печаленъ и недоволенъ именно вслѣдствіе своей чрезмѣрной любви ко всему земному и малой симпатіи къ духовному. Онъ былъ самолюбивъ и гордъ, его тщеславіе и самолюбіе требовали себѣ поклоненія и жертвъ, его гордость—постояннаго успѣха, а энергичность и живость характера — постоянныхъ новыхъ впечатлѣній. Однообразіе жизни, среди которой жилъ поэтъ, некрасивая его внѣшность и не совсѣмъ блестящій пріемъ, встрѣченный имъ въ свѣтскомъ обществѣ, разсердили его и озлобили противъ людей и самого себя. Онъ искалъ въ жизни наслажденій и былъ обманутъ, а примириться съ этимъ обманомъ и покориться необходимости онъ не могъ, такъ какъ

духовнаго элемента въ его природѣ было слишкомъ мало; онъ не могъ стать выше треволненій жизни.

И тотъ, и другой взглядъ на Лермонтова намъ кажутся крайностями, не находящими себѣ никакого подтвержденія ни въ жизни, ни въ стихахъ поэта.

Если согласиться съ первымъ изъ нихъ и признать противорѣчіе мечтаній о небѣ и житейской прозы за родникъ поэзіи Лермонтова, то основнымъ чувствомъ и конечнымъ рѣшеніемъ занимавшихъ его вопросовъ должны были ли оказаться —чувство религіозное и успокоеніе души въ религіозномъ созерцаніи. Только въ этомъ религіозномъ смыслѣ можно понимать это мнимое тяготѣніе Лермонтова къ небу. Отвертываясь отъ земли какъ отъ преходящаго, противорѣчиваго, несовершеннаго и тревожнаго, т.-е. считая земную жизнь за отрицательный полюсъ человѣческаго существованія, поэтъ естественно долженъ былъ противуположный ей полюсъ принять за положительный, совершенный, гармоничный и вѣчный. Одна только религія могла удовлетворить такому понятію о желаемомъ существованіи, одна только вѣра могла дать настоящее успокоеніе такому сердцу, которое заранѣе дѣлило существованіе человѣка на двѣ жизни—на нестоющую любви жизнь земную, и жизнь небесную, гдѣ все—покой и блаженство. Мы знаемъ, однако, какъ слабо и неустойчиво сказалось религіозное настроеніе въ стихахъ Лермонтова. Религія въ поэзіи Лермонтова не только не является рѣшеніемъ какихъ бы то ни было вопросовъ жизни, она сама составляетъ для нашего поэта вопросъ, къ которому онъ всегда подходитъ со страхомъ и на который не даетъ никакого положительнаго отвѣта. Вопросъ о небѣ сводится такимъ образомъ у Лермонтова дѣйствительно скорѣе къ „звѣздамъ“ *), чѣмъ къ вѣрѣ, т.-е. онъ сводится къ красотѣ, къ поэзіи, къ поэтическому настроенію, но онъ никакъ не

*) Who ever gazed upon them shining,
And turn'd to earth without repining,
Nor wish'd for wings to flee away,
And mix with their eternal ray?

Byron.

можетъ быть принятъ за исходную точку душевныхъ страданій поэта.

Нѣтъ необходимости подробно опровергать и противуположнаго взгляда, который готовъ видѣть въ Лермонтовѣ почти исключительно земную, чувственную натуру, неимѣвшую въ себѣ ничего духовнаго. Понимать разладъ Лермонтова съ жизнью, какъ слѣдствіе неудовлетвореннаго самолюбія и чувственности, или неудавшейся погони за наслажденіями, значитъ—совсѣмъ криво истолковать и человѣка, и его творчество. Если не предполагать въ Лермонтовѣ какого-то урода, въ которомъ властолюбіе и тщеславіе Наполеона сочетались съ вѣчно неудовлетворенной чувственностью Донъ-Жуана, то мы должны согласиться, что Лермонтовъ могъ быть доволенъ своими свѣтскими успѣхами и наслажденіями. Если онъ и бывалъ недоволенъ ими, то только потому, что всѣ эти внѣшнія блага жизни совсѣмъ не удовлетворяли его „духовной“ природы и не соотвѣтствовали тому представленію о дѣятельной жизни, какое въ его умѣ съ дѣтства сложилось. Мы уже видѣли, что съ дѣтскихъ лѣтъ Лермонтова тревожилъ вопросъ объ его призваніи, что еще тогда онъ далъ обѣщаніе „любить земныя страданія и не оставлять ихъ“ ни ради мечтаній о небѣ, ни ради земныхъ удовольствій и благъ. Онъ остался вѣренъ этому обѣщанію, если судить по его произведеніямъ, въ которыхъ нѣтъ ни радости, ни восторга. Сопоставляя далеко не печальную жизнь поэта съ печальными мотивами его поэзіи, мы должны признать, что это противорѣчіе получилось какъ слѣдствіе принципіальной разницы, существовавшей между образомъ его жизни и его думами. Если бы безпечная и веселая жизнь, какую Лермонтовъ велъ въ Петербургѣ и на Кавказѣ, приближала его къ тому мнимому эпикурейскому идеалу счастливаго и ни въ чемъ нестѣсненнаго существованія, какой иногда хотятъ навязать ему, то пессимизмъ и недовольство должны были бы уменьшаться въ поэтѣ, какъ разъ въ той степени, въ какой возростала для него возможность и веселиться и пользоваться успѣхомъ. Мы видимъ однако совсѣмъ обратное—чѣмъ веселѣе и разгульнѣе была жизнь поэта, тѣмъ печальнѣе и безотраднѣе было его міросозерцаніе. Оче-

видно, что источникъ душевныхъ страданій Лермонтова заключался далеко не въ ненасыщенномъ самолюбіи или неудавшейся погонѣ за удовольствіями.

Мы будемъ ближе къ истинѣ, если предположимъ, что родникомъ страданій Лермонтова была его недремлющая совѣсть, твердившая ему неустанно, что его жизнь не соотвѣтствуетъ его идеаламъ, его творчество—его высокому понятію о поэзіи, его отношеніе къ людямъ — тому чувству любви, какое поэтъ инстинктивно ощущалъ въ себѣ, но никакъ не могъ оформить и философски обосновать.

Къ такому тяжелому душевному состоянію, когда сердце человѣка содрогается передъ голосомъ безпощадной совѣсти, легко могутъ быть отнесены стихи Лермонтова, написанные имъ въ 1832-мъ году, еще на 18-томъ году жизни; онъ писалъ—

Видали ль вы, какъ хищные и злые
Къ оставленному трупу, въ тихій долъ,
Слетаются наслѣдники земные,
Могильный воронъ, коршунъ и орелъ?
Такъ есть мгновенья, краткія мгновенья,
Когда, столпясь, всѣ адскія мученья
Слетаются на сердце и грызутъ!
Вѣка печали стоютъ тѣхъ минутъ...
Лишь дунетъ вихрь—и сломится лилея;
Таковъ съ душой кто слабою рожденъ:
Не вынесетъ минутъ подобныхъ онъ;
Но мощный умъ, крѣпясь и каменѣя,
Ихъ обращаетъ въ пытку Прометея.
[Измаилъ-Бей II, XVIII].

Съ пыткой Прометея имѣетъ извѣстное сходство и творчество Лермонтова. Прометей изъ любви къ людямъ укралъ огонь съ неба; изъ любви къ людямъ страдалъ духовно и Лермонтовъ. Его совѣсть, заставлявшая его всю жизнь работать надъ самимъ собой, была въ немъ сознаніемъ своей отвѣтственности передъ людьми, сознаніемъ своего нравственнаго долга передъ массой, надъ которой онъ возвышался и своимъ умомъ и талантомъ. Она была въ немъ — чувствомъ общественности.

Мы уже сказали выше, что XIX-му вѣку принадлежитъ

міровая заслуга практическаго проведенія въ жизнь этого гуманнаго чувства. Къ нему постепенно сводились и свелись всѣ вопросы, которые до того времени управляли умомъ и поведеніемъ народовъ. Вопросъ національный, философскій, религіозный, вопросъ нравственный и даже вопросъ эстетическій—всѣ сошлись въ XIX-мъ вѣкѣ въ одномъ единственномъ вопросѣ — общественномъ. Во имя общей гуманной любви ко всему человѣчеству люди стали отказываться отъ догматической и національной узости взглядовъ, стали свое философское міросозерцаніе прилагать непосредственно къ жизни, и во имя этой же любви они низвели поэзію на землю, т.-е. заставили себя интересоваться всѣмъ современнымъ и сдѣлали искусство художественнымъ отраженіемъ дѣйствительности.

Въ основаніи своемъ это чувство общественности есть дѣйствительно ничто иное, какъ чувство любви, расширенное на всѣхъ людей, и главное, расширенное безкорыстно, во имя врожденной всѣмъ людямъ симпатіи къ ближнему, а не ради требованій какой-нибудь философской, національной или иной догматической программы.

Вся исторія человѣческаго прогресса есть эволюція этого чувства общественности и тогда, когда оно само по себѣ, помимо всякихъ другихъ побужденій, будетъ руководить нами въ нашихъ словахъ и поступкахъ, тогда мы сможемъ сказать, что нами исполнена одна часть великой программы, послѣдняя цѣль которой есть равноправное участіе всѣхъ людей какъ въ пользованіи результатами цивилизаціи, такъ и въ работѣ надъ дальнѣйшемъ ея ходомъ. Необходимо прежде всего полюбить человѣка какъ такового, а не какъ единицу національную, либо единицу одинаково съ нами мыслящую или вѣрующую.

Эта гуманная всеобъемлющая любовь къ человѣчеству, существующая сама по себѣ и ради себя — стала видимо проникать въ общество всего яснѣе въ нашемъ вѣкѣ, который и теперь, несмотря на временный застой, возникшій вслѣдствіе чисто случайныхъ обстоятельствъ, продолжаетъ работать надъ этой задачей. Расцвѣтъ гуманизма, какой мы видимъ въ Европѣ въ концѣ прошлаго вѣка и который легъ въ основаніе нашихъ гуманныхъ стремленій, подготовлялся,

конечно, вѣками, и многія изъ великихъ именъ прошедшаго времени имѣютъ полное право на наше уваженіе и поклоненіе. Однако ни въ древности, ни въ средніе вѣка, ни даже въ эпоху реформаціи и гуманизма это чувство общественности не было господствующимъ. Общественный вопросъ въ широкомъ смыслѣ этого слова отступалъ на второй планъ за цѣлымъ рядомъ вопросовъ, національныхъ, философскихъ и догматическихъ.

Въ древности люди любили другъ друга либо какъ членовъ одной національности, либо какъ членовъ одной государственной системы. Грецiя можетъ служить наглядным примѣромъ любви національной, какъ Римъ — примѣромъ любви государственной. Человѣка цѣнили и любили какъ соотечественника, или какъ гражданина. Въ средніе вѣка любовь человѣка къ человѣку была продиктована людямъ догмой, политической и религіозной. Католицизмъ и связанная съ нимъ неразрывно политическая теорія имперіи и папства управляли мышленіемъ людей, ихъ чувствомъ, давали направленіе ихъ міровоззрѣнію и проявленію этого міровоззрѣнія въ области практической этики. Только начиная съ реформаціи и съ эпохи гуманизма чувство общественности начало враждовать съ тѣми традиціонными формами, въ какія до того времени была заключена одна его частичка, а именно съ національзмомъ и догматикой, пока, наконецъ, къ концу XVIII вѣка это чувство не получило своей теоретической формулировки въ трудахъ просвѣтительной литературы Франціи, Германіи и Англіи.

Просвѣтительная литература этихъ странъ, рисуя людямъ новый заманчивый идеалъ и проповѣдуя любовь къ человѣку, отрицала всѣ прежніе взгляды, въ какихъ эта любовь являлась въ своемъ нечистомъ, смѣшанномъ видѣ. Она ниспровергала прежнія міросозерцанія, поддерживаемыя и подкрѣпленныя практикой, и взамѣнъ ихъ давала новое чисто теоретическое, которое однако не могло еще опереться ни на какія фактическія данныя. Попытка примѣненія этого теоретическаго идеала къ жизни послѣдовала очень быстро, но на первыхъ порахъ не удовлетворила людей и заставила ихъ усумниться въ осуществимости и правотѣ новаго идеала. Мы знаемъ,

что отъ этихъ сомнѣній люди были спасены умозрительными системами, заслуга которыхъ была главнымъ образомъ нравственная, такъ какъ, возводя разумъ человѣка на степень всемогущества и непогрѣшимости, объединяя всю жизнь человѣчества и всѣ его духовныя стороны и способности въ одномъ связномъ міросозерцаніи, эти системы дали людямъ увѣренность въ ихъ умственной и нравственной силѣ и тѣмъ самымъ ободрили ихъ на дальнѣйшую, уже практическую и активную дѣятельность. Люди, примирившись съ жизнью въ отвлеченномъ идеалѣ, переходили къ примиренію съ ней на почвѣ активной борьбы за свои убѣжденія.

Весь XIX-й вѣкъ, за исключеніемъ лишь самыхъ послѣднихъ десятилѣтій, представляетъ собою рядъ побѣдъ, одержанныхъ этимъ чувствомъ общественности надъ людскими умами и поведеніемъ. Главной ареной этой борьбы былъ, конечно, западъ, но и мы русскіе приняли косвенно въ ней участіе. Насколько позволяло намъ наше умственное развитіе и условія нашей жизни, мы становились послѣдователями этихъ идей гуманности, видѣвшихъ въ каждомъ человѣкѣ предметъ, достойный любви, уваженія и заботы. Чувство общественности находило себѣ пріютъ и въ русскихъ сердцахъ, несмотря на неблагопріятныя условія. Западныя идеи проникали къ намъ и пріобщали насъ къ европейской жизни.

Сила идей не знаетъ преградъ и никто не можетъ опредѣлить или предусмотрѣть, какъ та или другая идея овладѣваетъ человѣкомъ. Въ этой летучей силѣ идей, ихъ безсмертіи и способности овладѣвать умомъ и сердцемъ человѣка — заключается залогъ дальнѣйшаго прогресса. Ни одна вѣрная и сильная идея не можетъ погибнуть или пройти безслѣдно; она пускаетъ ростки иногда тамъ, гдѣ мы менѣе всего этого ожидали. Кто могъ предположить, что въ 30-хъ годахъ на русскомъ горизонтѣ появятся вдругъ лица, въ которыхъ гуманныя идеи запада найдутъ проповѣдниковъ не менѣе ревностныхъ, чѣмъ тѣ, которымъ западъ въ своей средѣ удивлялся? Кто могъ ожидать, что въ человѣкѣ, одиноко и замкнуто проведшемъ свое дѣтство и юность, жившемъ всю жизнь въ обществѣ, совсѣмъ не подготовленномъ къ быстрому

усвоенію какихъ-либо просвѣтительныхъ идей, сознаніе своей отвѣтственности передъ людьми и чуткая совѣсть станутъ источникомъ глубокихъ душевныхъ страданій?

Въ силу этихъ страданій Лермонтовъ имѣетъ полное право на нашу благодарность. Пусть чувство общественности жило въ немъ и руководило имъ болѣе инстинктивно, чѣмъ осмысленно—что доказывается частыми противорѣчіями его мыслей и колебаніемъ въ его настроеніи — но одинъ тотъ фактъ, что при самыхъ неблагопріятныхъ условіяхъ поэтъ сталъ носителемъ гуманнаго идеала и всю жизнь трудился надъ его выясненіемъ, долженъ служить намъ и урокомъ и утѣшеніемъ.

Мы можемъ считать себя счастливыми, что живемъ въ такое время, когда гуманное отношеніе къ людямъ во имя безкорыстнаго нравственнаго долга стало по крайней мѣрѣ теоретической аксіомой, позволяющей намъ взглянуть на ея временное ослабѣваніе въ людскомъ сознаніи какъ на переходный моментъ. Если среди большинства современнаго русскаго молодого поколѣнія нѣтъ ни опредѣленнаго міросозерцанія, ни опредѣленныхъ программъ, то есть все-таки возможность оглянуться на недалекое прошлое, когда люди, поставленные въ сходное съ нами положеніе, побѣдоносно изъ этого положенія вышли. Ознакомленіе и изученіе умственныхъ движеній Россіи въ XIX-мъ вѣкѣ во многомъ помогло бы современному намъ поколѣнію въ его трудной работѣ надъ примиреніемъ съ жизнью. Къ сожалѣнію, судя по современной литературѣ и наукѣ, интересъ къ этому близкому прошлому нашей родины въ обществѣ очень низокъ.

Юбилей Лермонтова даетъ намъ новый удобный случай оглянуться на наше прошлое и присмотрѣться къ тому, какъ сознательно и серьезно трудились люди прежде надъ выясненіемъ себѣ своихъ нравственныхъ обязанностей къ ближнему и надъ расширеніемъ своего умственнаго кругозора.

Людей прошлыхъ поколѣній и насъ связываетъ одна цѣль—одна великая идея общественнаго прогресса, который мыслимъ только при постоянномъ развитіи и укрѣпленіи въ людяхъ чувства общественности.

Разница же между отцами и дѣтьми заключается въ томъ отношеніи, въ какомъ стояли отцы къ этой задачѣ прежде, и въ какое мы стали теперь. Присматриваясь къ современной намъ молодой литературѣ, мы замѣчаемъ, что писателей перестали интересовать вопросы общаго характера. Современная беллетристика превратилась въ какой-то сборникъ мелкихъ психологическихъ фактовъ безъ обобщающихъ выводовъ. Излагать подробно причины этого печальнаго факта не входитъ въ предѣлы нашего очерка, но говоря о Лермонтовѣ, интересъ молодежи къ которому возросъ за послѣднее время, мы не могли не остановиться на этой параллели. Чувство нравственной отвѣтственности передъ читающей массой въ наше время значительно ослабѣло. Писатель сталъ относиться къ своему міросозерцанію какъ-то небрежно, несмотря на то, что ощущалъ и не перестаетъ ощущать неловкости своего положенія передъ вопросами высшаго порядка. Сознаніе этой неловкости сказалось, напримѣръ, довольно рельефно нѣсколько лѣтъ тому назадъ на нашей молодой поэзіи.

Пониженіе въ писателяхъ этого чуткаго, совѣстливаго отношенія къ своему міросозерцанію говоритъ о пониженіи въ нихъ чувства общественности, и мы должны признать печальную истину, что не въ одной только литературной области сказалось теперь это пониженіе гуманнаго отношенія къ людямъ, это уменьшеніе страха, какой люди должны чувствовать передъ собственной своей совѣстью.

Трудность самой задачи извиняетъ отчасти людей, которые убоялись приступить къ ея рѣшенію. Что задача дѣйствительно трудна—объ этомъ свидѣтельствуетъ жизнь и дѣятельность всѣхъ лицъ, которыя за нее принимались, въ томъ числѣ и личность и творчество Лермонтова. Воспитать въ себѣ широкое гуманное отношеніе къ людямъ, а главное, не столько воспитать его, сколько построить на немъ цѣлое міровоззрѣніе и провести его въ программу жизни — дѣло очень трудное, требующее большой энергіи, силы воли, чуткости, а также и удобнаго момента. Жизнь съ каждымъ днемъ становится все сложнѣе и сложнѣе какъ въ своихъ повседневныхъ явленіяхъ, такъ и въ постоянномъ ростѣ науки и искусства. Во всемъ этомъ сплетеніи чувствъ,

мыслей и явленій неизмѣннымъ остается одно лишь сознаніе, что безъ широко понятой любви ко всему человѣчеству немыслимо никакое движеніе прогресса, немыслима надежда на лучшую будущность. Прежде, когда національнизмъ и догматика давали направленіе и уму, и чувству, жилось, конечно, значительно легче. Міровая скорбь, исключительная болѣзнь нашего вѣка, не могла родиться въ вѣкахъ прошедшихъ. Она была первымъ чувствомъ, охватившимъ новаго человѣка, когда онъ созналъ всю святость своей новой нравственной задачи и вмѣстѣ съ тѣмъ упалъ духомъ, понимая всю ея трудность.

Но, какъ бы ни были сильны страданія и тревоги, какія возбуждаетъ въ сердцѣ человѣка эта развившаяся безкорыстная симпатія къ людямъ, этотъ голосъ совѣсти, говорящій людямъ постоянно объ ихъ отвѣтственности передъ другими — всѣ эти страданія искупаются, конечно, сознаніемъ цѣлесообразности и необходимости такой работы, а слѣдовательно и такихъ страданій. Эти страданія становятся источникомъ величайшаго блаженства, если человѣкъ, пройдя черезъ нихъ и ими руководимый, съумѣетъ въ концѣ концовъ найти и выразить какой-нибудь положительный идеалъ, въ которомъ гармонично соединились всѣ его гуманныя убѣжденія и вся сила его любви. Такихъ счастливыхъ людей очень мало и высказанные ими конечные положительные взгляды на міръ и человѣка составляютъ эпоху въ исторіи человѣческаго прогресса. Идеалы этихъ лицъ — показатели тѣхъ успѣховъ, какіе дѣлало въ людяхъ чувство общественности.

Не менѣе назидательна, однако, и жизнь тѣхъ людей, которые, не успѣвъ выработать опредѣленныхъ воззрѣній, провели всю жизнь въ поискахъ и погонѣ за ними. Они служатъ намъ яркими примѣрами той честности и совѣстливости, съ какой человѣкъ обязанъ слѣдить за собою и провѣрять самого себя, если дѣйствительно желаетъ со временемъ сказать другимъ что-нибудь отъ искренняго сердца, явиться носителемъ какой-нибудь истины или исполнителемъ какого-нибудь великаго дѣла. Лермонтовъ принадлежалъ къ числу этихъ лицъ, въ творчествѣ которыхъ читатель имѣетъ наглядный

примѣръ того, какъ мучительно, но плодотворно для себя и для другихъ отзывается на человѣкѣ присутствіе въ немъ такой требовательной и чуткой совѣсти.

Такъ какъ эта совѣсть сама по себѣ не что иное, какъ любовь къ людямъ, то мы никогда не сможемъ отказать въ нашей любви тому человѣку, который былъ такъ безпощаденъ и строгъ къ себѣ лишь потому, что никакъ не могъ найти подходящаго положенія, въ какое бы онъ могъ стать къ людямъ. Нужно было очень любить людей, чтобы постоянно думать надъ вопросомъ—какое отношеніе къ нимъ будетъ самое справедливое.

VI.

Мы дѣйствительно любимъ поэзію Лермонтова, любимъ, несмотря на то, что иногда встрѣчаемъ въ ней несимпатичныя намъ мысли и чувства. Наша любовь есть отвѣтъ на ту симпатію Лермонтова къ намъ, которая, хотя и не была высказана громко и открыто, тѣмъ не менѣе была основнымъ чувствомъ, приводившимъ въ движеніе весь разнообразнѣйшій и богатый запасъ его чувствъ и мыслей.

Но къ этому чувству любви у насъ естественно примѣшивается и чувство сожалѣнія.

Намъ жаль поэта, который былъ унесенъ смертью въ такіе молодые годы; намъ жаль его въ особенности потому, что онъ не успѣлъ досказать своихъ мыслей, не успѣлъ достигнуть цѣли, которую себѣ поставилъ и не испыталъ въ жизни самаго главнаго удовлетворенія — не высказалъ своихъ убѣжденій, чтобы заставить людей съ ними считаться.

Когда сравниваешь творчество Лермонтова съ творчествомъ родныхъ ему по таланту писателей западныхъ, испытываешь невольно грустное чувство. Не говоря уже о томъ, что Гёте, Шиллеръ и Байронъ, пережившіе въ свои молодые годы приблизительно тоже настроеніе, что и Лермонтовъ, перенесли этотъ душевный кризисъ романтическихъ поисковъ и стремленій гораздо легче и быстрѣе, они, кромѣ того, были утѣшены тѣми симпатіями, какія ихъ гуманные взгляды встрѣтили у современниковъ. Гуманная подкладка

лермонтовскаго пессимизма была не скоро разгадана, а самъ поэтъ, работая самостоятельно надъ вопросами жизни, не хотѣлъ ни у кого брать на прокатъ ни пышныхъ возгласовъ, ни цѣльнаго міросозерцанія. Онъ хотѣлъ самостоятельно доработаться до ясныхъ идеаловъ, но смерть остановила его работу. Гёте завѣщалъ человѣчеству цѣлое ученіе о свободѣ примиреннаго духа и программу скромнаго умственнаго и практическаго труда; онъ на вопросы Вертера, Вильгельма Мейстера и первой части Фауста отвѣчалъ второй частью Фауста и продолженіемъ Вильгельма Мейстера; Шиллеръ сошелъ въ могилу, завѣщавши человѣчеству эстетико-философское ученіе, подтвержденное блистательными художественными памятниками, ученіе гуманное, цѣльное, дающее людямъ точку опоры въ ихъ мышленіи и поступкахъ; Байронъ умеръ, оставивъ въ своихъ произведеніяхъ либеральную программу, во многихъ частяхъ положительную и подкрѣпленную вдобавокъ собственной геройской смертью.

Лермонтовъ не завѣщалъ людямъ ничего, кромѣ тревожныхъ образовъ, въ которыхъ единственнымъ положительнымъ качествомъ было стремленіе къ идеалу, но къ какому въ частностяхъ — приходится догадываться. Судя по любви Лермонтова къ людямъ, которая выразилась въ строгости, съ какой поэтъ относился къ самому себѣ, судя по отдѣльнымъ очень симпатичнымъ чувствамъ и мыслямъ, съ какими мы встрѣчаемся въ его поэзіи, по задаткамъ примиренія съ жизнью, которые начинали сказываться въ его послѣднихъ стихотвореніяхъ, наконецъ, по симпатіямъ Лермонтова ко всему современному—мы имѣемъ право предположить, что этотъ невысказанный идеалъ не уклонился бы отъ тѣхъ гуманныхъ принциповъ, которые легли въ основаніе всѣхъ душевныхъ тревогъ и страданій нашего поэта.

Въ томъ видѣ, въ какомъ поэзія Лермонтова теперь передъ нами, она производитъ грустное впечатлѣніе недосказанной рѣчи, недопѣтой пѣсни, неразрѣшеннаго душевнаго диссонанса.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

		стран.
I.	Введеніе	3
II.	Дѣтство и юность Лермонтова	17
III.	Юношескія стихотворенія Лермонтова	31
IV.	Чтеніе Лермонтова	51
V.	Демонъ	65
VI.	Юношескія драмы. Историческая повѣсть. Измаилъ-Бей	87
VII.	Первые годы въ Петербургѣ	115
VIII.	Литературная дѣятельность Лермонтова до 1837 года	127
IX.	Послѣдніе годы	149
X.	Герой нашего времени	185
XI.	Значеніе Лермонтова въ исторіи русской жизни и литературы	215
XII.	Заключеніе	273

PG 3337
L46 K65

Stanford University Libraries
3 6105 018 826 193

Stanford University Libraries
Stanford, California

Return this book on or before date due.